

Римма Коваленко ЗИМНІЕ ЯБЛОКИ

РИММА КОВАЛЕНКО

ЗИМНІЕ ЯБЛОКИ





90 коп.

РИММА КОВАЛЕНКО

ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ

РАССКАЗЫ



Московский рабочий 1982

P2
K56

Художник В. РОДИН

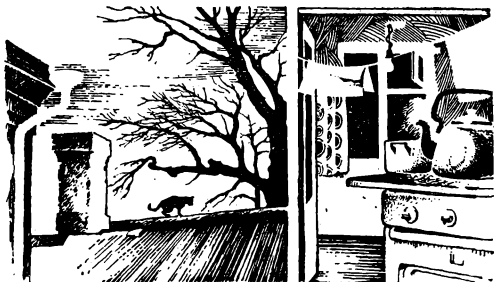
Коваленко Р. М.
K56 Зимние яблоки: Рассказы.— М.: Моск. рабочий, 1982.— 254 с.

Герои рассказов Риммы Коваленко — наши современники, люди активные, жизнестойкие. Это партийные работники, ученые, рабочие и колхозники, с разными судьбами, разными характерами, молодые и старые. Молодость — замечательная пора, но не менее прекрасны зрелые годы и даже старость, утверждает автор, если человек жил и живет не для себя, умеет сердцем принять все радости и тревоги мира.

К 70302—132
 M172(03)—82—192—82. 4702010200

P2

© Издательство «Московский рабочий», 1982 г.: оформление.



БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ

Председатель колхоза имени Калинина встречал у моста на въезде в село: Райкомовский шофер Степан Гаврилович притормозил и открыл заднюю дверь «Волги». Председатель не сразу понял, что его приглашают в машину, стоял, не двигаясь, и улыбка на лице выражала скорее смущение, чем радость. Любовь Андреевна высунула голову и тоже улыбнулась. Мол, здравствуй, здравствуй, Василий Авдеевич, самый молодой в Журавинском районе председатель. Вот такие пошли председатели. Двадцать восемь лет. На лацкане пиджака университетский ромб и рядом значок зимних Олимпийских игр в Инсбруке. Кто-то подарил значок. А парень свой, помнит его Любовь Андреевна еще с той поры, когда тот в коротких штанах бегал. Никакой университет, никакой импортный костюм не поможет, если парень родился в Лебедянке. В этом селе половина мужиков верста на версте, руки граблями и стоят боком, плечом вперед. Этот олимпиец яркий представитель могучей мужской половины Лебедянки.

— Садись, — сказала ему Любовь Андреевна, — времени мало, так что давай сразу о деле.

Председатель втиснулся в машину, сопя, расположился на заднем сиденье, и оттуда раздался его медлительный густой бас:

— Так этот же вопрос на бюро райкома будут решать. Как решат, так и будет.

Она не любила такого покорного иждивенчества: кто-то где-то решит за нас, а мы — люди малешькие, нам исполнять.

— На бюро райкома ты первый решать и будешь, — спокойно, скрывая недовольство, сказала она. — Надо самому точно определиться — будет музей в колхозе или нет. Учителям жилье подыскали?

— Жилье есть. Да ведь вы же, Любовь Андреевна, говорили, что в райцентре музей будет, а не у нас.

— Я говорила! Да кто я такая, чтобы за всех решать! Если бы я за всех решала, так нечего мне было сюда ехать.

Он ничего не ответил, и она замолчала.

— Любовь Андреевна, а Виталий Петрович Плющ — он-то как насчет музея?

Вот они — молодые кадры. Пришли на готовенькое и мыслить хотят по-готовому. Да что может считать первый секретарь райкома, если он в районе всего неделю.

— Что думает по этому поводу Плющ — мы услышим на бюро. Райком интересуется, что думаете вы, — она расстроилась и перешла на «вы».

Они подъехали ко второму мосту. Речка Лебедь, обогнув село, в этом месте разделяла поля и откос, на котором рядом со старым кладбищем стоял дом, где когда-то родился художник. Огромные березы свесили свои ветви в желтой листве, голубое здание с двумя входами, с островерхой крышей застыло в этом осеннем золоте.

Они поднялись по тропке к дому, вошли с заднего входа через калитку в сад. Два рослых щенка — толстых и лохматых — вывалились им навстречу, с писклявым лаем стали бегать вокруг, тыкаясь в ноги. Любовь Андреевна опустилась на скамейку, нашла в сумке конфету, разломила пополам и с ладони угостила щенков.

Эти щенки и осенний сад — были ее детством. Она считала Лебедянку родным селом, хотя родилась вдали от этих мест, в Белоруссии. В Лебедянку их с матерью загнала война в сорок втором. Было матери в то время тридцать, а ей десять. Мать вступила в колхоз, Люба пошла в школу, и стали они деревенскими, хотя до этого жили в областном центре и никакой, даже дальней,

родни в деревне у них не было. Мать была женщиной строгой, малоразговорчивой, но когда мыла полы или полола на огороде, то непрерывно говорила сама с собой. Люба старалась не прислушиваться, но злые слова матери сами лезли в уши. Мать кляла войну и себя за то, что не поехала с другими эвакуированными в Томск. Обессилив от работы и злости, ложилась на топчан и плакала. Люба боялась к ней подойти. А когда подходила, мать глядела на нее чужими глазами и говорила:

— Если бы не ты, я бы на фронт пошла. Дышать мне здесь нечем,

Перед самой войной мать вышла замуж. На свадьбе Люба сидела между ними, с одной стороны — жених, пожилой капельмейстер военного оркестра, с другой — мать. Жених сам посадил ее посредине и говорил гостям: «Это наше главное связующее звено».

— Только жизнь началась, только счастье засветилось, — вспоминала мать, — и в одну минуту всему конец.

Колхозная жизнь плохо давалась ей. Приходя с поля, черная, качаясь, она снова принималась ругать себя за то, что не идет на фронт, ищет в дочери оправдания.

— Тебе в детском доме в тысячу раз было бы лучше, чем со мной.

Люба впивалась пальцами в ее острые колени, просила, рыдая:

— Мамочка, не надо на фронт. Там убивают.

Приезжая после войны в Лебедянку, Любовь Андреевна каждый раз больно ударялась о какое-нибудь воспоминание, жалела мать, раскаивалась, что в последние годы ее жизни не отдала ей всего того, что могла дать.

Мать после войны, несмотря на свой суровый характер, а, может, благодаря ему, пошла в гору, избиралась председателем сельсовета, потом и колхоза. Люди уважали ее, слушались. А дочка, приезжая на каникулы, не находила с ней контакта, говорила, как отчитывалась, и считала дни до отъезда.

В одном из своих писем мать писала: «Ты ни за что не угадаешь, чем я тут, теряя время, занимаюсь. Приехал сын Кареева, ну, помнишь какого, что живет у кладбища на горке. И этот сын по имени Виктор Сергеевич рисует с меня портрет».

Она прочитала это письмо и сказала вслух: «Ох, мама, мама. Сын священника Кареева, что уж тут ту-

манить, чего бояться, «помнишь какого, что живет у кладбища на горке».

Кто тогда мог знать, что пройдет двадцать с лишним лет, и она из-за сына священника Кареева, художника Виктора Сергеевича, придет по неотложному делу в Лебедянку.

Священник умер вскоре после войны. Сын его приехал из столицы на похороны, быстро, в один день оформил документы на продажу дома и оставил их в правлении с доверенностью, что, если найдется покупатель, правление от его имени продаст дом. Но покупатель не находился, и что-то через год или два колхоз купил этот дом под детские ясли.

Рождались дети, освобождались от пеленок, потом путь их лежал к бывшему дому Кареевых. Так и приклеилось к этому дому слово «бывший». Построили детский городок, вывели из бывшего дома Кареевых ясли и поселили там три учительские семьи. И дом их стали называть «бывшими яслями».

А теперь, если будет тут музей с картинами, которые художник завещал родному селу, то люди по привычке будут называть его бывшим «учительским домом». Такова подспудная людская приверженность к прошлому. Но будет ли еще музей...

— Так что, Любовь Андреевна, сразу все друг другу о себе расскажем или постепенно?

— Как уж получится, — ответила она. — Будем работать вместе, и уж если расскажется, то расскажется.

Ни с кем она так по первой встрече не разговаривала, а тут не получалось иначе. Не могла примириться, что он намного младше ее. Не привыкла быть старшей, не умела к первым секретарям относиться спокойно, а всегда с известной долей робости и восхищения. Новым же не могла восхищаться, он ей был виден насквозь со своим напористым знанием чего хочет, молодым организмом и не от души, а от здоровья и инженерного образования веселостью.

— Мне бы документы по социальному развитию района, — сказал Плющ. — Начнем с бумажек, куда от них денешься.

Она поднялась, открыла дверь шкафа и с ужасом уставилась на лакированные туфли и чайник, стоявшие

на нижней полке. Это еще что такое? Видимо, кто-то на праздничном дежурстве здесь чаевничал. А туфли? Мои туфли. Они что тут делают, как сюда попали? Вытаскивала красные и зеленые папки с бантиками на боках, укладывала на столе стопками и страдала, что новый секретарь видит чайник и туфли. Спросила с вызовом:

— Помочь донести?

— Помогайте,— новый глядел, как росла на столе гора папок.— Погибну во цвете лет. Ведь в каждой — страниц по сто?

— Побольше.

— Смилуйтесь! Есть же какие-то сводные материалы, доклады, годовые отчеты?

— Все есть. Но я вам советую каждую, как вы выражаетесь, бумажку в руках подержать. Это особые документы. По ним диссертацию защищать можно.

— На тему граней? Как стирались между городом и деревней?

Ну что он такого сказал? Ничего особенного, все правильно, а ей дыхание сдавило от обиды: не могло так быть, чтобы просто сказал, без подвоха. Выпрямилась, с укором, жалеючи себя, произнесла:

— Райцентр наш после войны стал поселком городского типа. До сих пор канализации нет. А в колхозе «Гигант» уже десять лет канализация и прочее. Так что грани у нас особые.

— Я знаю,— ответил он примирительно.— Только, когда я все это прочту, Любовь Андреевна?

— Ночью. Неужто ночами не сидивали перед экзаменом? Лучшее время для быстрого усвоения материала.

Вот она, старость. В одну минуту пришла и сдавила плечи. Появился молодой и привел с собой ее старость. А может, она сама постепенно потихоньку пришла. Шла, шла, и вот она, я, привет. Уже лет пять ощущала Любовь Андреевна, как в ней вдруг оживает и прорывается наружу ее мать. В такие минуты она начинала произносить словечки матери, с ее интонациями, не любила в себе это, но сладить не могла. Однажды, схватив за воротник мальчишку, бросившего кусок каменного угля в стекло ехавшей машины, она закричала этим голосом: «Ах ты, скотина безрогая! Да ты же, убойная морда, людей мог покалечить». Прохожие вздрогнули,

услыхав из ее уст такое, в городе ее все знали. Но никому она не могла объяснить, да и никто бы не понял, кто это из нее кричал в ту минуту.

Иногда она подходила к зеркалу и сталкивалась со взглядом матери. Мать смотрела на нее грозно, с какой-то требовательной обидой. В детстве под этим взглядом Любовь Андреевна цепенела и ежилась, как от холода. Однажды она сказала бывшему первому секретарю Павлу Ивановичу Белоусову о том, что чувствует в себе иногда вот это непостижимое присутствие матери. Он ответил:

— Не разводи мистику. Мать тебя родила, она в тебе есть и всегда будет.

Ее качнуло, когда они с папками вошли в бывший кабинет Белоусова. Еще жил тут слабый дух табачного дыма, смешанного с мыльным запахом туалетной воды «Орион», которую Павел Иванович пользовал после бритья. Новый хозяин кабинета не курил, форточки двух окон держал открытыми, но дух старого еще жил, не выветрился. Любовь Андреевна, почувствовав, как ослабли руки и застучало в горле, опустилась на стул возле двери.

Новый не переставлял мебель, только на письменном столе появился желтый керамический еж с дырками для карандашей. Занавеси на окнах сияли особой чистотой, и пол по-особому лучился, сиял и подмигивал бликами. Навели красоту в честь нового или просто день солнечный, в лучах которого все заиграло, — это же не предмет для размышлений! Павел Иванович противным голосом произносил фразу. «Люба Андреевна, ну что за куцые, женские претензии, это же не предмет для размышлений».

За долгие годы у нее набралось много фраз, которыми она от него отбивалась. Без промаха же достигала цели только одна, произнесенная надменно, с вопросом: «То есть, как это?..» Белоусов, услышав «То есть, как это?..», дергал плечом и моргал желтыми ресницами. Фраза долгое время действовала на него парализующе, потом он ее раскусил и в ответ стал сооружать на своем морщинистом лице жабую улыбку.

— Ночью перед экзаменом я спал, Любовь Андреевна. У нас экзамены были — ого-го — битвы на рельсах, баталии. Поп — свое, а черт — свое. Творческий подход. Когда такое в точных науках, недоспавшему делать не-

чего на экзаменах. У вас, конечно, гуманитарное образование?

— Педагогическое.

— Я тоже чуть учителем не стал. Был бы, наверное, замечательным учителем. В генах у меня учительский зуд сидит — мать — учительница и отчим был учителем.

— На пенсии отчим?

— Рановато ему, преподает — пестики-тычинки. Биолог он.

— Понятно. Извините, а родной отец?

— Про родного и вовсе говорить не хочу.

Она поглядела на него грустно: понравиться мне хочешь своей откровенностью или маму вторую обрести? Поздно, Виталий Петрович, столько я уже своим сердцем наусыновляла, натратила души, столько синяков, шишек нашибала за свое доброе, что нет уже ни желания, ни сил продолжать это дело.

— А знаете, что сказал мне профессор Репко, когда я ему показал свой первый чертеж? Он вертел, вертел его в руках, потом уткнулся в шрифт и изрек: «Таким шрифтом, молодой человек, можете смело надписывать багаж и отправлять малой скоростью».

Она не улыбнулась. Хуже того, сдержала зевок, но дрогнувший подбородок выдавал. Он не знал, что так с ней бывает в минуты душевного смятения, и обиделся, лицо переменялось — поскучнело.

— Я все это проштудирую, Любовь Андреевна. И в самое ближайшее время мы встретимся и поговорим. Возможно, у меня будут вопросы.

— Завтра в двенадцать бюро, Виталий Петрович.

— Я помню.

По дороге домой ее озарило: ах, вот отчего я такая смелая и неприветливая. Неужто и в самом деле решусь? Сердце екнуло, тревожная, зыбкая отвага затуманила голову: уйду, уйду, попрошусь директором в школу, в самое дальнее село, и буду работать. Сама уйду. Не буду дожидаться этих слов... «Есть мнение, Любовь Андреевна, подумать, наконец, о вашем здоровье».

А где оно, здоровье? Где они, в какой сельской школе сегодня робкие, любознательные, благодарные ученики? Такое же длинноволосое нахальное отродье, как и везде. Здравствуй, мамочка! Опять ты из меня выгля-

нула. И какие-такие счеты я свожу с тобой, что не люблю быть тобою?

Двадцать пять лет проработала она в райкоме, из них пятнадцать — вторым секретарем. Встретила и проводила пять первых. Все кратные числа. Что-то в ней есть, в этой пятерке, какой-то указующий перст. Пятью девять — сорок пять, баба ягодка опять. Вот такая мура в голове. А что случилось? Белоусову — шестьдесят два, Маргаритке его пятьдесят восемь, а скажи про них, что старики, не скажешь. Сколько у нее кримпленовых костюмов? Штук восемь, не меньше. И ещё, наверное, нашила. Детей нет, мужу внушила, что его стиль — старый костюм и новая рубашка, чего ж самой не наряжаться. Хитрая Маргарита Степановна, хитрая, ревнивая и сухая, а он ничего этого за всю их долгую жизнь не заметил.

Посреди центральной улицы, рядом с почтой, стоит бывший дом Белоусовых. Ставни закрыты, калитка настежь. Словно приглашает дом нового жильца, а сам глаза закрыл от грусти и печали.

Хороший был дом. Ковер на полу в большой комнате — желтый с коричневым, как тигриная шкура. Бездетный дом, оттого не побилось, не потопталось, а зажилося много дорогих вещей. Сервизы, похожие на драгоценные цветы, мягкая мебель без чехлов, ни пятнышка, ни царапинки. И запах там был один, постоянный — того же «Ориона», но без мыльного оттенка и табачного духа. Дома Павел Иванович не курил. И всех уверял, что курит с тоски по Маргарите Степановне, когда ее нет рядом. Вот уж кто умел сказать — мертвый бы улыбнулся. Он тогда только заступил первым, гости смущались в его красивом доме, робея, поглядывали на бесцветную Маргариту Степановну, а он встал, поднял наразан (спиртное — ни-ни! — пошаливало сердце) и шархнул по всем своей моряцкой веселостью:

— Братцы, да что ж такое?! Мы на корабле или где? Приказываю — пить. Все пропьем, но флот не опозорим.

Он был из воевавших моряков, бывший капитан первого ранга Павел Иванович Белоусов. Маргарита его, наждавшаяся на берегу, говорившая к слову и невпопад: «Мы молодожены. Наша серебряная свадьба — это чуть больше года фактической семейной жизни», рев-

новала его двадцать четыре часа в сутки. Звонила в райком:

— Любовь Андреевна! Вы будете у нас вечером?

— Не буду. Еду в хозяйство.

Маргарита от радости забывала о вежливости, не догадывалась вымолвить: «Как жаль». А она специально уезжала, когда у Павла Ивановича праздновали день рождения или собирались гости по другому какому случаю. Не любила себя за столом в доме Белоусовых. Чужой дом, чужая жена Маргарита у такого своего, предназначенного только ей на этом свете человека.

Он терпел ее любовь три года. А потом самым жестоким образом пресек. Она в тот день вернулась после отпуска с Балатона, пришла в райком, чувствуя, как хороша в новом платье, с ровным золотистым загаром на руках и ногах, вошла к нему в кабинет и остановилась у двери. Она чувствовала себя женщиной!

— С возвращением, — сказал он сухо, — через два дня пленум, и без тебя мы его, чувствую, провалим. Если нет возражений, прямо с ходу включайся.

Это было большей пощечиной.

— Я еще в отпуске.

— Тогда зачем сюда пришла?

— Соскучилась. Хотела вас увидеть.

— Это дома. Звони Маргарите Степановне, вечером увидимся.

Ей пришлось звонить Маргарите. Иначе осталась бы между ними ложь. Позвонила и сказала, что вернулась, что завтра выходит на работу, так как на носу пленум.

— Вы будете у нас сегодня? — спросила Маргарита.

— Собиралась. И Павел Иванович приглашал. Но не смогу. Кольку жалко. Ходит за мной, как собачка: я в кухню — он за мной, я в сарай — и он по пятам. Соскучился.

Колька перешел тогда в четвертый. Как летит время! Сегодня сын уже в десятом.

Колька подметал дорожку. Желтые и красные листья всею разлетались в разные стороны. Расклешенные джинсы, свитерок, дурные родные вихры, из-за которых перед началом учебного года был скандал. Так и не пошел в парикмахерскую, сам себе перед зеркалом подкорнал гриву. Сын был уже не мальчиком и еще не

юношей, не парнем. Птенец-подлётка, крылья, ноги — все, как у настоящей птицы, а лету — метр, два и камнем вниз. Смутил ему душу Павел Иванович. Какой из него моряк. Море — это особая судьба. Море должно быть в генах, от родителей, от дедов. В Колькиных генах нет океанов. Только речка Лебедь могла в нем заговорить, перейдя по наследству от бабки и матери. Но далеко не уплывешь по Лебеди, низом, верхом, кругом, а все в своем районе.

Она открыла калитку, вдохнула горьковатый запах осенней листвы, увидела на крыльце ящик, поняла, что это за ящик, и нахмурилась.

— Михалев приезжал, — сообщил Колька. — Вон ящик оставил. Прямо как нанялся с этими яблоками.

— Иди в дом, — приказала она.

Сын прислонил метлу к дереву и покорно пошагал к крыльцу. На крыльце он пнул ящик, из щелей которого торчали стружки, и, повернув голову, через плечо улыбнулся ей: дескать, в каком бы ты настроении ни явилась, ко мне это не имеет ровно никакого отношения.

Михалев был председателем ближнего, соседствующего с райцентром колхоза. Каждую осень, под ноябрьские праздники, привозил этот, будь он неладен, ящик с яблоками и всякий раз ввергал Любовь Андреевну в расстройство. В эту пору года райцентр был завален яблоками. На базаре их оставляли на ночь на столах и в мешках без всякой охраны. Если бы яблоки в этом ящике были колхозные, она бы заплатила трояк — и дело с концом. Но яблоки, как уверял Михалев, были из собственного сада, стойкого сорта, зимние, и ни о какой плате речи быть не могло. Колька вскрывал ящик через два месяца, под Новый год, и действительно яблоки были, как с ветки, твердоватые, сочные, по вкусу не лучше, не хуже летних, просто особый сорт.

— Ну, как новый? — спросил Колька, суется возле плиты, по-мальчишески резко обращаясь с посудой. Все у него звенело, бренчало, но не падало, не разбивалось. Она его с шестого класса приучала вот так встречать ее с работы и приучила. — Понравился? Ничего дядька?

— Как это можно определить с первой встречи?

— Так не первая же встреча. Ты же и в прошлом году и недавно на конференции его видела.

— И сегодня видела. Видеть — еще не знать.

— Сегодня — другое дело. Так как он? Волокет?

У Любови Андреевны смех, возникший от его вопросов, смешался с острым приступом нежности: где, у кого есть еще такой глупый, такой любимый мальчик.

— Тебя бы на его место, ты бы уж поволок. Что-то мне кажется, что ты с нашей работой хорошо бы справился.

— Почему? — удивился Колька.

— Ну, во-первых, все знаешь, никаких вопросов и сомнений...

— Понятно, — обиделся Колька. — С тобой серьезно, а ты, как всегда. Я ведь не набиваюсь. Где у других вот эти, — он довольно крепко постучал себя по голове, — любопытствующие центры — у меня слепое место. Я могу и без вопросов. Только весь твой педагогический опыт пойдет прахом. Никаких вопросов и мне.

— Ух как ты раскошегарился. Я действительно, Коленька, не знаю, что он за человек. И, может, никогда не узнаю. Я, Коля, наверное, уйду с работы.

Он замер, похоже, даже испугался:

— Как это уйдешь? Куда?

— Хоть куда. У меня учительский диплом. Неужели не найду места?

Она почувствовала, как остро, на полную веру принял ее слова сын. Он словно полегчал, невесомо закружил вокруг нее с тарелками, осторожно резал хлеб, ложку не положил на стол, а сунул ей в руку. Она принялась за еду, а он сел напротив, по-старушечьи положил щеку на ладонь и глядел на нее, вздыхая. Она не выдержала этих вздохов, бросила ложку, принялась ему объяснять:

— Ты думаешь, что только у тебя вся жизнь впереди. У каждого человека впереди — жизнь. Думаешь, человек уходит на пенсию — это он на пенсию уходит? Он в новую жизнь уходит.

— Тебе до пенсии далеко.

— А я на пенсию не собираюсь. Я в школу пойду. С чего начинала, тем и кончу.

— Но ты ведь этого не хочешь, — Колька покраснел оттого, что приходится ему говорить такое. — Если бы хотела быть учительницей, то и была бы. Кто тебе не давал?

Что-то жестокое есть в каждой юности... Кто не да-

вал? Да ты сам первый и не дал. Ты рос, и мне надо было расти.

— Характер не давал,— ответила она,— доверие людей. Много твоих сверстников собирается после школы учиться на партийного работника? Ни одного. Станут инженерами, агрономами, учителями, вот тогда уж кой-кого сами люди выдвинут на партийную работу.

— Так не против же воли,— не сдавался Колька.— Если я, например, хочу быть агрономом, никакие люди не заставят меня переменить работу.

— На канате, конечно, никого не тянут. Но есть долг. И потом работа ведь не меняется. Агроном остается агрономом, учитель — учителем. Только поле уже — всего района, а в классе — от новорожденного до пенсионера.

Поздновато возник у них этот разговор. Мало знает сын о ее работе.

— Ты, Николай, лучше о себе серьезно бы подумал. Какой из тебя моряк? Наслушался Павла Ивановича, начитался книжек. У меня одна надежда, что медкомиссию не пройдешь.

Колька вытаращил глаза, будто изрекла она что-то непристойное, но быстро справился с собой, поднялся из-за стола, сказал лихо, но было видно, чего ему это стоило:

— Пройду я твою медкомиссию. Не надейся, что не пройду. Мать называется.

Бюро обещало быть затяжным. Четыре вопроса. Последний — о художественном музее.

Картины уже прибыли и были взяты на хранение в запасники областного краеведческого музея. Оттуда пришло письмо и две телеграммы. Художественный фонд предлагая свои услуги по оформлению музея. Сейчас, на бюро, предстояло решить, где ему быть. В родном доме художника или в райцентре.

В коридоре Любовь Андреевна увидела Михалева. Маленький щуплый Михалев стоял рядом с высоким упитанным малым в сером новеньком свитере и глядел на него снизу вверх счастливыми отцовскими глазами. «Зоотехник Свиньин,— вспомнила Любовь Андреевна,— из «Тимирязевки». С такой фамилией и так себя не блюдет, хоть бы на диету сел».

— Любовь Андреевна, — позвал ее Михалев, — познакомьтесь, наш новый главный зоотехник. Борис Савельевич Свинын.

— Да уже, кажется, видались, — сказала она, пожимая большую пухлую ладонь зоотехника. — Вы тоже на бюро?

— Нет, — ответил Свинын, — становлюсь на учет. И вот председателя своего попутно решил проводить.

«Председателя своего». Сейчас она этому «своему» поубавит радости.

— Николай Сергеевич, — сказала она, обращаясь к Михалеву, — с яблоками этими когда-нибудь будет конец?

— Не понимаю, — встрепенулся Михалев, — с какими яблоками?

— Знаете с какими. Просто взятка какая-то или оброк на себя наложили, я даже слов не найду.

Михалев дернулся, поправил обеими руками галстук, на лбу выступила розовая жила.

— От всей души, Любовь Андреевна. Из собственного сада. Гостинец.

Кабинет первого секретаря, в котором проходили заседания бюро, был наполовину заполнен. Она села на свое место, рядом с Плющом, по его левую руку. И тут же через всю комнату, через головы сидящих за длинным столом, приставленным к письменному, столкнулась взглядом с глазами Белоусова.

Он сидел у окна, стулья рядом с ним были свободны. Сидел грузно, было видно, как ему не по себе сидеть вот так в своем бывшем кабинете.

Еще не все расселись, еще неслись через комнату приветствия и приглашения: «Иди сюда, есть место», а новый уже вскочил:

— Товарищи, на повестке дня четыре вопроса.

Наступила тишина. Особая, любопытствующая, когда новый человек высвечивает не только себя, но и то, что давно уже известно, к чему привыкли.

— Я попрошу, — сказал Виталий Петрович, — в начале каждого выступления коротко представляться: я такой-то, представитель такого-то хозяйства, такие-то у меня итоги года.

Докладывал по первому вопросу председатель колхоза «Прогресс», представился, стал говорить о своем хозяйстве.

— Все ясно,— перебил его Плющ.— Переходите к существу вопроса.

Новый секретарь не сидел гостем на своем первом бюро. Неплохо знал положение в районе. Когда дело коснулось самого больного — пропавшей из-за ранних морозов свеклы, секретарь обратился к Любви Андреевне:

— В этом районе в среднем в три года раз такие вот внезапные морозы? И в такой же последовательности — тонны загубленной свеклы? Правильно, Любовь Андреевна?

— Да,— сказала она, повернув к нему голову,— в нашем районе это наблюдается и в соседнем тоже.

— Так, может, не стоит считать их внезапными? Может, их природа планирует? Попрошу в пятидневный срок представить мне сводку всех ранних заморозков, начиная, скажем, с тысяча девятьсот тридцатого года.

— Нереально,— ответила она,— вряд ли есть такие данные.

— Дайте задание комсомольцам, пусть перероют подшивки газет. Пусть опросят стариков, поработают в областном архиве. Это очень срочное задание. Через пять дней сводка должна быть в райкоме.

В перерыве она подошла к Белоусову. Он обнял ее, скользнул взглядом по сторонам, мол, глядите, как мы встречаемся. На них и впрямь смотрели. Десять лет был он первым в этом доме и районе, а теперь, хоть и генеральный директор, хоть и во главе нового большого дела, а в райкоме, как говорится, уже на общих основаниях.

— Нехорошо, Люба Андреевна. С глаз долой — из сердца вон. Маргарита все глаза проглядела. Где стукнет, брякнет — это Любовь Андреевна. А Люба Андреевна запрягать и не думала.

— Приеду.— Она глядела на него с укором: не верю, что соскучился, просто люди кругом, надо такое сказать.— На субботу и воскресенье приеду. Не в ближайшие, а как освобожусь немножко. Предупрежу, позволю накануне.

— Будем ждать. Коньячку припасем, дернем в честь нашей многолетней дружбы.

— Знаю я, как вы дергаете, одни слова и провокация.

— Ну-ну,— он снял руку с ее плеча,— мы тебя дей-

ствительно ждем. И ты не затягивай. Тебе п. с объединением нашим надо поближе познакомиться, помочь. Бери командировку, пока директор новый — самое время помогать. Так ведь, Люба Андреевна? Упущу золотое времечко, перестану быть новым — и уж никакой помощи от вас не дождешься. Начнете выговора клеить, только подставляй бока.

— Не обидим по старой памяти, — ответила она, глядя на него все так же с укором, — да и не очень вас достанешь — областная отчетность, прямой выход на министерство.

— Но план-то выполняем району, на партучете не в Москве, в Журавине стоим.

— Не забыли еще Журавино?

— Мы, Люба Андреевна, куда нас ни кинь, ничего не забываем. Мы, журавинские, такие. А если по правде — то некогда ни вспомнить, ни забыть.

Это он не о Журавине, о ней сказал. Некогда вспомнить, и забыть времени не достает. Она его знает: влез по уши в откормочные комплексы, влюбляет в себя походя молодых специалистов — ах, ребята, все пропьем, но флот не опозорим. Через год у него уже там все запоем и засверкает. Иностранцев будут возить на экскурсии. Ей сердце заволокло горем — годы, годы. А этот собрался жить вечно. Сейчас новый директор, потом будет старым. Старым директором всего лишь, но не старым Белоусовым Павлом Ивановичем. Морщины под глазами — улыбнется, так ни бровей, ни ресниц, два ликующих глаза в омуте морщин. А пробей эту улыбку, попробуй устоять, удержаться от ее власти — ничего не получится. «Наскучался я, братцы, в океанах вот по такой жизни!» И каждому слышится: «Это я по тебе, по тебе наскучался».

С музеем вышла осечка. Любовь Андреевна только-только складно и толково изложила суть дела, как Виталий Петрович загнал ее в тупик вопросом:

— Любовь Андреевна, но как быть с желанием самого художника?

Она побледнела, как школьница, ответившая на пятерку урок, которой вдруг сказали — садись, двойка.

— Мы исходили из высшей целесообразности. Музей в Журавине станет культурным центром для всего населения района.

— По этой целесообразности, — сказал первый секре-

тарь,— вместе с музеем неплохо бы заодно и Лебедь перенести в райцентр.

В кабинете прошелся сдержанный, но довольно дружный смехок. Речку Лебедь никаким решением не стронешь с места.

— Художник завещал картины родному селу,— продолжал Виталий Петрович.— Родное село в лице колхоза имени Калинина должно принять этот дар, а как же иначе? Может, кто-нибудь знает, как иначе, я не знаю.

— Есть смысл послушать председателя колхоза имени Калинина,— Любовь Андреевна оправилась от короткого потрясения и строго поглядела на лебедянского председателя.

— Мы обсуждали вопрос с музбем,— председатель поднялся, выставил вперед плечо.— Мнения разделились. Половина — чтобы выслать учителей, другая половина — чтобы остались они на старом месте. Дом куплен колхозом. Документ имеется.

— Разве об учителях речь? — голос Виталия Петровича звучал ровно, его словно убивала непонятливость окружающих, и он нарочно говорил ровно, без всяких эмоций.— Речь идет о художнике, о выдающемся человеке нашего района, области и всей страны. Знают ваши колхозники своего земляка?

— Знают,— ответил лебедянский председатель.— Его картина в школе висит. И у Бабуркиных есть картина.

— Что изображено на этих картинах?

— На той, что в школе,— детские ясли, то есть этот дом, о котором мы ведем речь. Снизу нарисовано: речка видна и дом с деревьями. А у Бабуркиных — лицо еще не старухи, но так, женщины в годах.

Виталий Петрович поднялся, положил ладони на зеленое сукно стола, спина прогнулась, словно изготовился к прыжку. Любовь Андреевна не слыхала первых его фраз. Картина у Бабуркиных — портрет матери, «и этот сын по имени Виктор Сергеевич рисует с меня портрет...». Голос Виталия Петровича раздавался где-то вдали:

...— Эстетическое воспитание вдали от эстетических ценностей — воспитание умозрительное, не глубокое. Мне понятно желание Любви Андреевны приобщить сразу к культурному наследию художника как можно

больше людей. Но мне также понятна и глубоко свята последняя воля человека, оставившего родному селу бесценный подарок. Колхоз имени Калинина должен достойно принять его. Предлагаю открыть музей в колхозе имени Калинина к Новому году.

Бюро закончилось, а рабочий день еще шел, и невидимые его связи, сплетаясь и расплетаясь, вдруг затянулись узлом и натянутыми концами больно ударили по Любви Андреевне.

Колька, который никогда не звонил и не приходил к ней на работу, вдруг возник на пороге кабинета, и она, увидев его перекошенное лицо, испугалась и схватилась за сердце.

— Мама! Приехал Михалев и забрал ящик.

— Как забрал? Почему? Что он говорил?

— Ругался. Вроде того, что если человек не понимает доброго, так свой ум не вставишь.

— Давно это случилось?

— Сейчас. Я сразу к тебе.

Она отправила сына и тут же вызвала машину. Умирая от стыда, что шофер Степан Гаврилович будет свидетелем ее встречи с Михалевым, понеслась вдогонку. Догнала за райцентром, Михалев на своих «Жигулях» не спешил, ехал по разбитой дороге осторожно. Сразу остановился, заслышав сигнал сзади.

Разъяренная, несчастная, она подбежала к его машине, открыла дверцы и заплакала, уткнувшись лбом в холодную полосу металла.

— Что же ты, Михалев, вытворяешь? Ты бы хоть женщину во мне пощадил, если секретаря не уважаешь.

— Да что ты такое говоришь, Любовь Андреевна, — Михалев засуетился, и видно было, как он рад этой встрече. — Да я уже сам не знаю, что с этим ящиком делать. Это все жена, Татьяна: «Не привезешь, так что подумает — в том году возил, а в этом нет».

— Отдавай яблоки. Больше не вози, а эти верни.

Он, торопясь, вытащил из багажника ящик, подошел Степан Гаврилович, и они вдвоем перенесли его в газик.

— Прости меня, — сказала Любовь Андреевна, — и Татьяне ничего не говори.

— Да уж чего там, — успокоил он ее. Стоял возле машины, похожий на старенького востроногого мальчика, смотрел снизу вверх и утешал: — Трудно тебе. Ра-

бота трудная. Жизнь вдовья. Хоть секретарь, хоть кто, а домой придешь — кто пожалеет.

— Сын у меня хороший,— сказала она, справляясь с новой волной слез,— и работа у меня хорошая. Что уж ты меня так отпеваешь.

— Работа — твоя,— согласился Михалев,— ты ее хорошо знаешь. Сама ее никому не уступай. Будут намеки делать, дескать, отдохнуть пора, поменьше нагрузку взять, ты никаких намеков не понимай. Вы теперь в хорошем сочетании. Он — молодой, ты — постарше. А кто старше, тот и мудрей.

— Если бы так,— вздохнула она, благодарная его словам.

— И нас не забывай,— сказал он, уже сидя за рулем.— У кого музей, а у кого зоотехник лучше всякой картины. Да ты его видела. Приезжай.

Снег выпал в Журавине поздно. Закружили пушистые мухи, выкрасили дороги и крыши в белый цвет и стояли к утру. А через сутки ударил морозец, снег посыпался колючей крупой и лег уже первым слоем на землю до-весны.

Близился Новый год. В райцентре его начинали встречать рано. С середины декабря на ДOME культуры и ресторане «Журавино» появлялись объявления: «Сегодня закрытый спецвечер»... Это означало, что сахарный завод или швейники соберутся загодя на встречу Нового года. Любовь Андреевна звонила и при встречах говорила директору Дома культуры и заведующей рестораном насчет спецвечера, дескать, по-человечески напишите: сегодня такие-то или такие-то будут встречать Новый год. Но назавтра снова появлялся «закрытый спецвечер» и через год «спецвечер», что-то в этом слове было непробиваемо стойкое.

В школах Новый год тоже начинали праздновать рано. Старшеклассники проводили свои вечера накануне Нового года, а уж после, в зимние каникулы, в залах с елками полностью хозяйничали пионеры и октябрюта.

Любовь Андреевна каждый год ходила на школьные елки, но в Колькиной школе не бывала. Он не то чтобы попросил ее об этом, но она чувствовала — не хочет.

А тут вдруг, как подвох какой-то:

— Мам, ты приходи. Или пойдем вместе.

Сын стоял у зеркала, длинненький, в сером, с металлическим отливом костюме, красной рубашке и был похож на удивленного снегиря. Она увидела, что у него хороший цвет лица, и глаза спокойные, незамороченные. И отросшие вихры идут ему, когда вот так, аккуратно причесаны. Есть там в классе Лара, в которой время от времени возникают у них разговоры. Легкие разговоры, шутливые. «Ну, что сегодня Лара?» — «Да то же, что и вчера. Умней всех и красивей». Он звонит по вечерам Ларе. Когда замечает, что мать прислушивается, начинает говорить по-английски. Очень редко, но и Лара ему звонит: «Здрасьте, можно Колю?» «А Коли нет дома», — отвечает она, когда сына нет, и чувствует, как там, вдали, переживает Лара, каким горьким и растерянным становится ее лицо. Любовь Андреевна приходит ей на помощь: «Он скоро появится. Я скажу, чтобы он позвонил вам». «Спасибо», — пищит в ответ Лара и кладет трубку, но вряд ли это «спасибо» истинная благодарность. Лара вряд ли понимает, что мать Коли могла бы сказать и другое: «Его нет, но, когда он появится, я передам, что вы ему звонили».

— Нет, Коля, — отвечает она ему, — хватит мне бегать по чужим праздникам. Знаешь, что я решила? Поеду на Новый год к Белоусовым. Просто так поеду, в гости. Что скажешь?

— Поезжай, — он не понял, что тут особенного — поеду к Белоусовым. Раньше, когда они жили рядом, — ходила, теперь надо ехать. — Кстати, заberi с собой яблоки. Ведь не едим, пропадут.

Она не сразу поняла, о каких он яблоках. Вспомнила и обрадовалась. Очень хорошо. Генеральный директор — это не председатель колхоза. На комплексах садов не разводят. В самый раз придутся яблочки, к белому снегу, к Новому году.

Перед ее отъездом, когда машина стояла у крыльца и ящик уже был водружен в багажник, позвонил Плющ:

— С Новым годом, Любовь Андреевна! С наступающими новыми делами и соответственно — с новыми радостями.

Она не ждала этого звонка, растерялась и ответила не своим, каким-то уж чересчур бравым голосом:

— И вас также, Виталий Петрович, всех вам благ — здоровья, счастья, удачи.

— Во-во! Удачи! Хотя не знаю, что это такое, но

надо ее, и побольше. У вас какие планы на вечер, Любовь Андреевна?

Сердце ее сжалось в благодарном предчувствии, подвинув к краю стола телефонный аппарат, она опустилась в кресло. Не дождавшись ее ответа, Плющ продолжал:

— Жена приехала. Зиной зовут. Приезжайте знакомиться, Любовь Андреевна. Заодно и Новый год встретим.

Вот ведь как нехорошо получилось. Она так и сказала ему то, что подумала:

— Ах как нехорошо. Уезжаю я. В гости. Уже и машина пришла.

— Ничего, ничего, — он понял ее замешательство, — сам виноват. Надо было раньше договариваться, а я на эту, на удачу понадеялся. К Белоусову едете?

Он сам не знал, сколько пудов тяжести возложил на нее этим вопросом.

— К Белоусову.

Теперь уже он заговорил неестественно звонко:

— Поздравьте от меня с наступающим. — Помолчал, засмеялся и сквозь смех продолжил: — Передайте, что придишу его в Новом году в темном месте. Никакой жизни: кто рот ни откроет — первое слово «Белоусов», а если рот закрыт — то в голове Белоусов. Теперь вот вы к нему едете. Потом жена меня бросит, тоже к нему поедет.

— Да вы никак выпили, Виталий Петрович?

— Уж если и было, так сам бог велел. За здоровье Белоусова. И Новый год все-таки, Любовь Андреевна. Так или не так?

— Так, — ответила она ему. — Так, Виталий Петрович.

Машина неслась по дороге, продутой ветрами. Молоденький шофер, приехавший за ней из объединения, исходил молчаливой обидой, пыхтел и вздыхал. Любовь Андреевна надрывала рядом с ним сердце, наконец не выдержала:

— Ну, чем уж так недоволен? Что случилось?

Он словно на пределе был, словно еле дождался этих ее вопросов:

— Так праздник у всех людей. Все празднуют, а я тут, как ишак, как не человек. Нету такого права.

— Сам на праздники никуда не ездил?

— Чего мне ездить? Мне и дома хорошо.

— А люди ездят. И везут их машинисты тепловозов, и летчики, и шоферы. Везут и не психуют. Работа такая. Для людей. Ты для людей, люди для тебя. Вон шапку носишь, куртка модная. Кто-то шил. Может, и под праздник.

— Знаю я это все. Но почему меня? Что я, один водитель? Нам пятнадцать, а как праздник или что — так меня.

— Могу сказать Белоусову, раз такая несправедливость. Он новый, еще всех вас не знает. Просит лично, ну, ему лучшего водителя и рекомендуют. Лучшему всегда трудней.

— Не надо ничего Белоусову говорить. — Парень помолчал, уже тикло, не сопя, не вздыхая, добавил: — Не лучший я. Ко мне теща приехала из Сибири, гостей называли, теперь сидят, ждут.

— Откуда ждут? С танцев? С пьянки? С работы тебя ждут. Пусть теща убедится, какая у тебя нелегкая работа. За это тещи только больше любят и уважают.

— Да она и так меня любит. Ты, говорит, мой сын, а Танька — невестка.

— Вот видишь. Песни должен петь — к такой замечательной теще едешь. Давай пой песню.

Водитель отмяк, улыбнулся, вытащил из-под ног транзистор, включил. Оттуда вырвалось: «...Чтобы день начинался и кончался тобой...»

Вот какие нынче поют песни.

Маргарита была дома одна, когда Любовь Андреевна, сдерживая волнение, вошла в их дом. Свет горел в сенях и во всех комнатах, пахло теплом, пирогом, праздником. Встретились, обнялись. Дом был похож на журавинский, только кухня побольше и с другой стороны от входа; те же вещи, та же хозяйка. Прямая, остренькая, пробор на голове струнчочкой и хвостик волос, как прежде, бантиком из шерстяной нитки стянут. Вся будто по линейке вычерчена. Усыхает маленько с годами... А тут и голос Павла Ивановича из сеней:

— Приехала!

А за ним паренек-шофер:

— Ящик-то забыли. Я его на крыльце поставил.

Занялись ящиком. Внесли в сени. Топором оторвали верхние доски, в холодные сени ворвался звонкий запах крепких зимних яблок.

— Вот так, Люба Андреевна, впредь и будет: когда ни явисься — в зубах презент генеральному директору. За столом он подкладывал ей в тарелку домашнюю снесь — грибки, фаршированную рыбу, капусту с алыми бусинами клюквы.

— Ешь, ешь, где еще такое отведаешь. Колька как?

— А что Колька, — вздохнула Любовь Андреевна, — учится. У него дело одно, четкое. Вы лучше спросите, как я.

Маргарита выпрямила спину, кончик носа побелел. «А пес с тобой, ревнуй, если ума нет», — подумала Любовь Андреевна и ласковым, затуманенным взглядом от ударившего в голову конька уставилась на хозяина.

— У тебя тоже дело четкое, — Павел Иванович поглядел на нее с грустью. Он всегда грустнел, когда женщины глядели на него вот так затуманенно. — У вас, у женщин, с возрастом возникает какое-то детское желание поныть, поплакаться. Я тебе скажу одно: Плющ человек хороший, и ты человек хороший. Вам еще работать и работать. Ты ведь чего боишься, что турнет он тебя раньше времени...

— То есть как это «турнет»? — Любовь Андреевна произнесла этот вопрос с удивлением и металлом в голосе. Защитное «то есть как это» выручило и в этот раз, хозяин заморгал желтыми ресницами, потряс головой, словно избавлялся от подступившей неприязни, и, секунду спустя, послал женщинам свою самую пробойную, жабую улыбку. Но Маргарита быстренько стерла эту улыбку с его физиономии:

— У женщин с возрастом... Можно подумать, что у мужчин с возрастом прибавляется что-то замечательное.

Это был ее конек — мужчины — женщины, она не упускала случая повоевать за женское равноправие.

— Любовь Андреевна, поверьте мне, никто так не паникует перед возрастом, как наши многоуважаемые мужчины. Каждый выпавший волосок из их драгоценной шевелюры, каждые прошлогодние брюки, которые нынче не сходятся в талии — это не драма — трагедия. А каждый взгляд молодой девчонки — это настроение на целый день. Она на него посмотрела с интересом: где этот старый тип достал ондатровую шапку? А тип уже на седьмом небе: на него посмотрели, на него еще заглядываются молоденькие девчонки.

— Хватит? — жалобно спросил хозяин. — Скучно все это, ей-богу. И неблагородно: вас двое, я один.

Любовь Андреевна глубоко вздохнула, и этот вздох был началом нового настроения. Чего уж, в самом деле. Праздник есть праздник, надо менять тему.

— Колька влюбился, — сказала и увидела, как вспыхнул интерес в глазах Маргариты, как поднял брови Павел Иванович. — Мόю как-то пол в его комнате, вытащила из-под кровати кеду, а в ней на стельке написано «Лара» и сердце рядом, пронзенное стрелой. Вечером спрашиваю: «Что же ты свою любовь под пятку загнал? Узнает Лара, где ты ее прячешь — будет тебе на орехи».

— А он? — спросил Павел Иванович.

— А стельку, мол, я еще в седьмом классе расписал, молодой был, глупый.

— Ишь ты? — заинтересовался Павел Иванович. — Ну а ты что ему на это?

— Хорошо, говорю, сын, обувь носишь, аккуратно. Смотри до женитьбы не доноси, а то жена тебе эту Лару вовек не простит.

Белоусовы рассмеялись:

— А он что?

— А он, видите ли, на этой Ларе жениться будет. Зоотехника Павлова дочка. Видала я ее летом на стадионе, присмотрелась: телка и телка, на полголовы выше Кольки, толстая, спина трясется.

Павел Иванович захлебнулся от смеха:

— Ну, это еще будет в районе концерт, как ты свекровью станешь.

— Может, с твоей помощью и не стану.

— Как это с моей помощью? — удивился хозяин.

— В мореходку по-прежнему собирается. Если поступит, не до Лары будет.

— Именно до Лары, — со знанием дела произнесла Маргарита Степановна. — Моряки — самые хорошие мужья, если, конечно, жены у них порядочные.

Сидели долго. Под конец застолья пили кофе из тонких узких чашечек, смотрели по телевизору концерт из Москвы. Во втором часу ночи Павел Иванович надумал пить шампанское. Не обращая внимания на поджатые губы жены, принес из кладовой бутылку, по-детски, со смаком содрал с пробки серебряную бумажку.

Через секунду пробка с выстрелом взлетела к потолку, Маргарита зажала уши.

— Ах, Люба Андреевна, все пропьем, но флот не опозорим.

Положили гостью в просторной комнате, на тахте под торшером. Маргарита постелила новое белье, поставила у изголовья кружку с компотом и тарелку яблок.

— Завтра вас рано поднимать не буду. Спите себе без всяких забот.

Потом пришел Белоусов. Сел в погах. Когда-то вот так в общекитии приходили парни и сидели на краю кровати. Тогда, в молодые годы, она не знала, что это неприлично, а теперь знала. Знала и то, что Маргарита сейчас убирает со стола и кончик носа у нее белый от ревности. И не было к ней жалости. Пусть хоть чем-нибудь платит, хоть такой болью за свою жизненную удачу.

— Съем яблоко и пойду,— словно услышав ее мысли, сказал Павел Иванович.— Откуда такие?

— Михалев привез,— она вспомнила Михалева, свою вину перед ним и вздохнула.

Павел Иванович попрощался и ушел, хрустя яблоком, и сразу затихли за стенкой шаги Маргариты.

Любовь Андреевна вытащила руки из-под одеяла, засунула ладони под голову. Под белым потолком слабо светилась лампочка без абажура. Чистая безымянная комната. Комната для гостей в красивом, уютном доме. У нее тоже хороший дом. Колька уже вернулся со школьного вечера. Утром проснется, увидит, что ее нет, и пойдет расчищать в снегу дорожку от крыльца к калитке.

Она стала думать о сыне. Легко в гостях, за столом, говорить про любовь его, про толстую Лару. А как у него в жизни будет с этим? Найдет ли, встретит свою Маргариту? Или любая Лара может стать Маргаритой, если рядом Павел Иванович? Она хотела вспомнить покойного мужа и уже увидела его тихое лицо с тенями под глазами, но тут вдруг кровать поплыла, подушка пропала под головой и в комнату вошла мать, огляделась и, не обращая внимания на дочь, стала разговаривать сама с собой: «Яблоки возят друг другу. Он уехал, а она к нему с яблоками. А что в тех яблоках? Ну зимний сорт, живет долго, так ведь не вечно». Она

хотела ей ответить, что вечно живет только память, по матери уже не было. Любовь Андреевна сидела в своем кабинете, Плющ внес стопу папок с бантиками тесемок на боках, положил перед ней на стол. «Прочитал, Любовь Андреевна», — сказал он. Она подняла голову и увидела, что на Плюще такой же, как у Кольки, новый костюм, серый с металлическим отливом, и такая же красная рубашка. Но в этом наряде Виталий Петрович показался ей старше, чем есть, и совсем не походил, как Колька, на удивленного снегиря.

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

Ли́ка не любит моих гостей. «Приваживаете неизвестно кого и зачем». Если ей случается открывать дверь, она распахивает ее широко, приваливается к стене и смотрит в потолок. Вид ее пугает пришедших, только на Клаву Щедрову, лифтершу из третьего подъезда, не действует.

— Стоишь? — спрашивает Клава. — Смотри не упади.

— Постараюсь.

— Могла бы и поздороваться, не отсох бы язык.

Ли́ка закрывает дверь и кричит мне:

— Имейте в виду, Маргарита Сергеевна, терплю этот кошмар ради вас!

Клава предупреждает ее:

— Потихе ори! Кавалеров распугаешь.

Клава приходит диктовать письма. Отправляет она их в свою деревню, начинает так: «Здравствуйте уважаемые тетки, дядя, сродные сестры и братья, все, кого знаю и кого не довелось повидать». Лицо у бойкой Клавы, пока она диктует, растерянное, она покашливает, вздыхает, подбирая слова: «Напишите, чего вам прислать. Тетя Полина, когда зимой приезжала, искала перец черный молотый. Тогда его не было, а сейчас имеется...»

Покончив с письмом, Клава не уходит. Старается втянуть меня в разговор о Лике:

— Этот с бородой, что к вам ходит, спокойный?

Я не знаю, какой смысл она вкладывает в слово «спокойный», и отвечаю:

— Спокойный и вообще славный человек.

Клава смотрит на меня с сомнением и вдруг в упор спрашивает:

— Женится?

Теперь уже я осуждающе гляжу на Клаву:

— Это они сами решат.

Я выхожу на кухню, ставлю чайник. Лика шипит:

— Обзавелись подругой. Она ведьма и сплетница. Все это знают.

Я прикладываю палец к губам, но Лика не унимается:

— Ведьма вам дороже хорошего человека.

Хороший человек — это она. Стоит лохматая, в узком, коротком платье, голые ноги в старых шлепанцах.

— Иди, посмотри на себя в зеркало, — шепчу я ей, — а то мне трудно решить, кто из вас ведьма.

По воскресеньям с другого конца города ко мне приезжает Эмилия Павловна, тихая, угасшая старушка, бывшая учительница музыки.

До войны она была такой же маленькой и сухонькой, с седыми аккуратными буклями, с бирюзовыми сережками в ушах. Мы жили в одном доме, здоровались. Через двадцать лет, уже в другом городе, я вдруг увидела ее, подошла, напомнила о себе, и теперь мы, как говорит Лика, «подруги детства».

— Что у вас за страсть окружать себя старухами? — спрашивает Лика.

— Если тебе повезет, — отвечаю я, — ты тоже когда-нибудь будешь старухой.

— Повезет! — Лика фыркает. — Жить, чего-то добиваться — и в награду получить старость.

Я не знаю, чего добивается в жизни Лика. О работе своей она ничего не рассказывает. В любовь не верит. «Будь у меня отдельная квартира, — говорит она, — меня бы обязательно кто-нибудь зверски любил».

— Все хотят быть любимыми, — говорю я ей. — Никто не хочет любить, и все хотят быть любимыми.

— В ваше время, конечно, все было по-другому, — Лика вызывает меня на спор. Мы спорим часто, горячо и бесплодно. Я не люблю ее в эти минуты; она мне кажется упрямой и не умной.

А в другие часы я ее люблю. Мне нравится ее походка — плавная, неторопливая; иногда она на ходу встряхивает гривой волос, словно отгоняет случайные мысли. Волосы у нее темные, с рыжинкой, рассыпаны

по плечам; когда она их забирает в узел, широкое с круглым подбородком лицо становится строгим и значительным. Я говорю:

— Носи всегда такую прическу, она тебя облагораживает.

— Благородная старая дева, — говорит Лика и улыбается, не разжимая губ, лицо делается обиженным и беззащитным.

В субботу приходит Никич, бывший Ликин однокурсник, сейчас то ли артист, то ли художник — я так и не выяснила. Он большой, плотный, с рыжей шкиперской бородой. Глаза голубые, добрые, какие-то прощающие глаза. Он целует мне руку, почтительно склоняет голову, и я каждый раз удивляюсь, что голова его пахнет апельсином и похожа на большой рыжий апельсин. Я не знаю его имени, Никич это от фамилии — Никитин. Он приходит, и Лика пачинает метаться по квартире, оглашая ее воплями:

— Никич! Я никуда не пойду. Мне не в чем.

Никич сидит на кухне, вытянув ноги, смотрит на Лиду и подмигивает мне:

— Что мне нравится в Лике, так это постоянство. Каждый раз одно и то же.

Лика приносит мне мешок со старыми чулками, улыбается своей жалобной, с сомкнутыми губами улыбкой, и я говорю Никичу:

— Ликино постоянство и мне известно. Все, как всегда, — надо искать пару без шва и приблизительно одного цвета.

Наше терпение Лика награждает спектаклем с прической. Накручивает волосы на бигуди. Зажигает в духовке газ и садится на пол. Сушит голову.

— Не жестко? — спрашивает Никич.

Лика терпеливо сносит его вопросы.

Потом садится у зеркала и «делает» себе лицо. На это я не могу смотреть. Круглое, милое Ликино лицо превращается в желтую маску с двумя черными кляксами вместо глаз, с неживыми бело-розовыми губами.

— Ужас, — говорю я. — Глаза, как заплатки, а губы — будто ела зубную пасту.

Лика смеется: я ничего не понимаю в современных лицах.

Иногда мне хочется, чтобы там, куда они уходят с Никичем, ее крепко обидели. Пусть бы она вернулась

оттуда несчастная, смыла эти дурацкие краски и никогда больше туда не ходила. Я как-то сказала ей об этом.

— Это у вас материнское,— объяснила она.— Если бы у вас была дочь, вы бы заели ей жизнь. Из любви бы заели.

Лика и Никич уходят, и я остаюсь одна. Дверь в Ликину комнату настезь: на столе включенный утюг, на полу, словно двинувшиеся за ней следом, туфли. Лика, Лика... Я выключаю утюг, собираю туфли, складываю на спинку стула платья и думаю, что же за жизнь у моей соседки.

На серых обоях рисунок Никича — синий слон и над ним черный зонтик. Слон никуда не идет, стоит как вкопанный. Зонтик тоже сам по себе — висит над ним. Ни солнца, ни дождя. Просто слон под зонтиком.

Вряд ли у меня к ней материнские чувства. У меня не болит по ней сердце, как по сыновьям, Косте с Владькой. Это что-то другое. Такие, как Лика, мне в жизни не встречались. Много людей прошло через мою жизнь, и судьба каждого могла бы быть моей. Ликина жизнь мне незнакома.

Когда за окном вечер и в квартире тихо, меня обступает со всех сторон прошлое. Коська и маленький Владька, довоенные и послевоенные годы. В такие часы я перечитываю старые письма, достаю фотографию мужа, смотрю на нее — жил человек, и нет его, и никогда больше не будет. Лика как-то сказала: «Вся жизнь, если не строить иллюзий,— суета сует. В результате всех ждет одинокая старость, а потом и вообще ничего». Это был один из наших самых яростных споров.

— Одиночество — это твоя жизнь,— доказывала я ей.— Куда-то бегаешь, с кем-то веселишься, а в итоге — одна.

— Ах, бросьте,— Лика стояла на своем.— И вы, и ваша подруга детства, и ваша лифтерша Клава, все вы одиноки. И от меня это не уйдет, и не старьте меня раньше времени.

Она не дразнит меня, она убеждена в этом. Я ухожу в свою комнату с чувством обиды. Не на нее. На Костю и Владьку. Сажусь за письмо. Пишу Владьке с горечью: «Здравствуй, сын. Получила твое письмо. Рада, что у тебя все благополучно. Я тоже пока здорова, и у меня все хорошо...» Слезы застилают глаза. Я не могу простить Владьке, что мы живем далеко друг от друга и

видимся редко. Когда я умру, он прилетит самолетом. А так не летит. Живет с женой Зоей и дочкой Леночкой. На Костю я не обижаюсь. Костя служит на флоте и принадлежит целиком только своему кораблю. Семья его в Ленинграде. И он видится с ней так же редко, как и со мной.

Лику и Никиты ушли. За окном ветер, и тишина в квартире. А я не хочу ничего вспоминать. Звоню Эмилии Павловне:

— Добрый вечер, Эмилия Павловна.

— Добрый вечер, милая Маргарита Сергеевна. Как хорошо, что вы позвонили, — голос у нее кроткий и слабый, как у больного ребенка. Никто не знает, рада она или не рада звонку — всем она говорит: «Как хорошо, что вы позвонили». — Мне предлагают билеты в консерваторию. Может быть, на этот раз мы выберемся вместе?

Я скрываю от Эмилии Павловны, что не умею и не люблю слушать серьезную музыку, и говорю:

— А как же Таня? Она вам не простит измены.

Таня — подруга Эмилии Павловны, такая же музыкально образованная старушка.

— Можно будет поговорить о трех билетах, — неуверенно говорит Эмилия Павловна. Я чувствую, что ей хотелось пойти со мной, Таня, как мне известно, во время концертов ведет себя слишком активно — вздыхает, произносит французские слова, и Эмилия Павловна страдает.

— Сделаем так, — говорю я, — в консерваторию вы пойдете с Таней, а мы с вами завтра после обеда отправимся в парк.

— Если не будет дождя, — соглашается Эмилия Павловна.

Потом я думаю, кому бы еще позвонить, но никому не звоню, а включаю телевизор. Не признаваясь себе, я жду Лику. Это самое трудное, что выпало мне в жизни, — длинные вечерние ожидания. Мой погибший на войне муж был кадровым командиром. Все погибшие мужья в воспоминаниях своих жен были когда-то их лучшими друзьями. Мне тоже порой так кажется, но этого не было. Мы любили друг друга, но жили слишком бурно: ссорились, мирились. Он был из казачьей донской семьи, крутого и категоричного нрава. Все женщины в его глазах были бабами, приданными природой

мужьям в подчинение. Я ждала его длинными вечерами, закутав кастрюлю с ужином в старое солдатское одеяло. Ждала радостно и тревожно.

Потом, в войну, вечерами, в голодном сибирском городе я ждала, что вдруг кто-то придет с вестью о муже. Раненый боец из госпиталя или почтальон с телеграммой. Ждала Костю из плавания. Потом, спустя много лет, ждала Владьку с институтских вечеров. Когда они оба отошли от меня, по вечерам я по-прежнему чего-то ждала. Это было даже не ожидание, а тоскливое предчувствие чего-то неотвратимого, возможно, старости. В такие вечера я старалась думать о своей фабрике, куда утром пойду на работу, о срочных делах, которыми завтра будет заполнен день. Я любила свою работу. Она мне досталась не по диплому. Во втором послевоенном году выбрали председателем фабкома. Каждый год выбирали. А потом фабрика выросла, и эту должность сделали, как у нас говорили, «освобожденной». Так сложилось: до войны была женой командира, в войну кем только не была — комендантом в общежитии, билетером в театре, даже диктором на областном радио, а потом за паек и восемьсот хлебных граммов — вахтером на оборонном объекте. Вот в те годы было действительно ожидание. Особенно, когда дошло, что война ни на той неделе, ни через месяц не кончится.

А теперь Лика. Соседка Лика. Сажу и жду. Как будто было мало ожиданий в моей жизни. Жду, когда она вернется. Жду, что будет у них с Никичем. Лика как-то сказала, что у меня профессиональная привычка совать нос в чужую личную жизнь. Вполне возможно. В фабком приходили другие девчонки, обманутые, ждущие расправы или примирения с «ним». Возможно, на фабрике были и такие, как Лика, но только я их не видела. Такие не приходят в фабком, таким ни от кого ничего не надо.

Второй час ночи. Точно ли Никич провожает ее? Может быть, одна бредет сейчас по городу? Я говорю себе: «Ей под тридцать и ей пора уже самой сидеть и кого-нибудь ждать». Я хочу разозлиться, у меня тяжелая голова и просто не хватает сил для таких ночных бдений. «Она эгоистка, она думает только о себе. А ты ложись спать, она может вообще не прийти». Я расстилаю постель и иду на кухню ставить чайник. Она вот-вот придет.

Это «вот-вот» я всегда чувствую. Чайник кипит, и я слышу, как в двери тихонько скребется ключ.

— Конечно, она не спит! — кричит с порога Лика, влетает на кухню и оглядывает ее, будто видит впервые, потом осторожно садится на табуретку, откидывает голову и говорит загадочным голосом:

— Ах какой был вечер! Какой счастливый, необыкновенный вечер. Я еще вся в его тумане и музыке.

Я смотрю на нее недоверчиво, наливаю в чашки чай.

— Пей. У тебя всегда все необыкновенное.

— Только так! — Лика надменно поднимает бровь. — Что в этом плохого?

Ей хочется рассказать, как все было там, откуда она пришла, и она сердится, что я не проявляю любопытства.

— У хозяйки были прекрасные, средневековые волосы, — говорит нараспев Лика. — Они спадали ей на спину и грудь. Когда один из гостей запел цыганскую песню, у нее на глазах заблестали слезы.

Я молчу. В Ликином глоссе появляется мстительность:

— А Хозбачев был весь вечер в меня влюблен. Читал мне Есенина. Ах как он читал — как пьяный влюбленный поэт.

Хозбачев — новая звезда в театре, в котором Лика когда-то работала.

— Хозбачев, — говорю я. — Раньше таких фамилий у артистов не было.

— А теперь есть, — отвечает Лика. — Теперь для всех девиц города Хозбачев — самая красивая фамилия.

У Лики вид победительницы, она не может скрыть счастливую улыбку, вспоминая Хозбачева.

— На столе стояли свечи, а между ними букетики ландышей. В тарелках — всего мало, но все самое изысканное. Воск оплавлял со свечей, Хозбачев слепил из него черепаху и посадил ее мне на плечо.

— А что же Никич? — спрашиваю я осторожно.

— Никич тоже был прекрасен. Он молчал. Ему очень идет молчать. И знаете, что я увидела? Он лучше всех, значительней. Когда я смотрела на него, а потом на худенького Хозбачева, то понимала, что из Никича можно сделать пять таких Хозбачевых.

— И Никичу нравилось, что Хозбачев в тебя влюблен?

— Откуда я знаю? Они там все в меня повлюблялись. И я поняла — хорошо быть красивой, но лучше быть обаятельной.

Лика молчит, запрокинув голову, потом говорит задумчиво:

— А когда свечи догорели, мы сели на диван и пели под гитару. Я цела и ощущала свою случайность. Знала, что я уйду, и они это знали. Но я знала больше: мне здесь хорошо и везде будет хорошо, а им без меня будет плохо.

У нее усталый вид и чулки на ногах разные — это незаметно, но я знаю, что разные. С вечеринок она иногда приносит завернутые в газету куски пирога и конфеты. Завтра утром она скажет: «Не смотрите на меня так печально. Не усложняйте».

Как-то она рассказала о своем детстве. Родилась перед самой войной. Мать умерла в сорок четвертом. В детском доме жила до второго класса. Потом ее разыскала и забрала родственница: одинокая больная женщина. С ней Лика прожила четыре года. Потом новый детский дом в большом городе и слава первой ученицы, и золотая медаль к аттестату.

Я вижу эту девочку с чистым именем Лика, строптивую и способную, с пятерками в дневнике — не маме, не папе — себе. Девочку из детского дома, пережившую потерю родных и этим как бы осознавшую свою временность. И, может быть, сегодняшняя тяга к красивой и беззаботной жизни всего лишь восполнение недобранной в детстве радости? Когда-нибудь она поймет, останется, а пока это всего лишь затянувшееся детство...

Когда я думаю о Лике так, мне все в ней становится понятным, и я не протестую: не у всех детство совпадает с детством, а старость со старостью. Но иногда я думаю по-другому, и тогда досада побеждает и я говорю себе: «Двадцать восемь лет — и ничегошеньки людям». Спрашиваю у Лики:

— Ты собираешься так прожить всю свою жизнь?

— Как? — вопрос звучит вяло, но я слышу в нем скрытую надменную ноту.

— Вот так, как живешь.

Лика вздыхает, дескать, ко всему привыкнешь, даже к таким разговорам, и отвечает:

— Да. Вот так и проживу. У меня есть прожиточный минимум красоты, таланта и денег.

Теперь уже вздыхаю я. Мы обе не любим в эту минуту друг друга. Лика говорит:

— Коммунальная квартира — это, конечно, вещь. Большие возможности для любви, дружбы и взаимопонимания.

В прошлом году, когда у нас возник такой разговор, она сказала:

— Не надо мне завидовать...

Утром пришло письмо от Кости. «Мама, я знаю, что я не Владька, но, может быть, ты в виде исключения приедешь и ко мне?»

У меня защемило сердце. Перед Костей у меня давнее чувство вины. Он был старшим сыном, а Владька младшим. И была война. Раз в месяц в детской диетической столовой, куда был прикреплен Владька, выдавали по талону двести граммов масла. Я жарила дрожжи на сковороде, делила их на три части и клала сверху кусочек масла. Владьке, половину такого кусочка — Косте. Костя был большой, ему было десять лет. Потом ему было четырнадцать, уже два года не было войны. Я спорила пуговицы со своей старой вязаной кофты и сшила ему свитер, он ходил в нем в восьмом классе, со швом через всю спину. После восьмого пошел в мореходное училище и, как только стал зарабатывать деньги, присылал с припиской: «Купи что-нибудь себе. Не трать все на Владьку».

Я решила, что поеду к Косте. Три раза я была у него в Ленинграде и никогда в том городе, где он живет без семьи, один, никогда не видела его корабля и вообще никогда не видела военного корабля.

Я стала думать, как приеду к нему, какой обед ему приготовлю. Он приведет своих товарищей, рюмки наполнятся коньяком, и Костя будет глядеть на меня, как в детстве, серьезно и застенчиво. Наверное, я всплакну, и никто не будет знать истинной причины слез — моей старой вины перед первым, с малых лет взрослым сыном.

Я уже села за письмо, как вдруг в прихожую ворвался звонок. Нескончаемо длинный. Кто-то нажал пальцем кнопку и не собирался его снимать.

— Кто там? — спросила я громко. Звонок оборвался, и послышался жалобный Ликин голос:

— Это я.

Я открыла дверь.

— Что-то новенькое. Раньше у тебя были ключи.

Ли́ка ничего не ответила, прошла в свою комнату, дверь оставила открытой, и я увидела, как она в плаще, с сумкой в руках стоит посреди комнаты и смотрит на синего слона на стене, внимательно и пристально смотрит.

— Что случилось?

Ли́ка бросила сумку на тахту, сняла туфли и пошла в чулках на кухню. Села за стол, попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось, по щекам поплыли слезы. Ее вид напугал меня. Я никогда не видела Ли́ку плачущей.

— Говори сейчас же, что случилось?

Ли́ка подняла на меня мокрые, невидящие глаза, смахнула со щек слезы. Голос был хриплым, чужим:

— С чего это вы взяли, что у меня может что-нибудь случиться?

Она храбрилась. Но это у нее плохо получалось: сомкнутые губы дрожали, лицо было бледное, загнанное. Сердце мое разрывалось от жалости.

— Ли́ка, плюнь на все. Не усложняй.

Я говорила ее словами, мне было нелегко видеть ее несчастной. Кто-то ее крепко обидел. Когда-то я хотела, чтобы такое случилось. Мне представлялось, что придет она злая, прозревшая, смоем свои дурацкие краски и начнет новую жизнь. Но она пришла жалкая, потерянная, сидела на кухне и плакала тихо, без голоса, слезы со щек капали на клеенку.

— Ли́ка, я не хочу, чтобы ты была такая.

— Я тоже не хочу, — ответила она кротко. — Но что делать, когда все так плохо.

— Это пройдет.

— Это никогда не пройдет. Сейчас я виделась с Никичем...

— Вы поессорились?

— Нет.

— С ним что-нибудь случилось?

— Да. Он женится. Ему все надоело, и он решил жениться.

Это было так же страшно, как если бы она сказала, что Никич попал под трамвай.

Я поставила чайник. Мы пили чай и молчали. Ли́ка вдруг спросила:

— Маргарита Сергеевна, что мне теперь делать?

Я никогда не знала, что в таких случаях делают люди.

— Надо, Лика, это пережить. Ты не собиралась за него замуж, и ты это переживешь.

— Я не переживу, — ответила Лика, — я привыкла думать, что он любит меня...

Утром я не слыхала, как она ушла. Пришла Клава, принесла полкоробки дорогих конфет.

— Гости, что ли, нагрянули?

— Они, — Клава ехидно поджала губы. — Вот конфеты вручили. Шесть рублей выкинули за конфетки. Ох уж эта деревня!

Клава, смеясь, рассказывает про родню, осуждает ее и радуется в то же время: «Богатеют. В первый раз, как приехали, яблочек сушеных привезли, а нынче, пожалуйста, шоколад». Она бросает в рот конфету, как семечко, и прикрывает глаза.

В каждый свой приход Клава затевает разговор о Лике. Сейчас я жду его.

— Что-то ничего я не пойму, — Клава наклоняет голову и смотрит в коридор, удостоверяется, что Лика там не стоит. Ничего не пойму, Маргарита Сергеевна, в вашей соседке. Почему этот рыжий на ей не женится?

От ее вопроса у меня мурашки бегут по спине.

— Кто это, Клава, может знать...

— Я знаю! — Клава выкрикивает эти слова мстительно, и глаза у нее загораются, как у кошки. — Она всех хитрей надумала быть. Чтоб ей, значит, и одинокая свобода, и мужчина с любовью и приветом.

— Может, он ее не любит?

Клава хмурит лоб и отвечает угрюмо:

— Любит. Девка она хорошая, острая, с характером. — Клава говорит это убежденно, и я поражаюсь. Лику она терпеть не может, а допускает, что она хорошая и что ее любят.

— Все дело в ей, — объясняет Клава. — Хочет ваша Лика легкой жизни, а не ведает того, какую тяжесть на себе тянет.

— Какую же тяжесть?

— А ту, что тяжелей нет одному на свете жить.

Клава живет одна. Детей у нее нет. И мужа нет.

— Один — он один и есть, — говорит Клава и вздыхает. — Вот у меня родня на старости лет объявилась, а то ведь тоже одна была.

Клава уходит, а я думаю о Лике. Звоню Эмили Павловне, слышу ее слабый, детский голос:

— Как хорошо, что вы позвонили.

Я хочу поговорить с ней о Лике, но не могу найти слов. Вдруг понимаю, что с Эмилией Павловной говорить о Лике невозможно. Это все равно, что со мной говорить о музыке.

— Я взяла вам в библиотеке Жюль Ренара, — говорит Эмилия Павловна. — Это дневник, прелестные афоризмы...

Позвонила Лика:

— Маргарита Сергевна, о чем вы сейчас думаете?

— Ты знаешь.

— Я дура, Маргарита Сергевна, мне не надо было вам ничего говорить.

— Ты дура, — отвечаю я, — жаль, конечно, но что поделаешь.

— Ничего не поделаешь, — вздыхает Лика и вдруг торопливо, громко просит: — Скажите сразу, не думая, он любит ту, на которой собрался жениться?

— Ну, если он может без любви, тогда и говорить о нем не стоит.

В ответ вздох и слабый Ликин голос:

— Вот видите, как все непросто...

На улице осень. Я иду к Никичу пешком. Это несколько трамвайных остановок. Прошлым летом Лика показала мне его дом и окна на втором этаже. Я иду к нему с разговором, которого он не ждет. Боюсь этого разговора, понимаю свою бестактность, но все-таки иду. Если бы у Лики была мать, она бы тоже пошла.

Поднимаясь по лестнице, я хочу, чтобы его не оказалось дома. Представляю, как он будет рассказывать когда-нибудь об этом Лике: «Открываю дверь и — о, явление! Активистка жэка — твоя соседка Маргарита».

Никич открывает дверь, смотрит на меня без удивления и говорит:

— Входите.

Мы здороваемся, он целует мне руку, склоняя голову. Голова его похожа на апельсин и пахнет апельсином. У него однокомнатная квартира: маленькая кухня и комната без дверей. Никич показывает мне на кресло и уходит на кухню. Возвращается с бутылкой под мышкой, в руках — вазочка с печеньем. Не спеша

ставит на низкий столик рюмки, открывает бутылку. Говорит:

— Это ликер. Вы не возражаете?

Я возражаю:

— Я пришла серьезно поговорить с вами, Никич.

— Тогда я буду пить один,— говорит он. Наливает ликер в рюмку, смотрит на нее, скрестив перед собой пальцы. Я жду, когда он выпьет, но он не пьет, смиренно дожидаясь моих слов.

— Я пришла поговорить с вами о Лике.

— Да, да,— говорит он,— я вас слушаю.

— Мне кажется, что вы относитесь к ней неправильно.

— А надо правильно.— Никич говорит эти слова без вопроса и сбивает меня.

— И вы, и Лика взрослые люди...

— Совершенно верно,— Никич глотает свой ликер и окончательно запутывает меня. Если бы он сказал: «Не суйтесь не в свое дело», я бы знала, что ответить. Но он соглашается, и я говорю совсем не так, как хотела:

— Лика несчастна, и вы в этом виноваты.

— Я не виноват,— отвечает Никич,— я чувствую себя виноватым, но на самом деле не виноват.

— Вы так хорошо к ней относились. Как это несправедливо, что так получилось.

— Да,— говорит он,— пожалуй, вы правы. Именно несправедливо.

На секунду мне кажется, что он издевается надо мной, я смотрю на него внимательно, и Никич отвечает мне таким же внимательным взглядом. Мне уже нечего терять в этом странном разговоре, и я спрашиваю напрямик:

— Вы женитесь по любви, Никич?

— Да,— отвечает он и смотрит мне прямо в глаза.

Надо уходить, но я сижу и молчу, потом говорю и чувствую, как от волнения у меня дрожат руки:

— Никич, простите мою бестактность и скажите, ради бога, вот что. Если бы... не было всего того, что у вас есть сейчас,— любви, женитьбы, если бы все было, как было,— вы бы женились когда-нибудь на Лике?

Никич долго молчит, потом отвечает:

— Думаю, что нет.

Я поднимаюсь.

— Ну, что ж, Никич, будем считать, что нашего разговора не было.

На улице уже темнеет. Я захожу в сберкасса, потом иду к сверкающему неоновыми огнями зданию Аэрофлота.

— Можно один билет?..— я называю город, в котором живет Костя.

— Билеты распроданы на четыре дня вперед,— отвечает женщина в белой кофточке.— Есть один возвратный билет на завтрашний первый рейс.

Я бы хотела улететь завтра, но не могу. Не могу бросить Лику. Беру билет на самолет, который полетит через неделю. Иду домой и думаю о том, какой трудный будет у нас с Ликой сегодня вечер. Захожу в гастроном и покупаю бутылку ликера. Продавщица протягивает мне бутылку, и в глазах ее вспыхивают недобрые прощипательные огоньки. Это потому, что я улыбаюсь, глядя на бутылку,— неисповедимы пути человеческих поступков: беру зачем-то ликер и именно такой, какой пил Никич. А продавщица думает по поводу моей улыбки что-то свое и недобро сверлит меня глазами. Ну и думай, голубушка. Самое милое занятие, не зная человека, что-нибудь о нем думать.

Лика дома. Я это чувствую, открывая дверь. Из кухни тянет теплом. В прихожей валяется на полу мешок со старыми чулками. Я вхожу на кухню, и сердце мое переполняется досадой. Нет, это даже не досада, а пустота. Как будто я бежала куда-то, задыхаясь, добежала, успела, а куда — никуда.

Лика сидела на полу у открытой духовки, сушила волосы, накрученные на бигуди. Подбородок был поднят, но лицо вчерашнее — бледное и загнанное.

— Как будто ничего не случилось,— сказала я.

— А это так и есть,— ответила Лика.— В моей жизни никаких событий не произошло.

— Их и не будет,— это было жестоко, но я сказала так.

— И не надо.

Она досушила свою голову, принесла из комнаты зеркало и стала «делать» лицо. Моя досада отступила, я впервые с интересом смотрела, как она это делает.

— А я купила вино. Ликер, Думала, ты будешь дома.

Не знаю, передумала она или действительно никуда не собиралась, но ответила Лика сразу:

— Я никуда не иду. Это я так, назло кое-каким событиям, которые вас очень волнуют.

Ох, Лика. Чего я от тебя хочу, Лика?..

— Чего я от тебя хочу, Лика, ты не знаешь?

— Знаю. Вы хотите, чтобы я жила по-другому. Чтобы я жила, как вы. Чтобы я повторила вашу жизнь в улучшенном варианте.

— А ты не хочешь?

— А я хочу прожить свою, а не вашу жизнь.

Она берет бутылку, наливает в рюмки ликер и пугает меня своим вопросом:

— Вы были у Никича?

— Да.

— А вот я бы на вашем месте не пошла. Много ему чести. Не по чину такой визит.

— Ты гордая. Но что-то ничего не приносит тебе хорошего твоя гордость.

Она отвечает, и мне снова делается страшно — Лика говорит то, о чем я думала недавно в магазине.

— Легче всего выносить приговор человеку, не зная его.

— Я знаю тебя. Мы уже четыре года живем в одной квартире.

— А я не живу в квартире, — говорит Лика, — и живу совсем в других местах. На работе. А вечером — там, куда мы ходили с Никичем.

Она молчит, щурит глаза, вглядываясь в рюмку с зеленым ликером.

— Вы даже не знаете того, что я люблю Никича. Это все было в моей жизни, а теперь не будет. Значит, и жизнь будет другая.

— Другая будет жизнь, — говорю я. — Давай надеяться, Лика, что это будет хорошая жизнь.

ПРИВЕЗЛА ВАРВАРА МУЖА

Ну и задала своей улице задачку Варвара, когда вернулась с курорта. Не одна, как поехала, а с мужем. У продуктового магазина произошло даже что-то вроде собрания. Пожилые женщины горячились, вскрикивали и насобирали вокруг себя порядочную толпу.

- Да ей, если считать, все пятьдесят будет.
- Не в годах дело, в самой ей дело. У ей ни одного мужа за всю жизнь так и не было.
- Как это не было? А Оля от кого? Был у нее муж, на войне погиб.
- Никто у нее на войне не погиб. Я ее еще до войны девкой знала, когда она на Сенной жила. Не было у нее сроду никакого мужа.
- Ну, что вы, ей-богу, вызверились. Не было — так теперь будет. Кто видел его?
- Марья Прокофьевна видела. Была у них утром. Толпа окружила кроткую старушку Марью Прокофьевну, взглядами потребовала отчета.
- Была у них, да, была, — словно оправдываясь, сообщила она, — видела этого мужа. В костюме сидел, чай пил.
- Ну и что? Чего говорил-то?
- Чего он мне говорить будет? Поздоровался. А Варвара сказала: «Теперь он тут хозяин».
- Хозяин! С утра — чай, к вечеру — известно что. Обоьет, оберет — и будь здорова, дорогая.
- Чего там обирать? Может, сам с приданым. У Варвары особенно не обоешься.
- Это ж надо, на курорте подобрала. Они там, что ли, валяются, на курортах?
- В первый раз поехала. Еще раздумывала: ехать — не ехать. И вот себе парочку привезла.
- А тут и сама Варвара появилась: брови насуплены, по лицу красные пятна.
- Что, Варвара, свадьбу играть будешь?
- Как же! Только и делов мне деньги на свадьбу кидать. Кто мне зла не строил, пусть приходит вечером. Ничего специально не устраиваю, никого специально не зову.
- Прошла в магазин, а за спиной:
- Ишь как заговорила — «специально».
- Зла кто ей не строил. От самой всю жизнь зло и шло. Скольких по судам истаскала.
- Теперь всю энергию на мужа пустит. Сбежит он от нее.
- Она уж как вцепится — не сбежит.
- Чего там, женщины, что будет, то будет, кому наперед что знать.
- Улица, на которой жила Варвара, была тихой и бо-

гом забытой в этом большом городе. Тянулась она вдоль высокой, чугунной изгороди центрального парка и еще с довоенных годов по генеральному плану строительства принадлежала самому парку. Сколько помнили себя хозяева деревянных домов и чахлах вишневых сади-ков, все они были «выселенцами». Но выросли вокруг многоэтажные дома, сам парк поменял свои деревянные лавочки и фанерные киоски на стекло и бетон современных строений, а улица за чугунной парковой оградой, как была нищенкой в пыли и заплатках, так и осталась. Две водопроводные колонки по краям, в каждом дворе за сараем скворечня-уборная, в каждом доме — догорающая чья-то жизнь и молодость — почти все хозяева держали квартирантов-студентов.

Но зато название улицы — Вишневая. «Живем в самом центре, возле парка на Вишневой улице», — скажешь кому-нибудь — и веселей на душе, и вроде бы даже неохота думать, что когда-нибудь переселят в хорошие дома с горячей водой и балконами, будет-то хорошо, но уже не возле парка на Вишневой улице.

Варвара поселилась на Вишневой улице после войны. Приехала из эвакуации с двухлетней Олькой, сняла каморку в собственном доме у старухи Цаплиной, устроилась на работу в парке ночным сторожем ресторана. Старуха Цаплина, по-уличному Цапля, жила одна в большом полуразрушенном доме, квартирантов не держала и комнату Варваре сдала, как сама говорила, «от усталости в сердце». Молодая, крепкая Варвара не то чтобы понравилась ей, а показалась надежной. Такая и полы вымоет, и глаза закроет, когда придет час хозяйке помирать. А этого часа старая Цапля ждала каждый день. Сидела, оцепеневшая, на крыльце, безучастно глядела, как маленькая Оля волочится в мокрых штанах или сосет гвоздь, и все соседи знали, что она не просто сидит на крыльце, а ждет смерти. Говорили, что старуха отписала в завещании свой дом квартирантке, что и кроме дома тоже кое-что отписала. Это «кое-что» у старой Цапли должно было быть: муж до войны работал на трех должностях в парке — уборщиком, кладовщиком на стадионе и вечером билетером на танцплощадке. Когда немцы заняли город, он почти весь свой спортивный склад пустил на барахолку. Там и погиб во время облавы. А два сына положили головы на фронте.

После смерти старой Цапли стала Варвара знаменитой на улице. Завещания не оказалось, зато понаехала куча родни, и каждый точил зуб на дом, и каждому поперек пути стояла Варвара. На стороне родни был закон, статьи в кодексах, а за Варварой никого и ничего. Кто-то надоумил подать заявление в суд. А там сказали, что нужны свидетели. Вот тогда пошла Варвара по домам. В первый палисадник вошла с добрым сердцем: «Это ж подумайте, что получилось. Я ее кормила, обстирывала, горшки, извиняюсь, полгода последних за ней таскала, а теперь убирайся, куда хочешь». Выслушали ее сдержанно, дескать, закон есть закон. А что стирала и кормила, так ведь и не платила за жилье. Из дома в дом ходила Варвара и не выдержала, сорвалась: «Подпалю к чертям собачьим все ваши халупы, в одну ночь бензином все оболью, а в другую — с огнем пойду, тогда кто выскочит, вспомнит меня. Как негде будет жить — так вспомнит. А ребенку моему в детском доме даже лучше будет». Докричалась до того, что вызвали участкового. Но потом все-таки все, к кому ходила Варвара, написали свидетельские показания. Два года тянулось дело в суде, как весы с перекидной гирькой, то в одну сторону, то в другую. Два года пребывали то и дело соседи Варвары в свидетелях, а потом вздохнули свободно: присудили ей окончательно и бесповоротно треть дома.

И вот через двадцать три года в этой своей части дома играет Варвара свадьбу.

Сидит уже с полдня пьяная, глаза шальной слезой застланы, глядит на гостей насмешливо, будто главный свой козырь еще не выложила, бережет к какой-то минуте.

Жених тоже румян от вина, галстук сбился в сторону, с Варварой не переговаривается, будто не знаком с нею.

Соседи разглядывают жениха, прощупывают, втягивают в разговор:

— Ну, как вам наш город, Дмитрий Иванович, красивым показался?

— Хороший город, хоть и не видел я его вполне. Все города, которые особенно повреждены в войну были, теперь как новые.

— А вы, извините, где в войну были?

— Не воевал. Бронированная у меня специальность.

Металлист я. Ну, сначала, значит, завод перетащили на Урал, а там уж всю войну работали.

— Орден имеет,— сказала Варвара и взглядом добавила, дескать, полегче, не хуже вас.

Соседки пошли с другой стороны:

— А сами где теперь проживаете?

— Все там же, на Урале. Может, слышали — Нижний Тагил?

— Слыхали,— неуверенно закивали соседки.— И туда, значит, вам съездить еще придется?

Варвара, как коршун:

— Съездит, съездит. Чего раньше времени каркать. Вот когда поедет да не вернется, вот тогда и покаркаем вместе.

Жених засмеялся в кулак: ну уж, Варвара, сама видите, так скажет, что и не ответишь.

Сидели долго, говорили шумно, но мирно, подходили новые соседки, смущаясь, с порога поздравляли, ставили бутылку на стол.

— Завтра в загс идем,— сказала под конец свадьбы Варвара,— все чтобы законно было, как следует.

— Теперь не сразу расписывают, через два месяца.

— Это молодых через два месяца, а нас, может, и сразу.

— Могут и сразу,— обнадеживали соседки,— оно и должно быть в таких случаях без канители, сразу.

От вина, от того, что Варвара не туманила, а честно и откровенно говорила о своей новой жизни, соседки по-доброму приняли и свадьбу, и жениха ее Дмитрия Ивановича. Расходились поздно, шли по улице легко, со смехом. Словно Варвара подарила им надежду: на курорте не на курорте, а разные неожиданности в жизни бывают, может, и мой жених за каким-нибудь углом маячит.

Поехала Варвара на курорт со злости. Хотела, как и в прошлый отпуск, к дочке ехать, а та вдруг письмом опередила: «Мамочка, милая, не знаю, как и начать. Я у тебя и так вся в долгах неоплатных, но если бы ты знала, как надо быть в мои годы хорошо одетой и как трудно это дается. Все-таки жизнь несправедливая: когда будут деньги, наряды, тогда годы будут не те, тог-

да зачем все это, а сейчас, когда все это в радость,— денег не хватает...»

Олька просила сто рублей на дубленку. Триста у нее было, а дубленка стоила четырехста. Варвара прочла письмо и лицом почернела: четырехста рублей! Четыре тыщи старыми. Ах ты, гадость, да я за всю свою жизнь сразу столько в руках не держала. Днем на фабрике, почью в парк бежишь со свистком на шее. Две зарплаты — все на Ольку: ботиночки, туфельки, костюмчики шерстяные. От соседей куда денешься, чужим бы людям безотцовщину не показать.

Каждая строчка письма, как иголка в сердце. «Я у тебя, мамочка, в долгах неоплатных» — почему ж в неоплатных? Может, не приведи господи, и придется когда отплатить. Но больше всего обидели Олькины рассуждения о нарядах, мол, нужны они только в молодые годы. «Ах ты, гадость, да в молодости любой ситец — парча, это в старости надо быть человеку хорошо одетым».

Никогда она не ругала Ольку в письмах. Писала коротко, осторожно, чтоб поменьше было ошибок; страдала, что кроме Ольки письмо будет читать и ее муж Сева, и он-то уж посмеется над тещиной малограмотностью. А тут написала большое ругательное письмо, отвела душу. Потом, на другой день, вспомнила, что хоть и большое письмо отправила, да ничего конкретно про сотню не написала. Пошла и отбила телеграмму: «Денег не жди, самой надо».

Вот тогда со злости и купила себе путевку в Крым. Собиралась на скорую руку, путевку ей дали «горящую», только в день отъезда подумала: «Там же юг, море, купаются люди». Уже с чемоданом зашла в магазин, купила черный купальник с красной полоской на талии.

Три дня стеснялась. Сидела на пляже в платье, глядела с неодобрением на своих сверстниц — ни стыда, ни совести, потом рассердилась на себя: «А кто меня тут знает!» Сняла платье и пошла в море.

Вечером сказала своей соседке по комнате: «Не зря сюда люди едут. Я в море побывала, как двадцать лет в нем оставила». Соседка глянула безучастно, пожала плечами. Варвара поняла, что она не желает с ней знаться.

Одиночество не тяготило ее. Смущали люди. Небось

удивляются: зачем такая тетка прикатила на курорт. Народ кругом был красивый, нарядный, и Варвара сжималась, проходя по аллее, чувствовала свое длинное платье, тяжелые от жары ноги в вышедших из моды туфлях.

С Олькой она всегда ругалась из-за этого. Оля кричала. «У тебя комплекс. Живешь, как деревенская, ах, что люди скажут, что подумают, ах, будут смеяться. Ты должна себя настроить, что у людей без тебя есть о чем думать». Она не могла себя так настроить. Она сама зорким глазом подмечала, что и как у людей, и люди, казалось ей, тоже о ней что-то думали.

За столом в соседях у нее оказалась семья: отец, мать и мальчик-дошкольник. Дитя было избалованное, родители терпеливые, и Варвара каждый раз надрывала сердце, в молчании наблюдая, как истязает ребенок своих молодых родителей.

Выходя из столовой, она думала: «Что же это из него вырастет? В пять лет он у них ложку держать не желает. Дисциплины не понимает». От возмущения у нее колотилось сердце. После обеда она уходила в глубь парка, выискивала безлюдное место. Парк был велик и красив. Цветочные клумбы переливались яркими красками, на каждом кусте цветов было больше, чем листьев. Варвара с уважением глядела на это буйство красоты, но не удивлялась, она понимала, сколько человеческого труда вобрали в себя и ровненькие клумбы, и чистые дорожки.

Через неделю она заскучала. Тревога упала на сердце: безделье и есть безделье, хоть на юге, хоть где. Ничего от него хорошего не бывает. Соседка по комнате завела подругу. Не обращая внимания на Варвару, говорила: «Нынешний сезон что-то особенное: семейные дуэты и пенсионное соло». Варвара понимала, о чем она говорит, и про себя отвечала: «Пенсионное соло... а сама кто? Как есть солистка, хоть до пенсии и далеко».

Утром Варвара шла на пляж. Устраивалась в укромном месте, у бетонного волнореза. Когда появлялся физкультурник с баянистом, поднималась с лежака, вместе со всеми делала зарядку. Никто не глядел в ее сторону, не замечал ее отваги, и она, осмелевшая, выискивала глазами толстых пожилых людей и мыс-

ленно поощряла их: «Молодец, старайся, и ничего тут стыдного. Сам разъелся, ни у кого не занимал».

Соседи по столу в один из дней оказались и соседями по пляжу. Дитя надрывалось от крика: то не хотело идти в воду, то вылезать из воды. Родители, как заведенные, мотались с ним, не видя ничего вокруг.

— Я против того, чтобы обижать детей,— сказала вслух Варвара,— но этого бы с удовольствием отстегала.

Мужчина под самодельным большим тентом рассмеялся:

— У меня такое же желание.

Кто-то еще что-то сказал, и пошел разговор о воспитании, о детях, которых с малолетства вот так распускают, а потом общество с ними мается. Какая-то женщина, как всегда бывает в очередях и в других стихийных коллективных разговорах, моментально создала оппозицию:

— Теперь все с детьми мучаются, теперь домработницу найти даже мечтать не приходится.

Разговор забурился, вбирая новые голоса. Заговорили о детях, припоминая разные случаи с домработницами.

— У нас это очень непродуманно,— сказал мужчина под тентом.— Женщина в таком положении, что не позавидуешь: и работа, и дети, и домашнее хозяйство. Раньше с этим как-то было проще.

— Раньше домработницы совесть имели,— поддержала его старушка в чалме из полотенца,— раньше вообще люди друг к другу больше уважения имели.

Варвара слушала, чувствуя, как тяжелые волны раскачиваются в голове, бьют в виски, туманят глаза.

— Почему у нас женщина,— долдонил мужчина,— в таком положении. Пишут, пишут, а толку нет. Это же сфера услуг. Есть официантки, продавцы, парикмахеры, почему не подумать в государственном масштабе о такой профессии, как домработница? Иначе женщина никогда не станет счастливым человеком.

Варвара поднялась, надела халат, туфли, сунула в сумку полотенце и уж после того спросила:

— А домработница, по вашему понятию,— не женщина?

— Не понимаю,— отозвался тот.

— Не понимаешь, а говоришь. Значит, одной и работа человеческая, и ребенок, и домработница, а другой — ничего?

— Какая разница, где работать, — возразил он, — разве легче у станка стоять или вот на строительство женщины работают...

— Легче, — ответила Варвара, — душе легче. — Она стояла, сверху глядя на него. — Значит, своего дитенка — в ясли, а вот этому, — она кивнула в сторону, — сопля подбирать?

— Зачем так грубо? Есть ведь одинокие, неустроенные в личной жизни.

— Неустроенным надо устраиваться, — отрезала Варвара. — Об неустроенных надо думать в государственном масштабе, а не о тех, у кого все есть.

Она пошла, переступая через лежащих, и ее безмолвно провожали взглядами. Кто-то сказал вслед:

— Ай да тетя!

«Все, — решила она, — больше рта не раскрываю. Буду глядеть на людей, послушаю, если поблизости будет разговор, а сама влезать не буду». С таким характером дома сидеть, а не на курорты ездить. Теперь там, на пляже, моют ей кости или, того хуже, — смеются. Ее зазнобило, хоть воздух звенел от жары.

Вечером с тоски и недовольства собою она зашла в павильон и выпила стакан вина. Вино было терпкое, сильно разбавленное. Варвара вытерла губы и сказала пожилому жилистому в захватанной белой куртке буфетчику:

— Погубит тебя дурость — кто же так разбавляет?

У буфетной стойки пароду не было, буфетчик стрельнул глазами по сторонам, хриплым голосом сказал:

— Без меня это сделали. — Вгляделся в Варвару, одобрительно кивнул и предложил: — Слушай, приходи опять через час, когда закрою.

Варвара махнула рукой, засмеялась: «Уж если человек дурной, так он во всем дурной и есть. Ах ты, старый козел — «приходи через час...». Но вышла из павильона веселая, вино, хоть и разбавленное, ударило в голову, пропало опасение, «что люди скажут». Пусть говорят, что хотят.

У скамейки в матовом свете фонаря топтались трое приезжих. Варвара сразу отметила их бездомность: чемоданы лежали на скамейке, а их хозяева стояли пришибленные темнотой, не зная, что делать, куда податься. Женщина всхлипывала. До Варвары долетели слова: «Утром уеду. Провалитесь вы со своим югом».

Варвара приблизилась к ним:

— Пойдемте, может, что и выйдет.

Они подхватили чемоданы и без слов двинулись за ней. По дороге женщина сказала:

— В такое положение попали, хоть волком вой.

На обочине парка в ряд вытянулись белые мазанки. Варвара давно приметила, что тут живет много приезжих, сюда и вела она бездомную семью. В темноте только женщину чуть разглядела: высокая, с насупленными бровями; мужчина и парень не раскрывали рта, Варваре они были неинтересны. Отец и сын. Теперь мужики многие так живут — куда женщины их поведут, туда и шагают, как бараны.

Утром она ходила вдоль пляжа, выискивала место, чтобы не столкнуться невзначай со вчерашними спорщиками про домработниц, и вдруг увидела тех троих, что встретились ночью.

— Здравствуйте, — обрадовалась женщина, — а мы как раз вас вспоминаем.

Варвара расположилась возле них. Мужчина был в годах, мрачноватый, женщина тоже немолодая, но с ухватками молодой — в ушах серьги черненные, фигура поджарая, ловкая. Парень лежал вниз лицом. Варвараглянула на него и обомлела: «Это ж надо, как расписали красавца». Татуированных она всех причисляла к хулиганью, так же как курящих девиц — к «легким на поведение».

— Вы поберегитесь первые дни, — сказала она им, — а то сгорите сразу, тут солнце уже в девять часов печет.

Парень поднял голову, посмотрел на нее из-за плеча и звонко, отчетливо, как говорят дети, когда заранее обдумают, что сказать, произнес:

— Я моря не боюсь. Я людей боюсь. Они меня топить будут.

— Незачем им тебя топить, — ровным голосом ответил мужчина, — ты не спеши, подумай: зачем им тебя топить?

Парень помолчал, подумал, наконец придумал:

— Чтоб я утоп.

«Вот несчастье», — подумала Варвара.

— Неправильно говоришь, — сказала она парню, — тут люди в море купаются, веселятся, никто никого не топят.

Парень глянул на нее и улыбнулся. Улыбка выдавала его: лоб собрался в тоненькие морщины, глаза сделались виноватыми.

— Я — моряк. — Он протянул ей руки в татуировке: — Видишь?

Варвара перевела взгляд на родителей, может, те недовольны, что она вступила в разговор с сыном? Но они ничего, слушали спокойно, похоже было, что привыкли, не стесняются посторонних.

— А раз моряк, — сказала Варвара, — значит, моря не бойся.

Мужчина поднялся и, неловко ступая по камням, пошел к морю.

— Не утонет? — парень с испугом поглядел на мать, потом на Варвару.

«Ах ты, горюшко мое заботливое, сколько страхов напрасных в твоей душе», — Варвара почувствовала, как слезы подступают к глазам.

— И ты иди, Коля, не бойся, — сказала мать. — Иди, Митя тебя ждет.

Коля сделал два шага вперед, обернулся к Варваре, протянул руки с татуировкой:

— Один дурак колот. Не надо колоть, а он колот.

Мать вздохнула ему вслед:

— Все понимает, да только тогда, когда скажешь. Да люди разные встречаются, а он доверчивый.

Редко поднималась жалость в душе Варвары. Кошек бездомных без жалости выгоняла из парка, на цветы глядела без умиления. Ругала Ольку, когда та приводила в дом подружек, поила их чаем. «Сама зарабатывать будешь, тогда хоть весь город задаром корми». Всю жизнь она надеялась только на себя и чужую боль не брала к сердцу, своей боли хватало.

А тут будто треснуло у нее что-то внутри, и вырвались оттуда тепло и жалость: «Бедный ты мой, как же тебе жить дальше? Какое горе с тобой сравнится?»

— Хороший он у вас, — сказала она матери, — ласковый. И счастье ваше и его, что отец есть.

— Не отец Митя. Брат мой.— Посмотрела на Варвару внимательно: — Всю он жизнь свою на нас положил.

Потом Варвара вспоминала этот взгляд. И Анна, прощаясь с братом на станции, сказала Варваре: «У нас уже тогда, в первый день на пляже, было предчувствие: ох, неспроста нам эта женщина встретилась».

В тот вечер, когда Дмитрий Иванович сказал, что полюбил ее, что хотел бы, хоть и поздно, иметь свою семью, она чуть не умерла от волнения. Это только подумать — в сорок восемь годков пойти под венец. Это же вся Вишневая перевернется от смеха, Олька отречется.

— Невозможно это, — сказала она и заплакала. Обидно ей стало и горько, что в лучшие годы не встретился ей Дмитрий Иванович, а теперь — только людей смешить.

— Возможно, — сказал он, — все возможно, если правильно, по-человечески.

И еще он сказал слова, которым она сразу поверила, потому что были они справедливые:

— Старость — это не годы, не возраст, это страх, когда человек боится быть молодым.

Вишневая улица еле опомнилась от свадьбы, как тут же на нее свалилась другая новость: уезжает Варвара, уже и расчет в парке взяла. Сболтнула кому Варвара или другим каким путем слух проник, только на этот раз уже не любопытство, а опасение за Варварину будущую жизнь взбудоражило улицу. «Сын у него или племянник, кто это знает, больной». Хорошо мужик прикинул: Варвара работающая, всех вытянет. Ах, дурная. Дом вот-вот снесут. Жила бы себе в отдельной квартирке с балконом, как королева». А тут еще, как уже не раз бывало, без письма, без телеграммы заявила Олька.

Улица притихла. Зашла старуха Прокофьевна, одолжила соли. «Сидят за столом, все трое сидят. Олька в пятнах по лицу, глядит сама на себя через стол в зеркало на шифоньере. Варвара гоголем смотрит, и тоже по лицу пятна. А этот, как истукан, губы поджал, чувствует, что дочь может матери глаза открыть».

— Все так неожиданно, — говорила Олька, сидя за столом. — Тебе не страшно перекраивать жизнь?

— Нет, — отвечала Варвара, — не страшно. Страшно,

когда человек один, тогда он думает про свою старость и что никому не нужен.

— Мне ты всегда нужна.

— А я тебя не бросаю. Вот ты приехала — и мы вместе. И еще приедешь. Туда тебе и ближе, и дешевле ездить будет.

— При чем тут «ближе, дешевле». Все так неожиданно, так странно.

Она еще много раз повторяла «неожиданно», «странно», но ничего эти слова не означали. Просто Ольга, как все дети, считала, что самые неожиданные и странные события могут случаться с кем угодно, только не с теми, кто их родил и вырастил.

ХИТРЕЦ

Он во многом был виноват перед ней. Даже в том, что на три года моложе ее, что встретился с ней поздно, когда ей осталось год до пенсии.

— Где ты был, когда я с ребенком на руках страдала в эвакуации? — спрашивала Антоновна, замораживая его своим пронзительным, знающим ответ взглядом.

Он втягивал голову в плечи, соображал, как бы вернуться, не поспорить с ней, отвечал, улыбаясь:

— Ты бы лучше поинтересовалась, где я был, когда тебе два года было.

Она замирала, подозрительно щурила глаза, смотрела на него с опаской:

— Говори и договаривай, где же был?

Он, счастливый, что сейчас развеселит ее, отвечал:

— Где я мог быть! Еще не родился!

Антоновна вздыхала, качала головой, стыдила:

— Высчитал... Молодостью своей хвастаешь. А сам такой же старый ботинок, как и я.

Ссорились они редко. Только в тех случаях, когда Антоновна злым словом касалась родни Ивана Фокича.

— Они, конечно, меня ненавидят, такого кормильца я у них отняла, — так Антоновна расправлялась с его племянниками. — Может, он на работе голова, настоящий директор, — говорила она о старшем брате, — а дома обыкновенный людоед. Он же тебя ел, деньги пле-

мянники отбирали, а брат живьем ел. Кем ты у него в доме был? Приживалом. Гостям двери открывал.

Иван Фокич после таких слов надевал новый плащ и уходил из дома. Уходил страдать в парк, который был недалеко: улица бежала вдоль парковой ограды. Антоновна кричала ему вслед:

— Я этот плащ продам! Моду взял, что ему не так скажи — плащ надел и пошел!

Внучка Инна, которая на лето приезжала к Антоновне, держала сторону Ивана Фокича.

— Ты некультурная, бабушка, — говорила. — У тебя, что в голове шевельнется, то сразу на языке. Кончится тем, что он тебя бросит.

— Ой как напугала! Да если дело к тому пойдет, я сама его первая брошу. Что я ему такого сказала? Правду сказала. Я без хитрости: что думаю, то и говорю.

Она тут же кидалась в работу: ставила тесто для блинов, замачивала рубашки Ивана Фокича, заставляла внучку мыть полы, и все чтобы быстро, мгновенно, чтобы вернулся Иван Фокич и с порога увидел, какой рай земной временно отринул от себя.

— Бабушка, знаешь, к какому я пришла выводу? — говорила Инна, ползая на коленях с мокрой тряпкой. — Ты его любишь. По самому настоящему счету.

— Новость открываю. — Антоновну обижали такие слова. — Чего бы я тогда замуж шла?

— Ты выдумщица, бабушка, — не верила внучка, — чтоб людей удивить, ты себя не пожалеешь.

Такой сложной похвалы Антоновна не понимала.

— Это мать так твоя говорит, а ты с ее слов чирикаешь. Своим умом надо жить.

Мать Инны была ее дочерью, ученым человеком, редкой гостьей в ее доме. А Инна каждое лето приезжала. С малых лет она одна, под приглядом пассажиров, ехала из Сибири к бабушке. «Дите одно едет в вагоне через всю страну, — говорила соседкам Антоновна. — Разве это мать?» Если соседки соглашались — не мать, матери так не поступают, Антоновна их тут же осаживала: «Каждому свое: одна, как курица, всю жизнь цыплят за собой водит, а другая, как орлица, — где птены, ей не интересно, у нее свой полет, своя высота». Соседки по опыту долгой жизни рядом с Антоновной не спорили с ней, отводя в сторону недовер-

чивые взгляды, соглашались, мол, чего уж тут спорить — Александра твоя орлица, залетела далеко, а высоко ли — это и тебе, Антоновна, неизвестно. Когда Инна была поменьше, они пытались случайным вопросом выяснить, на какую высоту взлетела ее мать:

— А телевизор у вас дома цветной?

Инна была внучкой своей бабушки: то ли чувствовала подвох, то ли ей просто вопрос не правился.

— Мы вообще выбросили телевизор, — отвечала она. — Он у нас время жрал, мы его и выбросили.

«Выбросили телевизор» — действовало. Это не бутылку пустую, не двенадцать копеек в мусорный ящик отправить. И все-таки трудно было поверить, что длинная Шурка, на которую Антоновна каких-нибудь пятнадцать лет назад на весь двор кричала: «Туфли ей надо! Ты посмотри, в чем мать ходит!», что эта Шурка выбросила телевизор.

Иван Фокич возвращался через час-полтора. Снимая плащ, откашливался, оповещая кашлем о своем появлении, осторожно ступал по свежевывытому полу, пересекая кухню и спальню. Три комнаты были одним названием, сложи в одну — и то большой комнаты не получилось бы. Через пять лет после войны Антоновна получила через военкомат, как жена погибшего солдата, комнатку в этом частном доме. Хозяин комнатки уехал в другой город, оставив заявление, что отказывается от жилья и единственно просит, чтобы не досталось оно родственникам, проживающим в этом доме. Родственники года три судились с Антоновной, ничего не высудили, а вскоре всю улицу поставили на снос, и обида на чужачку, оттягавшую комнату в частном строении, забылась. Антоновна прорубила себе отдельный вход, пристроила тамбур с крылечком, а когда пошел слух, что квартиры в новых домах будут давать в соответствии с прежней площадью, пристроила себе еще один тамбур. Первый тамбур стал спальней, а второй — кухонькой. В спальне стояла кровать и был еще узкий проход от одной двери к другой.

В зале, в квадратной комнате с желтыми обоями, телевизором и круглым столом посреди, все дышало таким покоем, теплом и раскаянием, что не только добрый Иван Фокич, но и более принципиальный человек забыл бы обиду. Антоновна ставила на стол блюдо с блинами, покрытое полотенцем, шла за сметаной и мас-

лом, Инна расставляла тарелки, предвкушая разговор, который начнется с первым блином.

Чаще всего это был разговор о войне. Не воспоминания, а именно разговор. Война, конечно, война, ничего в ней никогда не было хорошего, всегда на ней убивали, но откуда у немцев объявилась такая нечеловеческая жестокость?

— С голода, — говорил Иван Фокич, — дошли от голода до животного помрачения, а Гитлер накормил. И объяснил: душите, давите всех, тогда и впредь будете сыты.

— А мы в эвакуации не голодали? — спрашивала Антоновна. — Мы в очереди за хлебом падали, а ленинградцы, как теперь в кино показывают, тысячами помирали. Чего ж нас голод зверями не сделал?

Инне в этих разговорах полагалось слушать. Если она влезала, Антоновна цыкала на нее, лишая голоса; если не помогало, вспоминала случай трехлетней давности:

— Ты все, конечно, знаешь. Профессор. Еще бы! Десять лет было, в пятый класс перешла... Что это внушеньки моей Инны не видно? А она в малиннике за сараем сигареты «Столичные» курит.

Инна замолкала. Было такое преступление, курила в малиннике.

Иван Фокич любил блины с селедкой. Чтобы селедка была целая, неразделанная и лежала отдельно от другой еды на газете. Он ловко, словно раздевая, стаскивал с нее кожу в чешуйках, вынимал потроха, потом проводил пальцем по селедочной спине, разделял рыбу на две части и вытаскивал из нее скелет. Ни одна косточка не отваливалась, даже у самой незадавшейся селедки. Потом он отделял по кусочку Антоновне и Инне, остальную часть с хвостом клал себе на тарелку, мыл руки и возвращался к столу. Антоновна вздыхала — блины стынут, но помалкивала: Иван Фокич в такой час был потерпевшим, выстрадавшим право быть за столом главным.

— Сидим вот так, — начинала разговор Антоновна, — и даже страшно телевизор включать. Выставится девица, которая объявляет, и скажет: «Все, товарищи, хорошего понемножку. Война».

Инна устремляла испуганный взгляд на Ивана Фокича. Ждала, что он веским словом развеет страх, кото-

рый напускает бабушка. Но Иван Фокич чаще всего поворачивал разговор в другую сторону.

— Чтобы оценить, что он имеет, человеку не обязательно потрясение. Думать надо, головой работать.

— Мне не надо потрясения,— поддерживала его Антоновна,— я каждый день счастливая. Ты на работу уйдешь, эта вот,— она кивала в сторону Инны,— к подругам усвистит, а я счастье свое не знаю куда девать. Хоть танцуй, хоть пой, хоть на крыльцо выскочи и людям об этом кричи. Погляжу на других старух, платок на лоб натянут, глазами вражескими на все глядят, и понять их не могу. Начнут говорить, все у них плохо: дети — выродки, соседи — уголовники, врачи — взяточники. А скажешь в ответ: на себя посмотрите, какая от вас людям польза, глядят как на сумасшедшую.

— Жить им нечем,— говорил Иван Фокич.— Это хуже смерти, когда жить нечем.

В воскресенье приезжал на мотоцикле младший племянник Ивана Фокича слесарь Николаша. Привозил двух своих дочек-близнецов — Катеньку и Верочку. Из всей родни мужа Антоновна любила только этих пятилетних девочек. Посылала Инну в магазин за тортом, преображалась, разговаривая с ними. Инна задыхалась от ревности.

— Я знаю, отчего ты перед ними так ликуешь,— говорила она,— оттого, что ни маму, ни меня никогда не любила. Нас только попрекала да дергала, а любовь для этих сберегла.

Антоновна к таким заявлениям внучки относилась серьезно, отвечала так, будто и самой себе объясняла, отчего ей милы Катенька и Верочка:

— Другое время было, когда я растила твою мать. Война шла. Я бы на лесозаготовки поехала или на фронт, чтобы от голода не падать, а ребенок грудной на руках, вот и работала в школе уборщицей. Мать твою в учительскую на диван положу, а сама парты на пола поднимаю. Пол мою, упаду без сознания, очнусь, а она там в учительской кричит. Хороша любовь? Ученики младшие бабушкой звали, а мне двадцать два было.

— А меня почему не любишь?

Антоновна вскрикивала, хватаясь от возмущения за голову:

— С ней как с умной говоришь, а она же дурочка.

Как это выговорить такое можно: «Не любишь»?! Кого же я тогда люблю? У вас с мамой все хорошо, и у меня на душе покой и счастье. Я тебе про то объясняла, что любовь — радость, когда жизнь хорошая, а когда горе и голод, тогда любовь — забота и слезы.

Катенька и Верочка ели ложечками торт, улыбались, поглядывая на Антоновну. То, что им пужно было понимать, они понимали: Инна хочет, чтобы их не любили, а бабушка Антоновна все равно любит.

Иван Фокич и Николаша сидели на крыльце. Вполголоса Николаша рассказывал домашние новости. Иван Фокич редко вставлял слово, слушал, опустив голову, положив руки на колени.

— Надо Верочке и Кате шубки к зиме покупать, — говорил Николаша, — из старых повырастали. Борис обещал полста. А тут мы еще ремонт затеяли.

Борис был старшим братом Ивана Фокича.

— У Феликса через неделю день рождения, — говорил Николаша. — Что дарить, просто не знаю. Может, все сложимся и сделаем общий подарок?

Феликс был старшим племянником Ивана Фокича.

— Молчишь, — бубнил Николаша, — заборзел, большим хитрецом стал. Зажала она тебя со всех сторон. Сочувствую, но помочь ничем не могу.

Иван Фокич попал в окружение в самом начале войны. От батальона осталось несколько человек. Шли лесами, лишь ночью подходили к деревням, чтобы разузнать обстановку. Искали селение, где был бы хоть фельдшер, чтобы оставить раненых. В те дни, наткнувшись под Могилевом на воевавший полк, Иван Фокич встретил соседа со своей улицы и узнал, как погибла его сестра с тремя сыновьями.

Всю войну Иван Фокич провоевал в артиллерии, всю войну надеялся, что в живых останется хоть брат. Уже в Германии, за месяц до окончания войны, получил известие, что брат тоже погиб.

Он свыкся с мыслью, что остался один, и, когда получил письмо от брата, узнал, что тот жив и племянники живы, весь день ходил, боясь сунуть руку в карман, боялся, что причудилось ему это письмо, в кармане пусто и ни одной родной души у него по-прежнему нет. Перечитав письмо раз двадцать, он с особой болью стал думать о сестре: мужики сохранились, пережили войну, а она, мать троих детей, да и ему с братом быв-

шая вместо матери, погибла. Сколько же сейчас племянникам? Посчитал: одному десять, второму восемь, младшему — Николаше — пять. Полусиротами были перед войной, когда умер отец, а сейчас круглые сиротинки. И тогда с письмом в кармане дал он себе клятву: мои это дети, старший брат подсобит, не пропадем.

Так начали послевоенную жизнь. Брата Бориса назначили начальником стройки, на этой же стройке работал и Иван Фокич. Когда Борис женился и уехал на другую стройку, квартира осталась Ивану Фокичу с племянниками. Через десять лет старший брат вернулся в их город с назначением на должность директора завода железобетонных конструкций...

На крыльцо вышла Антоновна, поглядела сверху на седую с двумя макушками голову Ивана Фокича, на легкое облачко кудрей Николаши: лысым будет Николаша, еще года три поносит свои кудри, а там головка сразу маленькая сделается, с апельсин, уже сейчас просматривается вся сверху. Иван Фокич поднял к ней лицо, оно всегда становилось неуверенным и вопросительным, когда Антоновна вторгалась в его встречи с племянниками.

— Вот Николаша рассказывает — у Феликса на той неделе день рождения, сорок лет стукнет.

— Многовато, — Антоновна присела на ступеньку рядом с Иваном Фокичем. — Раньше сорок лет — старость, а теперь до пенсии детьми хотят быть.

Николаша, не поворачивая головы, стрельнул в ее сторону недобрый взглядом, сидел нахохлившись, спина пирогом, голова опущена. До сих пор, наверное, не может забыть их первую встречу. Ух каким фертом влетел: «Я тут в кино по соседству был, ну и забежал посмотреть, как ты живешь, дядя Ваня». На Антоновну ноль внимания, будто и не в ее дом пришел. Иван Фокич растерялся, залезил перед племянником, что да как, как старшие племянники поживают, как брат Борис? Николаша отвечал, а сам такими холодными глазами разглядывал жилье Антоновны, что у той сердце перестало биться. Но держала себя в руках. Чай вскипятила, конфеты и пирог с яблоками на стол выставила. Как знала, что племянничек нагрянет, тесто с утра приготовила. Скатерть новая, пирог горячий запахом сладким пышет, а племянник трещины на обоях раз-

глядывает, шкаф с мутным зеркалом взглядом критикует и, самое обидное, ей — ни слова.

Попили чаю, выслушала Антоновна последние слова племянника: «Приходи, дядя Ваня, Верочка и Катя по тебе соскучились», и не удержалась, сказала свое слово:

— Не придет Иван Фокич. Так девочкам передайте и всей своей родне. Я, дорогой гость, не так проста, как тебе показалась. Я к вам в родню не набиваюсь, по и вы в мою семью без уважения, вот так, по дороге из кино, не врывайтесь.

Николаша ушел удивленный. Следом за ним ушел и Иван Фокич. Надел новый плащ и побрел к калитке. С тех пор повелось: как его родню тронут, плащ на себя — и из дома.

— Теперь до пенсии хотят детьми быть, — говорила Антоновна мирным голосом, — и что в том хорошего? Молодыми быть — это иное дело, это правильно, а детьми зачем?

— Может, оттого, что в детстве было мало детского, вот и добирают, — отвечал Иван Фокич. — И молодость растягивают оттого, что пролетела она — не заметили.

Николаша слушал без понимания, о чем они говорят, для чего. Мотоцикл старой марки с просторной коляской стоял у крыльца. В коляске две вышитые подушки на сиденье — одна Катенькина, другая Верочки. А тут и сами девочки появились на крыльце: две толстущечки, два грибка молоденьких, две умницы. У Антоновны лицо светлело и молодело, когда она смотрела на них: это же надо так — две одинаковые головочки, два одинаковых платьца, а два разных человека, две разные жизни.

— По коням! — скомандовал Николаша дочкам, поднимаясь с крыльца. Иван Фокич тоже поднялся. Девочки с двух сторон прильнули к Антоновне.

— А ну-ка отцепитесь, — заворчала она на них, — а то задурите мне голову и уедете с пустыми руками. Я же вам подарки приготовила.

Подарки каждый раз были одни и те же, магазинные, и название носили «подарки»: конфеты, шоколадка, пакетик вафель в целлофановом мешочке, связанном ленточкой.

Девочки взяли подарки, но с места не тронулись.

— А мне дядя Борис деньги на шубку подарил,— сказала Верочка.

— А мне пусть шубку дедушка Валя подарит,— сказала Катенька.

Антоновна сразу не поняла, о чем они, что за слово такое «шубка» и почему один брат — дядя, а другой — дедушка. Глянула на Ивана Фокича и Николашу, ждут, дышать перестали от неловкости.

— Это кто же тебя, Катенька, говорить так научил, папа или мама? — спросила она девочку.

— Папа,— ответила Катенька.

— Мама сказала: они не дадут,— добавила Верочка.

Николаша завел мотор, он зафырчал на весь двор, запахло бензином. В открытом окне появилась Инна, на лице написано: уматывают, наконец. Антоновна, не дожидаясь, когда девочки сядут в коляску, ушла в дом. Иван Фокич остался на крыльце.

— Что у вас там произошло? — спросила Инна.— Сейчас он наденет плащ и удалится?

— Ты с кем так говоришь? — зашипела на нее Антоновна.— Ты кто тут такая?

— Никто, никто,— обиделась Инна,— никто, ничто, и звать никак. Будущим летом меня тут не увидите. Живите без меня со своими мужьями, близнецами, мне тут делать нечего.— Она схватила на ходу кусок торта, который не доели близнецы, и, выставив вперед плечо, пронеслась мимо стоявшего на крыльце Ивана Фокича.

Антоновна ждала, что Иван Фокич сейчас войдет в дом, упрекать она его не будет, не за что, нет его вины в этой шубке. Привык Николаша двум дядям с детства в карман глядеть и отвыкать не хочет. Можно было бы, конечно, дать эти пятьдесят рублей, ничего не случится, не обеднеют. Но не хочется. Такая готовность у Николаши брать, что дают и не дают, неприятная. Детей впутывает.

Иван Фокич не спешил возвращаться в дом, вновь опустился на ступеньку. Антоновна поглядела из окошка кухни на его озабоченную спину да вдруг и сказала себе: сидишь и сиди, а я пойду. Вот посиди и прочувствуй, как бывает, когда один уходит, а другой остается. Надела шелковый костюм, косу переплела по-парадному, уложила ее в два кольца на затылке,

взяла новую сумку и, постукивая каблуками, ушла, не оглядываясь на Ивана Фокича.

Идти вот такой нарядной, молодой по знавшей-перезнавшей ее улице было стыдно. Одно дело — рядом с Иваном Фокичем, и другое — одной. За каждым окном — глаза. Глядят старушки, обмирают от возмущения: вырядилась и идет, а чего не идти, когда умней самой жизни решила быть, дочку спроводила на край света, замуж на старости лет выскочила, а все одно жизнь не обманешь, все одно старая, внучка уже в восьмой класс перешла.

Дверь телефона-автомата у входа в парк была настежь открыта. Только увидев эту открытую дверь, Антоновна поняла, куда ее несет, с кем бы ей сейчас в самый раз встретиться. Набрала номер. Низкий, грубоватый голос откликнулся радостно:

— Антоновна! А я уж к вам собиралась. Загордилась, думаю, Антоновна, забогатела, никого уже и знать не хочет.

Это Дарья скажет... забогатела. Уж кто забогател с их улицы, так это сама Дарья. Директор Ювелирторга. На самой, правда, ни колец, ни бус, а квартира — выставка. Сын начальник цеха, с женой развелся, алиментов не платит, некому, сама Дарья директор, сложи-ка вместе такие зарплаты и удивляться не будешь, откуда в квартире столько добра.

Дарьяна жизнь другим не пример. Особая судьба, особый характер. С фронта вернулась с ребеночком, все прошла: дороги мостила, в общежитии с дитем жила, отец ребенка объявился, когда тому семь лет стукнуло, не приняла, выгнала. С теткой родной поссорилась, до сих пор до конца не простила. А с Антоновной — как с сестрой родной. Надо бы цветочков купить, удивить подругу. За три года жизни с Иваном Фокичем познакомилась она с этим обычаем цветы дарить. Носили букеты брату Борису и жене его, пока не перессорились. Но с Дарьей у них цветов в заводе не было, сразу после войны их дружба началась, другим радостям радовались.

Купила букет. Как не купить, когда из каждого киоска в парке они прямо просились к ней своей красотой и дешевизной. Таких пионов ни на одной клумбе не увидишь. Где-нибудь в специальном питомнике

выращивали. Каждый пиончик в три-четыре цвета, оттеночками.

Дарья, как увидела букет, так и поползла вниз, плечо так и заскользило по косяку двери.

— Держи меня, Антоновна, держи крепче, этого я не перенесу.

И впрямь села на пол. Сына, видно, дома нет, вот она и позволяет себе такие представления. Вскочила, схватила букет, понеслась на кухню. Вазу выбрала разноцветную, чешского стекла, налила воды, пионы раскинулись, отделились один от другого, и это была уже такая красота — краше не бывает. Антоновна даже расстроилась слегка: сбил букет настроение, с которым она шла к Дарье, увел их встречу в какую-то другую сторону.

— Ну, рассказывай, как живешь, — сказала Дарья. — Плохо без телефона. Иногда б забежала, а как предупредить? Теперь неудобно, как раньше, теперь ты не одна.

— Кто его знает, — вздохнула Антоновна, — иногда кажется, что и одна.

Дарья кольнула ее удивленным взглядом, но поборола любопытство, ничего не спросила.

— Тянется прошлая жизнь за человеком, — печально продолжала Антоновна, — не отряхнешь ее с ног, не переступишь.

— А ты как думала? Женился и заново родился?

— Ничего я, Дарья, не думала. Ничего не высчитывала, никакого одиночества в старости не боялась. Не тебя мне в этом уверять. Но все-таки надеялась, что буду в его жизни главной, а придет племянник — и чувствую, что я чуть ли не помеха.

— А ты поменьше чувствуй. — Дарья разговаривала, а сама в это время накрывала на стол, бегала от плиты к холодильнику. — Ты всю жизнь себя терзаешь всякими чувствами, живешь, будто на тебе весь мир сошелся, все через сердце, все переживаешь. Знаешь, почему? Потому что у жизни, как у богатой родни за столом сидишь. Пора уже самой хозяйкой становиться.

Зазвонил телефон. Дарья пошла на его зов в прихожую, двери открыты, каждое слово слышно.

— У меня? — спрашивала Дарья. — Опять у меня. Я этот ресторан скоро прикрою. Я во Франции все рождество в гостинице просидела, не принято у них,

видишь ли, гостей приглашать. Да не отказываюсь я. Переводчика не забудьте позвать.

Своя жизнь у Дарьи. Высоко залетела. Хозяйкой за столом у жизни сидит, гостей заграничных за тем столом принимает.

— Пойду я, Дарья. Гости у тебя сегодня, не буду мешать.

— Еще чего! Ты мой самый дорогой гость. — Сказать так сказала, а в глазах уже своя забота, свои мысли. Рассмеялась вдруг: — Немец из ФРГ в прошлом месяце в гостях был. Такой пожилой, солидный дядька. Русский язык учит. Переводчика не позвали, понимали друг друга. И вот он спрашивает у моей соседки — живет в квартире напротив: «Вы немецкий язык помнюжко понимаете?» «Понимает, отвечает та, дурюк, хенде хох, хальт, матка, курку...»

— Эти слова кто выучил, не забудет, — сказала Антоновна. — Нам с тобой их тоже забывать не след.

У каждого своя жизнь, свои печали и радости, свои гости. Только война, кому она выпала в жизни, одинаковую боль принесла.

Шла обратно и думала: «Как же можно не чувствовать? Каждый человек беду и горе переживает. И когда сыт, обут, одет, жизнь легкой не становится. Жить вообще нелегко, трудно, даже счастливым трудно. Оттого, наверное, люди и старятся, устают от труда жить».

Подходила к дому, а в сердце новое переживание. Разве можно так бросать человека? Ни слова не сказать. Бочком мимо и на простор. На какой простор? Все свое с собой и тащишь, куда бы ни подался. Иван Фокич, когда в плаще уходит, он сердце успокаивает, он, может быть, жизнь свою заново решает: куда ему теперь, в какую сторону? Потыкается во все перекрытые дороги и назад возвращается. А она со зла, из самолюбия из дома выскочила, как будто от плохого можно прибежать к хорошему. Подходила к дому виноватая, готовая принять все упреки, только бы не молчал Иван Фокич. На крыльце задержалась, сняла туфли с уставших ног, неслышно вошла на кухню. В дальней комнате, в зале, разговаривала Инна с подругой. Голова закружилась от обиды: ушел Иван Фокич. Она из дома, и он за ней. Нет, не ушел, смотри, какой без нее разговорчивый. Прислушалась.

— ...Привела в музыкальную школу, а там говорят — переросток. Тогда она давай плакать: чем же он виноват, что родился, когда Советская власть была бедная, когда музыкальных школ не было. Она Советскую власть такой доброй теткой представляла: надо, не надо, а что дает бесплатно, все бери.

О сестре рассказывает. Сестру вспомнил.

— Взяли вас в музыкальную школу? — спросила подруга Инны.

— Взяли. Она так требовала, что ей причиталось, никто отказать не мог. Муж помер, трое мальчиков да мы с братом у нее на руках. Одна защитница — Советская власть.

— И на чем ты играл? — Это Инна спрашивает.

— На пианино. Цыпки на руках, ногти сбитые. Гамму играю: три пальца по очереди на каждую клавишу кладу, потом первый палец под третий подворачиваю. Дома сестра бульбу в мундире по счету всем делит, а я в музыкальной школе «Болезнь куклы», понимаешь ли, Чайковского играю. Потом этюды Черни. Бессмыслица заедала: не понимаю, зачем учусь, кому это надо. А все-таки, как потом понял, ничего не пропадает, никакая наука. В войну, когда уже в Германию вошли, был такой случай. Политзанятия майор проводил про великих немецких людей, чтобы мы, значит, фашизм и народ не отождествляли. А вид у всех зачуханный, усталый, только-только орудия на другие позиции оттащили. И вдруг майор обращается ко мне: зря, говорит, ворон считаете, именно вам совсем нелишне знать, что был такой великий композитор Бах. «Так точно, отвечаю, маленькие инвенции и фуги Иоганна-Себастьяна, если бы бемолей поменьше, играть можно».

Девочки засмеялись, Антоновна вошла в залу. Иван Фокич поднялся, с лица еще не сошло оживление от разговора. Девочки тоже поднялись. Инна уставилась на бабушку: мол, явилась, ничего хорошего уже не будет.

— Смотрите так, будто и не ждали, — сказала Антоновна, — а ждать надо было, я не только тут живу, я, между прочим, тут еще и хозяйка.

— Пошло-поехало, — сказала Инна, — теперь будешь утверждаться на наших костях. Пошли, Марина.

Они ушли, а Иван Фокич опустил на стул, сложил перед собой руки на столе.

— Переживаешь за Николашу? — спросила Антоновна. — А чего за него переживать? Жив-здоров, голова кудрявая, сел на мотоцикл и укатил.

— За тебя переживаю, — ответил Иван Фокич. — Не можешь ты по-настоящему доброй быть. Я же к твоей Инне, как к родной, отношусь.

— Намекаешь, что Александра денег на Инну не дает, что девочка на нашем живет?

— Что ты городишь? Какие деньги? Я их всю жизнь свою не берег. И тебе денег не жалко на шубку Катеньке, ты отца ее полюбить не можешь. Привык, говоришь, с детства двум дядям в карман глядеть. А что двухлетним в землянке жил, что матери лица не помнит — это мимо сердца твоего проходит.

— А какое мое лицо Александра помнит? С голоду какие лица бывают, знаешь?

Антоновна заплакала. Иван Фокич подошел к ней, погладил шершавой ладонью по голове, поцеловал в щеку.

— Не мы одни натерпелись. Так неужели детям своим такого хотим?

Не только у нее сердце от переживаний разрывается, Ивану Фокичу тоже нелегко. Хотят они детям своим лишь хорошего, помогать согласны. Но неужели нет никакой другой помощи, кроме подачек? Неужели вся помощь — деньги? К. Александре у нее претензий нет. Александра денег на Инну не дает по забывчивости, а может, по нехватке. Ее жизнь делу отдана, в экспедиции на все лето уезжает, не маленький человек в науке — доктор. Инна говорит, что ползарплаты у нее на журналы научные и книги уходит. Николаша — рабочий человек, слесарь, а живет, как кулачок, — иметь, иметь, больше ничего в душе не присутствует. Сначала — мотоцикл, теперь — машину, деньги на машину копят, а девочкам на шубки кланчат.

— Ни при чем тут тяжелое сиротское детство, — сказала она Ивану Фокичу. — Тут что-то другое виновато. Обязаны мы им, обязательство выдали, что будут жить хорошо, лучше нас. А что под этим «хорошо» подразумевать, не обговорили. Шубки и машины, я так думаю, Ваня, ты уж меня прости — к хорошей жизни имеют второстепенное отношение.

Она принесла из кухни халат, собралась переодеться, ужин готовить, но тут Иван Фокич потянул за халат.

— Ну его, не надевай. Пошли-ка, Маша моя, в парк. Лето на улице, вечер теплый. Дети за нас нашу жизнь жить не будут.

Она чуть не подпрыгнула от радости, так неожиданно, так кстати пришло это приглашение. Погуляют по парку, на людей посмотрят, в ресторан зайдут, съедят чего, а захотят, так и выпьют. А Инна пусть себе сама ужин готовит, еда в холодильнике есть, обойдется.

* * *

...Пятьдесят рублей — деньги не маленькие. Иван Фокич полсмены думал, у кого бы занять, как потом расплатиться. Выход нашелся в обед, в столовке: стоял в очереди, и вдруг стукнуло: «Спидола!» Его собственный приемник, который остался у брата Бориса. Приемник — в комиссионку; пока будет продаваться, можно занять. Забота, давившая плечи, свалилась, рассыпалась в прах. Иван Фокич повеселел, на обратном пути в цех позвонил брату, спросил, будет ли тот дома в пять часов. Борис ответил, что постарается.

И в самом деле постарался. К приходу Ивана Фокича был уже дома, сам дверь открыл, и жена его по прозвищу Пантелей тоже в коридоре стояла, улыбалась, встречая дорогого гостя. Вот ведь как все перевернулось. То, бывало, когда он у них жил: Ваня, открой, звонят! Сами никому не открывали. А без него научились, оба враз выскочили на звонок.

У Ивана Фокича не было ни счетов с братом, ни обид, одна благодарность, что приютил, когда ему жить стало нелегко. Женился старший племянник Феликс, за ним Николаша, и Ивану Фокичу пришлось искать себе новое пристанище. Для общежития он уже был стар, да и негоже было брату директора самого большого в городе завода жить в общежитии. Пантелей поставила в комнате без окон, так называемой библиотеке, раскладушку, на ней и стал спать Иван Фокич. Ел вместе с хозяевами. Пантелей не брала денег ни за еду, ни за квартиру. Иван Фокич оплачивал прежнюю свою квартиру, а остальные деньги от зарплаты отдавал племянникам. К этому времени и третий племянник женился

Женитьба самого Ивана Фокича упала на всю семью, как снег в жаркий день где-нибудь в Крыму или Сочи. Это было со стороны Ивана Фокича не просто неприличным поступком, это было безумством. Тайком, за его спиной, снарядили к невесте Пантелей, она должна была раскрыть глаза Антоновне на всю абсурдность этой затеи. Иван Фокич бирюк, нелюдямый человек, кроме племянников, в его сердце ничего нет и быть не может. Пантелей взяла коробку конфет, бутылку вина и на такси подъехала к дому Антоновны. Пробыла там минут пятнадцать, коробку привезла нераспечатанную, а бутылка, как она потом рассказывала, «летела через кухню, через крыльцо и посреди двора — вдребезги». Уже после свадьбы кое-как помирились, ходили друг к другу в гости, носили цветочки до того самого застолья в доме Бориса, когда Иван Фокич дернулся на звонок, хотел бежать в прихожую, открывать дверь запоздавшему гостю. Антоновна сказала: «Сиди. Невеликие бары, сами открывают». В тот вечер Борис и Пантелей окончательно с ней поссорились.

— Ну, заходи, заходи, дай на себя посмотреть, — говорил Борис, закрывая за Иваном Фокичем дверь. — Редким гостем стал, скоро, как зовут тебя, забудем.

В столовой стол накрыт. Скатерть белая, закуски, бокалы хрустальные. Не ожидал Иван Фокич такого приема, стыдно стало за свой корыстный приход. Сел за стол, вздохнул тяжело: где же эти пятьдесят рублей взять? Приемник забирать нельзя, неудобно. Они его вон как встречают, а он, оказывается, за своим барахлом притащился.

— А что же половина твоя не пришла? С чего она, скажи-помилуй, нос воротит? — Борис разливал водку, на Ивана Фокича поглядывал с улыбочкой. — Чего она вообще о себе воображает?

— Замуж вышла! — Пантелей произнесла эти слова с издевкой, с такой интонацией, мол, как же ей не воображать, когда такое учудила.

Борис взглядом остановил ее: что можно мне — тебе не положено. На брата поглядел с любовью: хоть ты и старичок, а мой младший брат.

— Поешь сначала, — сказал, — поешь перед рюмкой, а то захмелеешь, она тебя домой не пустит. — И засмеялся.

Чем же он у них был в жизни? Чего простить не хотят?

— У меня жена воображает, что она человек,— сказал Иван Фокич негромким и все-таки неслыханным в этой квартире голосом.— Она вышла замуж, это действительно так, но воображает она себя человеком совсем не поэтому.— Он отодвинул рюмку и положил вилку на стол.

— Ну, ну, будет,— дал задний ход Борис,— хорошая у тебя жена и не о ней речь.

Иван Фокич выпил рюмку, закусил грибком, потом розовой рыбкой.

— А вы как живете?

Борис и Пантелей переглянулись, ответил Борис:

— Ершистый ты стал. Изменился. И правильно. Знаешь, как тебя Николаша прозвал? Хитрецом. Точно, между прочим, имечко выбрал. Такой был тихий, такой молчун, пока нуждался в нас. А теперь — смотри-ка — не узнаешь.— Борис затрясся в смехе, собираясь сказать что-то очень смешное: — Ребеночка не запланировали? Племянничка нового мне не поднесешь?

Иван Фокич покраснел. Пантелей, удушливо засмеявшись, поднялась из-за стола, вышла из комнаты. Иван Фокич насупил брови, налил себе вторую рюмку и выпил, не закусывая.

— Чего еще умного скажешь, брат Борис?

Тот прижал руки к груди, выставил умоляющие, покрасневшие от смеха глаза.

— Ну, прости. Мы же свои. Ну, пошутил. Грубо, как дурак, не надо обижаться. Говори, зачем пришел. Я же чувствую, не просто так пришел. Говори, пока Пантелея нет.

Иван Фокич взял графинчик и наполнил в третий раз рюмку. Перед тем как выпить, сказал:

— Полсотни хочу у тебя занять. На полтора месяца. До квартальной премии.

Борис хлопнул себя ладонью по лбу, догадавшись, для какой надобности Ивану Фокичу деньги, поглядев на дверь, подошел к книжной полке и вытащил из тома энциклопедии две двадцатипятирублевки.

— Держи. Отдашь, когда сможешь, не колотись с квартальной премией, неси ее домой, радуй Антонову. А за эти деньги пусть Николаше стыдно будет.

Хотя стыдиться особо нечего, дядьки у него хоть куда, пока живы, в обиду не дадим!

— Пока живы,— согласился Иван Фокич,— а потом что? Ты бы, между прочим, о Пантелее подумал. На работу определил. Ведь, не дай бог, что с тобой случится, у нее и пенсии не будет.

— Все? — спросил, цепenea, Борис.— Все сказал? Или еще какая просьба имеется? — От возмущения он вакашлялся, замахал руками: уходи, не доводи до греха.

— Воды выпей,— сказал, поднимаясь, Иван Фокич,— минералочки.

В комнату вбежала Пантелей, бросилась к мужу. Иван Фокич вышел в прихожую. Дверь за ним никто не закрыл.



В промтоварном магазине продавщица не хотела выписывать чек.

— Завтра приходите. Видите, кассир уже деньги считает. Пять минут до закрытия.

Темно-красные продолговатые бусины петлей свисали из кулака Ивана Фокича. Он крепко держал индийское ожерелье и не собирался его выпускать. Продавщица не решалась потянуть бусы к себе. Нитка могла разорваться, и тогда с этим пьяным ненормальным стариком беды не оберешься. Она выписала чек. Не выпуская ожерелья из рук, Иван Фокич быстро побежал к кассе. Заплатил пятьдесят рублей, сунул подарок в карман и вышел из магазина.

Шел домой и улыбался, смущая своей улыбкой прохожих: счастливые так не улыбаются, пьяные тоже. Откуда прохожим было знать, что это радовался хитрец.

ВАРЬКА

Я никогда не забывала Варьку, но, когда она явилась, не узнала. И никто бы не узнал. Все мы изменились за двадцать три года, но все-таки не так, как Варька. Кто располнел, кто усох, а Варька назолю природе решила стать красавицей. И это ей удалось.

Правда, два передних зуба торчали по-прежнему, как у зайца, они ее и выдавали. Варька улыбалась, кружилась по комнате в своем немисливо узком пальто. Оно ее стягивало так, что пуговицы казались пришитыми неровно.

— Хочешь, лягу на пол и умру?

Давненько я не слыхала ничего подобного.

— Не надо,— я вглядывалась в нее и не могла вспомнить, из детства она или из молодости, пока сердце вдруг не рухнуло вниз: господи, Варька! — Сядь на стул, Варвара. И расстегнись. Чего это ты так затянулась?

— Я и на стуле могу умереть.— Варька сняла пальто и через всю комнату бросила его в угол на столик.— Отдельный кабинет! Табличка на двери — «Директор». Слушай, тебе не страшно сидеть за такой дверью?

— Возьми себя в руки и повесь пальто на вешалку. Варька посмотрела в угол:

— А оно мое? С чего ты взяла, что у меня может быть такое пальто?

Началось.

— Я к тебе на несколько минут. Ты была когда-нибудь на киносъёмках?

— Не довелось.

Я изо всех сил держалась, чувствовала, что Варьке ничего не стоит затянуть меня, как уже бывало, в какую-нибудь дурацкую историю.

— Вот и мне тоже. А тут выхожу из вагона и влетаю в массовый эпизод. Потом подходит такой с усиками, может быть, даже режиссер и говорит: у вас есть шанс попасть в кадр. Это значит, сняли меня уже в толпе, а в четыре часа я буду что-то там представлять в кадре персональное.

Я слушала в пол-уха, вспоминала Варьку: врет.

— Закрывай свой кабинет и пошли.

— На вокзал? Ты будешь представлять в кадре что-то персональное, а я что?

— Ты посмотришь,— ответила Варька.— Если паспорт с собой и ты им подойдешь, то тоже снимешься.

Ну, Варька. Слова куда-то подевались, не могла я как следует с ней объясниться.

— Артистка. Сколько тебе лет?

— Сорок четыре. А что?

— А то, что столько лет не виделись и о чем говорим? Про детей расскажи, про Жана и Сашку.

Варька пожала плечами.

— Вымахали. Я им по плечо.

— Вот видишь. Дети уже не молоденькие, а тебе все кажется, что ты молодая.

— Как это дети не молоденькие? — удивилась Варька. — Очень даже молоденькие. А я просто молодая.

...Варька родила на третьем курсе. Напротив родильного дома был городской пионерский лагерь. Половина нашей группы проходила в этом лагере летнюю практику. Мы по очереди торчали под Варькиными окнами. Однажды кто-то принес белый халат, я надела его и пробралась к Варьке в палату. Она лежала у окна, Увидела меня, отодвинула ноги к стене и сказала:

— Садись.

Я села. Варька в моих глазах была утопленницей, погибшим человеком, никто не мог ее уже спасти, но я стала уверять ее в обратном:

— Не вешай нос, Варька, мы выбили тебе через профком материальную помощь. И вообще не горюй, поддержим.

— Я тетку боюсь, — ответила Варька. — Приходи в тот день, когда меня будут выписывать.

Я пришла. И тетка ее пришла, немолодая, уставшая женщина с белым узелком в руках. В узелке лежали одеяльца и пеленки для новорожденного. Тетка передала узелок в окошечко приемного покоя, и мы с ней молча стали ждать, когда на крыльце покажется Варька с младенцем.

Она вышла из двери, и тетка поднялась на крыльцо, взяла ребенка и, не останавливаясь, не оглядываясь на нас, понеслась по больничному двору. Мы с Варькой — за ней.

— Давай такси возьмем, — сказала Варька, когда тетка приблизилась к трамвайной остановке. — У меня деньги есть, мне материальную помощь выдали.

— Лучше бы тебе голову новую выдали, — ответила тетка.

Мы столько не виделись, а она сидела, поглядывала на часы и несла какую-то ерунду, потом поднялась и сказала:

— Мне пора. Еще увидимся, я тебе позвоню, — и стала натягивать на себя свое неимоверно узкое пальто.

— Постой, где ты остановилась?

Варька назвала лучшую в городе гостиницу.

— Но я еще там не была, — сказала, — чемодан у меня в камере хранения.

Постояла, глядя на меня, и вдруг спросила:

— А у тебя дети есть?

— Есть. Дочь. И зять, как сын.

— Не представляю тебя матерью.

Тут кто-то из сотрудников открыл дверь, Варька посторонилась. А я ничего не успела ответить, хотя меня очень задела ее слова. «Зато мне, Варенька, ничего представлять не надо. Я просто помню, какая ты мать». Вошедший сотрудник не знал, что у двери стояла не просто посетительница, а Варька, и, пока мы решали с ним, каким должен быть ответ на один из запросов, поступивших в архив, она ушла.

И только после того, как ее не стало, я поняла, что случилось. Возникла из небытия Варька! Явилась молодая, красивая, непохожая на ту, какой была, и на ту, какой должна была стать. А я, как чужая, глядела на нее, не понимая, что это мое прошлое вошло в кабинет вместе с ней. Как я могла так ее встретить? Упустить Варьку. То, что Варька не позвонит, не вызывало никаких сомнений. Для того и мелькнула, чтобы задать задачку еще на многие годы. Надо сейчас же, не медля, ехать за ней на вокзал. Но был рабочий день, через полчаса начиналось совещание, и моя тревога рассеялась, а к концу дня и забылась.

...Имя, которое она дала мальчику, возмутило нас. Жан! Мало того, что безотцовщина, явился на свет неожиданный, незванный, так еще и Жан! Варька принесла его в общежитие, положила на свою койку, загородила подушкой и куда-то ушла. Нас в комнате жило двенадцать человек. Не скажу, что это было двенадцать ханжей, но два тяжелых характера там присутствовали. И эти две, с географического факультета, две Анны — Аня и Нюра — втянули нас в такой злобный диспут, что через полчаса весь наш этаж ходил ходуном. А Варька вернулась как ни в чем не бывало, сняла

платье и стала кормить младенца. Потом собрала пеленки и пошла, как была в трусах и лифчике, в умывальную их стирать. Когда вернулась, за столом у нас сидел комендант.

В тот вечер я опять провожала Варьку к тетке. Она с ребенком ждала в палисаднике, пока я вела переговоры.

— Я ее не выгоняла, — говорила тетка, — я только совет дала определить мальчика в дом ребенка. Я работаю, кто за ним тут будет приглядывать?

Варька была позором нашей группы. Еще до рождения Жана мы с ней натерпелись. При поступлении в институт написала в анкете, что отец — министр нашей республики. Когда обман раскрылся, было собрание, разбирательство. Оправдываясь, Варька наворачивала новые горы вранья. Ее простили, но вскоре опять вспыхнуло «персональное дело» Варвары Шургиной. На городских лыжных соревнованиях она вдруг показала рекордное время, попала в газеты, отхватила приз. Но при регистрации рекорда были повторно исследованы отметки на контрольных пунктах, и оказалось, что Варька с половины дистанции повернула к финишу. Опять ее обсуждали, клеймили.

Жана Варька определила в дом ребенка. Мы этого простить не могли, хотя и не видели другого выхода. В воскресенье она приносила мальчика в общежитие, с полчасу агукала над ним, а потом незаметно исчезала. Жан просыпался, начинал плакать и мы, посылая на Варькину голову проклятья, меняли ему пеленки, носили по комнате, укачивали. Когда она появлялась, орала:

— Зачем ты его приносишь? Ты же не мать, а чудище!

— Специально приношу, чтобы вас немножко очеловечить. А то ведь кобылы. Если бы не стучали так своими копытами, он бы не проснулся.

Она еще нас и оскорбляла. Вряд ли мы снесли такое оскорбление от кого другого, но все, что делала и говорила Варька, не принималось всерьез. И все-таки мы попадались, заглывали крючок, который закидывала Варька, и потом долго не могли прийти в себя. Мне она однажды сказала:

— Если бы ты мне была настоящим другом, я бы открыла тебе свою тайну.

Тут она не врала, у нее действительно была тайна — отец ребенка. Никто ничего не знал о нем, Варька молчала как рыба. Если бы я не была у нее в родильном доме, не провожала оттуда, я бы тоже, как многие, сомневалась: ее ли это ребенок? Не только потому, что Варька оказалась плохой матерью, но и потому, что у нее не было ни одного романа, никакой любовной истории. Варька после лекций скакала у волейбольной сетки, могла три сеанса подряд отсидеть в кинотеатре, есть мороженое в зимний день, но Варьку на танцах или на свидании представить было невозможно.

Я не была ей настоящим другом. Кровати наши стояли рядом, тумбочка — одна на двоих. Это соседство по-родственному связывало нас. Когда на Варьку ополчалась вся комната, я бросалась ее защищать.

— Еще неизвестно, будут ли у нас дети. А у Варьки уже есть. И ничего тут зазорного, что ей помогает пока государство. Во всяком случае, лучше быть матерью-одиночкой, чем старой девой.

Такой поворот остужал головы, «стародевство» почему-то казалось реальным и пугало многих.

Тогда я думала, что Варька доверила мне свою тайну из благодарности: я меньше других обличала ее и даже защищала. Отцом Жана оказался директор фабрики, на которой работала Варькина тетка.

— Он молодой?

— Не очень.

— Ты любила его?

— Безумно. И сейчас люблю. Он до сих пор не знает, что у меня есть сын.

— И тетка не догадывается, что он отец Жана?

— Она бы его в крошки изрубила, если бы догадалась.

Есть разные тайны. Эта тайна не могла принадлежать только Варьке и мне. Мужчин-подлецов, ничего не знающих о своих детях, щадить нельзя.

— Варька, он женат?

— Не знаю. Прикидывался неженатым.

До сих пор ужас охватывает меня при воспоминании, как я напугала этого директора. Мы пошли к нему целой делегацией, даже Аня и Нюра, обвиняя в легкомыслии одну лишь Варьку, решили взглянуть на предмет ее преступной связи. Женат этот директор или

холостой, нас не волновало. Мы не собирались будить в его сердце любовь и женить на Варьке. В наши планы входило «прижать» его. Это слово нам очень понравилось: «Прижмем. Пусть узнает, что у него есть сын, и раскошелливается, дает деньги на воспитание».

У фабрики было мирное и немного смешное название — бисквитно-макаронная. Но перед нами она предстала бронированной вражеской крепостью. Вахтерша в будке возле ворот преградила нам путь. Долго мы ее уламывали, наконец, она сняла телефонную трубку:

— Тут студентки. Десять штук. С сумками.

Разрешили пропустить одну. Все поглядели на меня, и я пошла. Вахтерша нагнала меня посреди фабричного двора и вырвала из рук сумку.

Директором оказался немолодой, по тогдашним моим представлениям, мужчина, может быть, лет сорока. В кабинете у него находились люди в белых халатах, и я растерялась.

— Слушаю вас.

Глаза у него были светлые, мелкие и трусливые.

— Я подожду, когда вы освободитесь. У меня особый разговор.

Когда мы остались одни, я сказала:

— Вам известно, что у Варьки родился сын?

Он не закричал: «У какой Варьки?! Не знаю никакой Варьку!», а задумался, и это поначалу запутало наш разговор. Я продолжала:

— Варька живет на одну стипендию. Мальчик в доме ребенка. Я не буду говорить о моральной стороне всего этого, но материально отец обязан помогать ребенку. Вы женаты?

— Женат, — ответил он.

— И дети есть?

— Двое. Давайте ближе к делу: в каком цехе работает отец Варькиного ребенка?

О, эти мелкие трусливые глазки были еще и хитрыми!

— При чем здесь цех? — Голос мой зазвучал грозно: — Зачем вам надо разыгрывать, будто не знаете Варьку?

— Значит, это она у нас работала?

Ну, ничего не хотел понимать, и очень натурально у него это получалось.

— Вы отец ребенка!

— Я? — Он даже не взъерился, взглянул на дверь и шепотом приказал: — Вон отсюда, шантажистка.

Я поднялась, он тоже поднялся и вдруг замахал короткой ручкой:

— Садитесь. Давайте разберемся. Я слушаю вас, рассказывайте.

Я стала рассказывать, уже зная, что Варька опять надурила нас и я зря отнимаю время у этого директора. Рассказывала и боялась только одного: проговориться, что Варькина тетка работает на этой фабрике.

Директор оказался широким человеком, достал из ящика письменного стола коробку конфет и подал мне:

— Мы соревнуемся с кондитерской фабрикой «Луч». Это образец их новой продукции. Передайте от меня вашей Варьке.

Я вышла из проходной, держа перед собой эту коробку. Девчонки окружили меня.

— Варька права, — сказала я, — мы доверчивые лошади.

В общежитии мы раскрыли коробку, вскипятили чайник, водрузили его на стол и молча, ничего не говоря друг другу, стали уничтожать конфеты, подаренные Варьке. В самый разгар пиршества заявила Варька, схватила кружку, под села к столу.

— Варька, — сказала я, — когда это кончится, когда ты перестанешь врать?

Варькины глаза остановились, и я вдруг увидела, как они защелкали, отвергая один за другим варианты правдоподобных ответов. Наконец нашла.

— Никто не врал. Я тебя просто проверяла: умеешь ли ты хранить тайны.

Назавтра я позвонила в гостиницу. В этой гостинице останавливались депутаты, когда приезжали на сессию, иностранные гости, участники всяких конгрессов и форумов. Варьке там делать было нечего. Но может быть, она по своему неведению затесалась туда? Мне непременно надо было ее разыскать, избавиться от чувства вины: Варька явилась, а ты ее не приветила. А что, если судьба не просто вас свела, а устроила тебе проверочку: стала ли с годами добрей и великодушней?

Справочная гостиницы ответила, что Варвара Шургина «не останавливалась». И еще эта справочная спросила девичьим голосом: «А откуда она приехала?» Этого я не знала и новой Варькиной фамилии, если она у нее появилась, тоже не знала. Вспомнила каким-то чудом Варькино отчество и взмолилась: «Девушка, поищите среди поселившихся Варвару Кирилловну. Прошу вас, это так важно». Через несколько минут мне стало известно, что Варвара Кирилловна Зуева «остановилась» в двести четырнадцатом номере. И я тут же позвонила в этот номер.

— Привет,— отозвалась Варька,— а я только что собралась тебе звонить. Так закрутилась с этими съемками. Если когда-нибудь увидишь объявление, что требуются статисты для массовых сцен, обходи этот призыв, беги и не оглядывайся.

Она опять попыталась запутать меня, задурить голову всякими несуществующими киносъемками, но на этот раз ей не удалось.

— Я к тебе сейчас приеду, Варька.

— Нет, нет,— Варька отказалась быстро и категорически.— Завтра приезжай. Завтра Володя прилетит с Сашкой, и мы предстанем перед тобой в полном составе.

— Что за Володя?

— Муж.

— А Жан не прилетит?

— Он здесь, из-за него мы собственно и собираемся в этой гостинице.

У этого всего был прочный сюжет, но все-таки придуманный. Иначе почему бы Варьке не повидаться со мной сейчас, с чего она так решительно запротестовала: нет, нет.

— Муж Володя, надо полагать, это тот морячок, что висел у тебя над кроватью?

Варька не почувствовала в моем голосе иронии, обрадовалась:

— Помнишь?! Но того морячка давно нет. Теперь это солидный, с довольно крутым характером контр-адмирал.

Конечно же контр-адмирал! Я и Варькиного «папу-министра» не забыла.

— Значит, завтра мы все тебя ждем. Приезжай пораньше, часиков так в двенадцать.

Я положила трубку, сняла с вешалки плащ, вышла на улицу, остановила такси и через десять минут была возле гостиницы.

...Наша студенческая жизнь катилась от сессии к сессии, мы сдавали экзамены, а Жан рос. После летних каникул он уже прохаживался между койками в нашей комнате на собственных ногах. Мы полюбили его, он стал вроде сына нашего загрустившего в выпускном году девичьего войска. Все мы через год расставались, все с волнением ждали распределения, ни одна не оставалась в столице республики, ни одна не вышла замуж. Варька приводила Жана в общежитие уже и в будние дни. Мальчик был на редкость хорош, черноглазый, обстоятельный. Он подтверждал пословицу, что у плохих матерей вырастают хорошие дети, и мы наперебой старались заменить ему его плохую мать.

В это время, после летних каникул, Варька повесила на стене в изголовье портрет морячка в белой бескозырке. Морячок улыбался белозубой плакатной улыбкой, и эта улыбка мешала определить, умный он или не очень, красивый или так себе.

— Папа,— сказал однажды Жан, поглядев на фотографию.

Мы не придали значения этому высказыванию, Жан пугал этим словом многих мужчин на улице и в общежитии коменданта.

Варька переводила свой взгляд с фотографии на нас и мстительно улыбалась. Ждала, когда мы накинемся с вопросами. Но не дождалась. Мы уже были не те. Мы уже не возвышали себя над Варькой. Мы были студентками педагогического института, в котором на всех факультетах училось восемь парней. И что-то, прознав о нашей будущей профессии, с нами не очень спешили заводить серьезные романы медики, политехники и будущие юристы. Мы все уже потихоньку считали себя женами несуществующих мужей. И нам ли было осуждать Варьку, которая раньше всех это поняла. Мы перестали ловить ее на слове, пусть врет, если иначе не может. Если не вмешиваться, ее вранье никому не мешает.

Но это мы пришли к такому выводу, Варька этого не знала. Рассказывала про Балаклаву, где она якобы жила летом с Жаном в пансионате «Мать и дитя».

— Уймись, Варька,— отмахивались от нее.— Ба-

лаклага на Черном море, что же вы приехали оттуда белые, как картофельные ростки?

— Кто это сказал «белые»? — Варька тут же стала снимать кофту. — Если это вам не загар, тогда протрите глаза.

Однажды ночью она разбудила меня:

— Хочешь доверю настоящую тайну?

— Не нуждаюсь. Спи.

— Через пять месяцев у меня будет еще ребенок.

— Поздравляю. Предупреди работников дома ребенка, пусть готовятся к пополнению.

Второй мальчик, которого Варька назвала Александром, родился накануне государственных экзаменов. Я пришла к ней и столкнулась в больничном дворе с двумя Аннами. Они послали Варьке передачу с письмом и ждали ответа.

— Хотим забрать у нее Жана и усыновить.

— Вдвоем?

— Запишем на Нюру, а воспитывать будем вместе, — сказала Аня.

— Так и Жану и Варьке будет лучше.

Обе Анны получили распределение в одну сельскую школу. Видимо, село было большое, раз школе требовалось два географа. Я боялась, что Варька пришлет Аннам ругательный ответ. Обзовет их кобылами и станет отговаривать.

— Во-первых, Варька не отдаст, во-вторых, что за паника? У вас свои дети будут.

— Не такие, — ответила Нюра, — такой, как Жан, рождается один раз в тысячу лет.

Варька прислала достойный ответ: мол, спасибо, Аня и Нюрочка, вы настоящие люди, но дело в том, что у Жана есть родители. И если, по вашему мнению, мать плохая, то этого вы не можете сказать об отце, так как его не знаете.

— Опять врет, — сказала Аня.

Я вошла в вестибюль гостиницы и поднялась в лифте на шестой этаж. За высокой белой дверью гудели голоса. Постучала, но никто не ответил. Тогда я открыла дверь и вошла. И сразу увидела, что ошиблась дверью. В комнате, освещенной лучами заходящего солнца, было полно молодых людей, они сидели,

стояли, что-то энергично обсуждая. Я вернулась в коридор: нет, не ошиблась, на двери была цифра Варькиного номера.

— Извините. Мне нужна Варвара Кирилловна.

И тут с кресла поднялся и подошел ко мне Жан. Если бы прошло еще двадцать три года, я бы и тогда его узнала. Те же красивые черные глаза, та же, не смытая временем детская сосредоточенность в них. Он поглядел на меня и крикнул:

— Мама! К тебе!

Из спальни вышла Варька. Не удивилась, не набросилась: мы же договорились на завтра.

— Пришла, значит, пришла,— сказала она,— но завтра тоже приходи.

Мы прошли в спальню. Варька села на кровать и, раскачиваясь, стала глядеть на меня. Я не сразу заметила, что слезы текут у нее по щекам.

— Ты что, Варька?

— Жалко тех девочек, а больше всех меня. Ух как вы меня сначала ели, думала не выдержу.

— Тебя съешь. А кто нас обзывал кобылами?

Варька улыбнулась, вытерла со щек слезы.

— Все равно я вас всех обманула: сама молодая и сыновья молодые. Ты ведь так и не видела Сашку.

Варька открыла сумочку и достала фотографию. Черноглазый, похожий на Жана парень улыбался, выставив белые зубы. Улыбка была знакомая.

— Знаешь, кто меня забирал с Сашкой из родильного дома? Аня с Нюрой.

Я знала больше, что Анны намеревались усыновить Жана, но не стала об этом напоминать Варьке.

— Вот тогда я попала в переplet. Вы все разъехались. Мне дали академический отпуск. Сашку я в дом ребенка не стала отдавать, тетка сжалась, взяла нас к себе. Потом приехала из деревни Нюра и увезла Жана. А вскоре и мы с Сашкой туда поехали. Короче говоря, диплом мой накрылся, и высшее образование не закончено по сей день.

Я спросила про морячка, он что же, почему был в стороне? Ведь Варька вполне могла поехать к нему, а не в деревню к Аннам.

— Он понятия не имел, что у него два сына.

Я почувствовала, что краснею. Редко, но бывает, что приходится краснеть за других.

— Варька, не надо, — попросила я, — не мог отец, если он не подонок, не знать о своих детях.

— Интересно! — Варька вспыхнула. — А как он мог узнать, если служил на корабле на Черном море. И незачем ему было раньше времени знать. И вам о нем. Думаешь, я забыла, как вы потащились к тому несчастному директору фабрики, когда узнали, что он отец.

Еще бы несколько минут, и я бы опять ей поверила. Но тут открылась дверь, и нас позвали в ту комнату, где были Жан и его товарищи. Красивые статные парни стояли, как на приеме, с бокалами в руках. Никогда я не видела сразу столько, как на подбор, первокурсных мужчин. Они не походили на студентов, у тех молодость не отмечена таким завидным здоровьем. Мы с Варькой присели у журнального столика.

— Мама, твой гост.

Варька поднялась и сказала, что желает им всем счастья. Пожелала беречь друг друга, потому что работа у них начинается ответственная и опасная. С сегодняшнего дня они уже не мальчики, не курсанты.

— Кто они? — шепнула я Варьке, когда она села.

— Военные летчики.

Я по-новому взглянула на Варькиного сына и его товарищей. Никогда не видела военных летчиков в такой вот обстановке, и вообще не видела, разве что в кино да по телевизору. Я тоже произнесла тост:

— Я помню Жана, когда он только родился, мама его была в то время студенткой. Жизнь очень длинная, когда ты молод, и короткая, когда глядишь на нее с высоты прожитых лет. Но какой бы она ни была с разных точек обзора, лучше ее ничего нет... — И еще что-то сказала, после чего возник общий разговор.

Потом они ушли, а мы с Варькой остались. Я глядела на нее с какой-то такой точки, которая превращала прожитое время в миг. Только что мы с Варькой и ее теткой везли в трамвае Жана из родильного дома, и вот уже этот новорожденный — военный летчик. Меня поразили летчики, их славное братство, юмор, осязаемая чистота, которую они излучали. Прекрасны были их улыбки, интересен разговор, ушли — и ни одного окурка в пепельнице, ни одной соринки на ковре.

— Похоже, что летчики — особая ветвь человечества, — сказала я Варьке. — У меня дочь и зять худож-

пики, но у них с друзьями нет такой сплоченности, дружат, но какая-то дружба без преданности.

— Может быть, ты их просто не знаешь, ни детей своих, ни их друзей? — спросила Варька.

И тут я увидела, что рядом со мной сидит совсем незнакомая Варька. В молодости я ее знала и час назад тоже. И вдруг, как прозрение: да, не знаю я ее совсем. Когда-то, поступая в институт, она придумала себе папу-министра. А мы ведь тоже далеко от нее не ушли, придумали себе должности судей. Судили Варьку, веря в свою проницательность и право судить ее.

На столе лежала фотография младшего Варькиного сына. Он был и на нее похож: два передних зуба выдавались чуть-чуть вперед, как у зайца.

— Заканчивает геологоразведочный, — сказала Варька. — Я рада, что они не пошли по нашей стезе, а выбрали себе настоящие мужские профессии.

«По нашей стезе». Кем же работает Варька, не закончившая институт? Что-то не давало мне спросить об этом. Вдруг Варька ответит: «Директором совхоза», «эстрадной певицей», и я опять ей не поверю.

Шла я от нее, как побитая. Что же это делается: почему мы о других больше, чем о себе, знаем? Точно знаем, кому можно верить, кому нельзя. У кого может быть муж контр-адмирал, а у кого не может. Почему я до сих пор не верю, что тот морячок, что смеялся у Варькиного изголовья на фотографии, ее муж, не говоря уже о том, что стал он контр-адмиралом?

Утром я сказала себе: «Не нагораживай. Варька не могла так измениться, что-то тут не то». В двенадцать часов в вестибюле гостиницы я вдруг повернула к окошку администратора, встала в очередь, уже зная, каков будет ответ: уехала. Предчувствия редко накатывают на меня, а это было даже не предчувствие, а уверенность: Варьки нет. То, что Варькины дети вырастут хорошими людьми, ни у кого не вызывало сомнений. Но вся эта история с мужем-морячком, ставшим контр-адмиралом, — мистика.

— Скажите, в каком номере остановилась Варвара Кирилловна Зуева? — спросила я у администратора.

Она раскрыла журнал и ответила:

— В двести четырнадцатом. Но два часа назад она выписалась.

Вот и всё. Я даже почувствовала, что дышать стало легче, словно сбросила с себя непосильный груз. Варька осталась Варькой. Можно было идти домой, но я все-таки поднялась на шестой этаж, где был двести четырнадцатый номер, и подошла к дежурной по этажу.

— Скажите, Зуева из двести четырнадцатого не оставила письма или записки?

Дежурная протянула мне конверт.

— Она должна была уехать завтра, — сказала, — по приехал муж с младшим сыном, и она сразу сдала номер.

— Муж — контр-адмирал?!

Дежурная пожала плечами:

— Кажется. В черном. Я подумала, что прокурор. А может, адмирал. В этих чинах я не разбираюсь.

В конверте была записка.

«Извини, что так получилось. Жан уезжает раньше намеченного срока, мы едем его провожать, в гостиницу уже не вернемся. Когда выйдет на экраны фильм «Куда же вы, граждане?», сходи. Там я с двумя чемоданами в знакомом тебе пальто буду лезть на крышу вагона. Хорошо, что ты тогда не пошла со мной. А то бы я тебя на эту крышу затащила. Рада была тебя повидать. И помни: это я тебя нашла, а не ты меня. Прощай. Варька».



ЕЩЕ ОДНО ЛЕТО

ПОДРУГА ДЕТСТВА

1

В последнее время Борис варит кофе сам. Я просыпаю, Томка перекладывает, он у нее черный, как деготь, горький и бьет по сердцу. Борис это нам объяснил, прежде чем захватить кофейник. Он закрывает дверь кухни, стоит над плитой, сторожит пенку. Только она поднялась, он ее перекладывает ложкой в чашку, таким же образом во вторую, третью. Пенки в чашках — каймак. Над этим каймаком Борис священнодействует, и все для того, чтобы мы молча, в три глотка прикончили этот трудоемкий странного вкуса напиток.

— Мама, ты заметила, — говорит моя дочь, — что кофе раньше у Борьки был упорно среднего рода, а сейчас — в соответствии с правилами языка?

— Глупое правило, — говорю я. — Кофе должен быть среднего рода, и нечего морочить людям головы. Людям легче говорить «хорошее кофе», а их вынуждают — «хороший». Язык должен быть гибким, идти навстречу желаниям людей.

— Мама выступает от имени народа. — Томка смеется, она любит такие мои заявления. Борис их не воспринимает.

Оба они — Борис и Томка — художники. Только

дочь моя каждое утро поднимается в половине шестого и мчится на электричке за город на свою фабрику, а зять — вольный казак. Работает порой до утра, зато и спит до обеда.

«Два мира — два детства, — говорит по этому поводу Томка. — Один вкалывает, дает план, выпускает продукцию, а другой, видите ли, творит».

«Я, видите ли, — отбивает удар Борис, — тоже даю продукцию. Только ты на всем готовеньком, а мне место найти для работы — проблема».

Он работает за обеденным столом, который стоит в проходной комнате. Скатерть складывается, стол раздвигается, на белом листе ватмана возникает карандашный набросок. Потом в ход идут краски; он полощет кисточку в банке с водой, вода мутнеет, а на листе возникает нечто такое, чего раньше в этом мире не было. Борис не видит меня, стоящую за спиной, не слышит телефонных звонков. В такие минуты я поражаюсь, откуда мой зять знает, как чувствует себя женщина, держащая на коленях аквариум с рыбками, где он видел такую луну, похожую на светящийся круглый вход в черный тоннель? Я читала рассказы, к которым Борька рисовал иллюстрации, и представляла, как будут счастливы авторы, увидев Борькину добавку к своим произведениям. Однажды я сказала ему об этом. Борька поморщился: «Ну, Ольга Андреевна, вы уж совсем». Что «совсем», я не выясняю. В Борькиной интонации слышится: «Уж совсем спятили».

А ведь я любила его. И не один год. Звала Борькой и защищала от Томкиных наскоков. Борька в те времена говорил обо мне своим друзьям: «Один раз в жизни повезло, но крупно». Друзья, неопрятные бородатые мальчишки, приходили и глядели на меня добрыми глазами. Я не вмешивалась в их разговоры, но когда Борька стучался в мою комнату и звал: «Ольга Андреевна, нужна ваша помощь, мы тут заспорили, надо срочно вправить мозги этим тунгусам», я шла. И они верили мне, когда я говорила, что человеку противопоказано знать о своем таланте, так же как и о мастерстве. Как только человек начинает об этом знать, так сразу это и кончается. «Вы же художники, — говорила я, — взгляните в лицо человека, который знает, ни на минуту не забывает, что оно красиво, и увидите, что более отвратительных лиц не бывает». Они соглашались, хотя

то, о чем я говорила, было не бесспорно. Так же, на веру, они принимали мои слова о перегрузках, которые испытываем мы и наши современники: «В каждом веке, дорогие мои, кто-то мчится в ракете, а кто-то тащится на телеге...»

Потом «тунгусы» исчезли из нашего дома. Родился Женька, и нам стало не до гостей. Потом Борьку приняли в Союз художников. Потом был куплен белый, на двадцать четыре персоны, столовый сервиз и к нему — старинное сооружение из комиссионки: горка. Ее поставили в угол, а стол, чтобы не загромождал выставку бездействующей посуды, придвинули к стене. Потом появилась шуба. Из опоссума. Было лето, и Томка вошла в мою комнату в тапочках, с голыми ногами, торчащими из-под этой шубы. Сзади стоял Борька с блестящими, как при высокой температуре, глазами. Томка медленно закружилась передо мной, а Борька, улыбнувшись, произнес: «По улицам слона водили. Как видно, напоказ...»

— Сколько стоит шуба? — спросила я.

Томка с Борькой переглянулись, дочь ответила:

— Побережем твои высокие порывы и нервы, мама.

Я не настаивала: заработали — не украли. Кто-то же создал эту шубу, кому-то и носить ее. Но одно дело что-то знать, понимать, и другое — промолчать. У меня «промолчать» редко получается.

— Хорошая шуба, — сказала я, — но я бы на твоём месте не смогла ее носить.

— Почему? — осторожно спросила Томка.

— Не смогла бы, и все. Что-то есть в этом несправедливое: у одного есть такая шуба, а у другого, ничем не хуже тебя, нет.

— Слушай, — Томкины глаза сузились, — ты случайно не завидуешь?

Я не знала, что ответить на такой подлый вопрос, и Борька помог мне:

— Ну, Ольга Андреевна, вы уж совсем...

На этот раз ему стоило особого труда удержаться, не объяснить мне раз и навсегда, как безобразно и бесповоротно я спятила.

Конечно же я им мешаю. Вдвоем у них была бы в этой квартире другая жизнь. Хуже или лучше нынешней — не знаю, но другая. Но мы — втроем, да еще сын их, мой внук, пятилетний Женька. Один на всех.

Общая любовь, частая причина наших ссор, обид и примирений. Чего-то мы не знали, когда он появился на свет. Томке и ее мужу это простительно, но я-то должна была знать, обязана была вспомнить, что маленький ребенок — это не просто новое человеческое существо, это тяжелый труд, без отпусков и выходных, с бессонными ночами. Крохотный Женька зажег в наших сердцах светлое пламя любви и нежности и вместе с тем повис на шее у каждого обузой. И каждый старался облегчить себе эту ношу за счет другого, каждый считал себя честным тружеником, а двух других халтурщиками, умеющими только агукать и размахивать руками над кроваткой младенца. Надо было на рассвете разок посмотреть на Борьку, как он собирается в молочную кухню, берет двумя пальцами бутылочку с делениями, держит ее возле носа, вглядываясь, чистая ли, потом все так же, двумя пальцами, опускает в сумку, и становилось понятно, что большего унижения для человека не бывает. Он выходил из квартиры, и бутылочки в сумке брякали и звенели, потом, ссутулившись, шел по двору, словно ждал выстрела в грудь или в спину. «Как парламентар из крепости», — сказала однажды Томка. Потом оказалось, что это он так стеснялся. Особенно стыдно ему было перед «тунгусами», которые изредка еще навещали нас. Как-то один из «тунгусов» выдал младенцу комплимент: «Спокойный». На что молодой отец, смущаясь, ответил: «Потому что сухой. А чуть мокрый, орет...»

Постепенно и бутылочки, и пеленки перекочевали в мои руки. Постепенно и незаметно. Но шутка, распеваемая на мотив популярной песни, осталась незабываемой: «Ах, где нам взять такую бабку, на пенсии, без степеней?». Степень у меня одна, научная, докторская, но по песне получалось, что их не меньше десятка. Распевала про бабку на пенсии, без степеней Томка, но всерьез страдал по такой бабке Борис. Именно в то трудное время он приискал себе мастерскую и объявил, что теперь он тоже рабочий человек, жэк будет принимать у него плату за подвал-мастерскую натурой — плакатами, оформлением стендов, красных уголков и так далее. Томка на работе, Борька на работе, а я взяла отпуск на полгода, академический.

Тогда и пошла моя любовь к зятю на убыль. Но окончательно эта звенящая струна лопнула два года

назад, когда Женька, по их словам, «закончил ясли и поступил в детский сад».

Неподалеку от нашего дома два детских сада. Один для нормальных родителей, другой — для чрезмерно занятых, так называемая пятидневка. Борис всем своим существом возгорелся определить сына на пятидневку, причем довод в пользу пятидневки приводил какой-то странный: «Он ближе». И тогда я впервые сказала ему то, чего он уже и не ждал от меня услышать: «Борис, ты разучился или никогда не умел говорить правду?» И объяснила ему, что дело совсем не в том, что сад-пятидневка ближе, а в том, что пять дней в неделю он будет избавлен от жизненных тягот, точнее говоря, от сына.

Борис не нашел в себе мужества сказать: «Вы правы». Он возмутился, и я услышала в конце его оправдательной речи знакомое: «Ну, Ольга Андреевна, вы уж совсем...»

Я добилась, чего хотела, и теперь после работы, чаще всего на такси, подъезжаю к Женькиному детскому саду. Иногда я бунтую, утром оставляю им записку и после работы отправляюсь в кино. Но надолго меня не хватает, я ухожу с половины сеанса...

2

Письмо пришло во вторник. Не письмо — письмишко. Несколько слов, что будет в Москве, негде остановиться. Просила сообщить, можно ли у нас. И подпись: «Кира. Если не забыла — Кирюша».

Томка не забыла. Приблизительно раз в пять лет ее настигала какая-то острая тоска по своему детству: начинала рассылать письма, разыскивать школьных друзей. Уже в десятом классе она разыскала Никиту Колпакова, с которым полгода училась в первом классе, свою первую любовь, как она его называла. Я помню, как этот семилетний Никита пришел к нам и в коридоре в присутствии соседей заявил мне:

— Я вашу Тому очень люблю.

— За что же ты ее так любишь? — спросила я.

Никита прижал ладони к груди, вытянул вперед подбородок и, переполненный восхищением, воскликнул:

— Она у нас в классе самая большая!

Никита был маленький, болезненный, после скарлатины у него осталось осложнение на сердце. Бабушка его нарадоваться не могла, что он так рано влюбился, выбрал себе такую большую, надежную защиту. В середине первого класса он с родителями уехал в Красноярск. Через десять лет Томка его там разыскала. Удивительно, но он не забыл ее. Помнил даже, как в первый школьный день они с Томкой поменялись тетрадками. Тетрадки были надписаны рукой учительницы, и неграмотные Томка и Никита нечаянно ими обменялись. Томка писала палочки в тетрадке Никиты, а он — в Томкиной. Но на завтра тетрадки попали к своим хозяевам, и Томкина пятерка досталась Никите, а его тройка — Томке. Томка захотела вернуть свои палки с пятеркой себе, но Никита вцепился в тетрадь и не отдавал. Томка уступила. Может быть, в тот миг и родилась в сердце маленького Никиты любовь.

Кирюша тоже училась с ними в одном классе. Но мне тогда Томкина дружба с ней не нравилась. Я переживала за Томку. Рядом с Кирюшей у моей дочери всегда был какой-то затравленный, решительный вид, словно кто-то собрался отобрать у нее подружку, и Томка боялась прозевать этот момент. Наша соседка по дому сказала мне как-то вполне серьезно: «Есть дети и дети. Такие, как Кирюша, не должны томиться за партой. Такие дети редкость, они должны просто жить». Я не стала с ней спорить. Кирюша действительно была, как цветок, как маленькая балерина из старинной табакерки. Это видели все, и сама Кирюша ощущала себя подарком, никому персонально не предназначенным. Я не сказала соседке, что так оно и есть, Кирюша просто живет, не особенно томится за партой и портфель не таскает. Толпа одноклассников тянулась за ней после уроков, провожала. Кирюша жила в нашем доме, и со стороны могло показаться, что дети провожают и Томку тоже. Томка с двумя портфелями в руках шагла впереди всех, рядом с Кирюшей.

Я возмущалась: что за раболепие! Ну, красивенькая, необычная, экзотичная, но не на коленях же перед ней ползаты!

— Не смей носить ее портфель! Это некрасиво. Неправильно. Это только мальчикам положено.

Семилетняя Томка сразила меня:

— Она маленькая. Ей тяжело, а мне легко. Я бы и Никите носила, но он живет в другой стороне.

Мне бы благодарить тогда Кирюшу: так, пробуждая жалость, сильного делают добрым. Но я тогда представить не могла, что у Томки есть такая сила. А могла бы: вырвать Кирюшу из толпы поклонников, припилить к себе, слепить из этого «подарка» нечто похожее на подругу — для этого нужна была не просто сила, а выдающиеся бойцовские качества.

Они дружили четыре года. В четвертом классе стали ссориться. Томка говорила взрослым, пугающим меня голосом: «Клянусь, этого человека для меня больше не существует».

Но появлялась на пороге Кирюша, голубые звездочки-глаза лучились миром, и Томка забывала свою клятву.

Однажды я спросила у Кирюши:

— Тебя не обижает Томка?

— Обижает, — не раздумывая, ответила Кирюша.

— Зачем же тогда с ней дружишь?

Кирюша потупилась, ответа у нее не было...

И вот пришло письмо. Кирюша приедет и будет жить у нас. Томка всполошилась:

— Почему все молчат? Если кого-то ее приезд не устраивает, пусть говорит сразу, чтобы потом никаких многозначительных взглядов и вздохов. — Она посмотрела на Бориса.

Тот в ответ произнес целую речь:

— Пусть приезжает. Какая разница. Хоть с Кирюшей, хоть без Кирюши, жизни в этом доме не было и нет. А приедет, может быть, взбодримся, полы будем периодически натирать и белье в прачечную относить вовремя.

Подловил момент, расстрелял обойму.

— Боря, о какой жизни речь? — голос у Томки тихий, предгрозовоый. — И полы какие-то, белье... О чем это?

Зря он так выложился, последний патрон надо беречь.

— Молчу, молчу. Вы рабочие люди, утром поднимаетесь, устремляетесь, а я... Женька! — Он зовет сына: — Иди сюда, парень, внеси ясность, кто есть твой отец.

— Ребенка не впутывай, — шипит Томка. — Сам

объясни, что это значит: не было и нет жизни в этом доме?

— Отстань от него,— это уже я,— человек сказал в досаде то, что сказалось. Не нагораживай.

Томка умолкает, но точит Бориса взглядом, потом глубоко вздыхает и говорит:

— Мы одичали. Подруга детства приезжает. Пять лет назад мы бы ликовали, мы бы...

— ...вибрировали,— подсказывает Борис, но Томка не замечает, что он ищет примирения.

— Мы бы радовались,— говорит она,— а сейчас, как за камень запнулись. Я знаю, почему у вас такие лица. Вам не нравится, что она приезжает. Но запомните: она придет и будет здесь жить столько, сколько пожелает. Запомнили?

— Ольга Андреевна,— говорит Борис,— пусть ваша дочь по случаю приезда подруги сходит и заплатит за квартиру, а то вам опять на работу пришлют исполнительный лист.

Квартира записана на мое имя. Платим мы по очереди, а у Томки с Борисом между собой еще и своя очередь. В прошлом году Томка проштрафилась, потратила деньги, не заплатила вовремя, и мне из жэка пришла на работу бумага с напоминанием. Борис никак не забудет о ней и, чтобы звучало более зловеще, называет «исполнительным листом».

— Можешь и сам сходить заплатить,— говорю ему.— Не чужие, чего уж так считаться?

В эту минуту я не любила их обоих. Взрослые люди, сами родители, а все: мама, мама, Ольга Андреевна... Проблем-то всех с цыплячий хвост, вот и решали бы их сами. Я уйду в свою комнату. Через минуту в дверь скребется Женька.

— Входи, Женечка, входи, моя радость.

Он входит и, считая, что я поссорилась с его родителями, начинает плести против них интригу.

— Сейчас придут. Будут тащить спать. А ты им скажи: «Закройте дверь с той стороны».

— Я же никогда так не говорю, Женья! Это вообще невежливо говорить: закройте дверь с той стороны.

— Тогда надо поставить замок, ты же собиралась.

Тут мне сказать нечего, я не только собираюсь поставить замок на дверях своей комнаты, но под злую руку объявляю Томке и Борису, что вообще поменяю

комнату на какую-нибудь другую, в другом доме. Но это только взрыв. Я не смогу оставить Женьку. Его накормят без меня, наденут чистые штаны и рубашку, вовремя сводят в парикмахерскую, но кто с ним будет разговаривать?

— Которая приедет, кто она? — спрашивает Женька.

Я не поправляю «которую» — по части падежей, ударений в словах у нас в семье на страже Томка.

— Подруга детства твоей мамы.

— А у тебя есть подруга детства?

— Есть.

— А у меня?

— Ну, Женька, ты уж совсем, — говорю я словами его отца. — Кто это лучше тебя может знать, есть ли у тебя такая подруга.

Женька задумывается, потом предлагает:

— Хочешь, моей подругой будешь ты.

— Я твоя бабушка, а подруга детства — это совсем другое.

— Какое?

— Ну, например, подругой детства у тебя вполне может быть Верочка Самойлова. Вы с ней в одной группе и живете в одном доме. Между прочим, она не просто знает буквы, как ты, а уже читает.

Женька морщится, Верочка Самойлова явно не годится в подруги детства.

— Как же она тогда ко мне приедет? — спрашивает он.

Этого вопроса я не понимаю.

— Как она приедет, — кричит Женька, — если мы с ней живем в одном доме?

Не всегда у нас такие бестолковые разговоры, случаются и умные, и даже возвышенные. Входит Томка. Прислонясь к косяку, какое-то время слушает, потом говорит:

— Конечно, на таких контрастах мать ребенка будет выглядеть ведьмой на помеле. Мать его сейчас погонит в ванную, потом спать, а бабушка со своими поздними разговорами — сладкоголосая нимфа, подруга детства.

Женька сползает с тахты, смотрит снизу вверх на мать.

— Хочешь, я сам умоюсь и лягу спать?

Томка на несколько секунд теряет дар речи, потом

с подозрением смотрит на меня, не я ли подучила, потом говорит:

— Иди.

Она садится рядом со мной, кладет руку мне на спину и прижимается щекой к моему плечу:

— Ты меня любишь?

— Очень.

— А кого больше, Женьку или меня?

— Стыдно, даже грешно задавать такие вопросы.

— Тогда признайся, что меня в детстве так не любила, как Женьку.

Она болтает, но обе мы помним, что в детстве ей не досталось столько тепла от меня, сколько Женьке.

— А ты со мной дружишь?— спрашивает Томка.

— Когда-то очень хотела. Но, видимо, мать и дочь должны быть очень одинокими, чтобы по-настоящему дружить.

Томка глядит на меня с сочувствием, и вдруг в глазах вспыхивает что-то разбойное.

— Слушай! Выходи-ка замуж. Подыщи себе господина, серьезного, аккуратного, богатого и окрути его.

— Зачем богатого?

— Ну...— Томка мнетя.— Купили бы дачу, машину, путешествовали бы. Не спать же тебе с ним.

Когда она вот так переступает черту, я срываюсь.

— Давай шагай отсюда,— кричу,— дружить с тобой будем, когда мне стукнет семьдесят, а тебе пятьдесят.

Томка уже в дверях, оттуда доносится ее испуганный голос:

— Кошмар и ужас! Это же мы будем с тобой почти ровесницы!

3

Встречал Кириюшу Борис. В письме не был указан вагон, и Борис по этому поводу поскрежетал зубами. Но деваться было некуда: я на работе, Томка на работе, и он с букетиком ландышей, который накануне принесла Томка, отправился на вокзал. Я предчувствовала, что эти ландыши не попадут в руки Кириюши, уж очень кротко отреагировал на них Борис: «Само собой. Без цветочков совсем не то». Так и случилось.

— Ольга Андреевна, — услышала я его голос в телефонной трубке, — букетик куда-то задевался.

— Какой букетик?

На работе я их никогда не вспоминаю, их просто нет — внука, Томки и Бориса. И когда изредка их голоса возникают в телефонной трубке, я не сразу узнаю, кто это, отвечаю невпопад, чем веселю посетителей или собравшихся на совещание сотрудников.

Мой кабинет находится в подвальной части архива. Заставлен шкапами, полками, разномастной списанной мебелью. Кроме этой постоянной рухляди в кабинете то и дело появляется какое-нибудь зажившееся на этом свете рукотворное изделие, именуемое в книге описи «экспонат». Благородные старые люди, перепутав архив с музеем, то завещают, то доставляют самолично что-нибудь старинное: часы, шкатулку с шелковым нутром, побитым молю, а месяца два назад в моем кабинете появился муляж доисторического человека, изделие двадцатых годов нашего столетия. Рядом с ним в прозрачном пластмассовом кубе красуются белые, с загнутыми носами, восточные тапочки. Так что поводы для улыбок и самых неожиданных комментариев не иссякают.

— Ландыши для Кирюши куда-то подевались, — пояснил Борис. — Кстати, она сама куда-то запропастилась. В очереди на такси ее нет.

— Что за очередь на такси?

— Ну, вы уж совсем. Поезд пришел, я, как заяц, мотаюсь из одного конца состава в другой, и никакой Кирюши.

— Что от меня требуется? Превратиться в серого волка, чтобы ты резвей носился по платформе?

Вошедший во время разговора младший научный сотрудник Сережкин хихикнул.

— Желаю удачи, Борис.

Но они взялись за меня основательно. Через час поввонила Томка:

— Все головы потеряли, а ты, как всегда, ни при чем. Она не появилась. Женьку забрали из детского сада, сидит дома, чтобы было кому открыть дверь. Борька опять поехал на вокзал. У меня только что закончился худсовет. Мама, забеги на базар, купи груш.

— Каких груш? На дворе середина мая.

— Ну, мама...

Я повесила трубку.

Возмущению моему не было предела. И еще этот доисторический человек на своих полусогнутых. Я набрала номер хозяйственного отдела:

— Эта свалка в моем кабинете когда-нибудь кончится?

Вот и с детьми бы так всегда — решительно и строго. Не прошло и минуты, как открылась дверь и сам заведующий АХО, добрейший Никифор Петрович, взвалил на себя неандертальца и вынес из кабинета. Я закрыла за ними дверь. Восточные тапочки в прозрачном кубе, лишившись соседства с босоногим пращуром, потеряли всякий смысл и стали выглядеть идиотски.

Я надевала плащ, когда опять позвонила Томка:

— Она есть! Появилась! Не задерживайся.

— А груши? В них уже отпала необходимость?

— Можно подумать, что ты бы пошла за этими грушами.

Возле рынка продавали сирень. Я знала, что подзавядшие грозди способны отойти в воде, если листья крепки, не завяли. Но у этих букетов и листья повисли, как тряпки, и я прошла мимо них в прохладный, пустынный перед закрытием павильон, где на столиках кое-где лежала зелень и прошлогодние подсохшие, потерявшие свой бурачный цвет гранаты. Купила две увядшие бородки укропа и направилась к выходу. И тут меня окликнул женский голос:

— Ольга Андреевна, не узнаете?

Женщина моих лет, может быть, немного помоложе, смотрела на меня с любовью. В руке у нее была сирень, держала она ее, как веник, цветами вниз.

— Забыли. Я была у вас в прошлом году. Я мама Кати Новгородцевой.

Теперь я вспомнила. И ее, и то событие, которое взбудоражило коллектив нашего архива.

Катя Новгородцева, молоденькая девушка, недавняя десятиклассница, была принята на работу временно, на два месяца. Работая на системной описи партизанского архива одной из областей Белоруссии, эта Катя вдруг натолкнулась на фамилию своего отчима. В тот же день она принесла мне заявление, в котором просила «расследовать преступную деятельность гражданина Чеснокова, который, как подтверждает документ, был карателем». Я сразу увидела, что у этой девочки тяжелые

отношения с отчимом, без сомнения ухватила она за версию, что он предатель. Мы быстро установили, что Катин отчим ничего общего со своим однофамильцем не имеет. Коллектив был взбудоражен: какая жестокость, как она могла, это не должно ей пройти даром. И тогда ко мне пришла эта женщина. Потом пришел и ее муж: «Я сам во многом виноват, сторонился ее, ничего она обо мне не знает. Вы уж не судите ее строго». За всеми этими разбирательствами и разговорами мы проморгали, не зафиксировали приказом окончание срока Катинной временной работы, и она осталась у нас навсегда. Осенью поступила на заочное отделение исторического факультета, а зимой, мне сообщили, вышла замуж.

И вот стоит передо мной ее мама, рыженькая, маленькая, и светится радостью, глядя на меня.

— Хотела вам к Восьмому марта цветов принести, — она с сомнением смотрит на завядший букет в руке, — но знаете, как бывает: то одно, то другое, закрутишься и забудешь.

Она вдруг избавляется от букета, он летит под ноги мужчине, тот останавливается как вкопанный и вопросительно смотрит на нас. Но Катина мама этого не видит.

— Ольга Андреевна, — говорит она, — давайте попростому, по-женски, без официальностей. Юбки я хорошо шью. Давайте сошью вам.

Юбка мне нужна. Какой женщине не нужна хорошо сшитая юбка? Но, увы, не носить ее мне. Невозможное дело носить юбку, сшитую из благодарности.

— Спасибо, — отвечаю, — чего-чего, а юбок хватает. Вы лучше скажите, довольны своим зятем?

— О-о-о, — Катина мама от избытка чувств закрывает глаза. — Такой попался малый, такой хороший, таких теперь уже нет. Не пьет, не курит, днем работает, вечером учится и Катю учиться заставляет. Чувствую, что при нем она у вас в архиве не засидится.

Не желая того, она проговаривается, что в архиве не только хранится прошлое, но и сами люди, работающие в нем, как бы без будущего. Я не стала ее просвещать, что на материалах нашего архива пишутся диссертации, что мы не просто хранилище, а научно-исследовательский центр. Катина мама была такая земная, из сегодняшней жизни, а ее желание отблагодарить юбкой — такое человеческое, что я поддакнула ей:

— Ну и правильно, что не засидится. Это большое счастье, когда дочь не только любит своего мужа, но и устремляется вслед за ним к достойной цели. → Слова прозвучали немного выпрепно, но они были именно те, что надо. Катина мама зарделась, словно похвалили ее.

Мы расстались. Катина мама ушла, а я стала ждать такси и вдруг поняла, что букет, лежавший сейчас в пыли на асфальте, она купила мне. Надо было поднять его, но не могла, поняла, что мне некуда идти с этим букетом. Сегодня в нашем доме все цветы — Кирюше, и с чего это я принесу такой завядший, несчастливый букет... Это не мой праздник. Никогда я не любила эту Кирюшу, да и замучили меня Томка с Борисом, готовясь к ее приезду. Полы натерли, картины под стенам развесили. Хорошие картины, побывавшие на выставках. Но многих картин уже нет, проданы. Вместо них — шуба, магнитофон, книги от букиниста. Хорошие книги. Не ради интёрьера. Они их смотрят, читают. Ну и нечего нагораживать.

Перевернула она что-то во мне, Катина мама. «Такой попался малый, такой хороший, таких теперь нет». А Томке моей — каких теперь много?

4

Когда я увидела Кирюшу, сердце мое, натруженное болью по Томке и Борису, сделало новый рывок. Это же Кирюша, самая красивая девочка в классе, маленькая балерина из старинной табакерки. И если мой зять в восхищении чрезмерно засверкает глазами, то за ревнивой Томкой скандал не задержится. А нам только этого не хватало — маленькой семейной драмы. На большую Борис не способен. За годы, прожитые с ними вместе, я уже хорошо знала своего зятя: Томку он ни на кого не променяет. Слишком много вложено в книжные шкафы, в горку из комиссионки, чтобы от них оторваться или довольствоваться половиной.

Они меня уже, похоже, не ждали: вино выпито, стол разгромлен. У Бориса сияют глаза, и Томка глядит на Кирюшу, искрясь радостью, и Женька не составил исключения.

— Кирюша, — закричала Томка, когда я вошла, — повтори маме, как к тебе сватался проводник в вагоне.

Женька влез ко мне на колени, чего давно уже себе не позволял, шепнул на ухо: «Такая веселая». Это относилось к Кирюше.

Она осталась такой, как и была, и рядом с ней моя Томка сразу стала нескладной, некрасивой. А у Кирюши головка по-прежнему, как пасхальное яичко: черная челочка, ровные дужки бровей и ярко-синие узкие глаза. Потом, когда я к ней пригляделась, когда она уже подустала в застолье, то увидела и темные впадинки под глазами, и какой-то размытый, не красивший ее подбородок, но вначале она мне показалась той же девочкой, которой не коснулось время.

— Я не умею повторять,— ответила Кирюша на Томкину просьбу,— когда повторяю, всегда получается новая история.

Она рассказала другой случай, как однажды подошел к ней на улице мужчина, назвался режиссером и предложил сниматься в кино. Потом оказалось, что он официант из ресторана.

Это был веселый рассказ, в котором Кирюша не щадила себя. Томка заливалась смехом. Женька сполз с моих коленей, подошел к Кирюше:

— Ты будешь у нас всегда жить?

Он уже давно не говорил взрослым «ты», видимо, Кирюша не была в его глазах взрослой.

— Он похож на тебя, Томка,— сказала Кирюша.— Тебе в детстве тоже все надо было навсегда. Если б вы только знали, как она меня мучила! В третьем классе брала у меня письменные расписки, что буду делать уроки, дружить до самой смерти только с ней. А однажды заставила меня в автобусе опустить в кассу рубль. Потому что до этого, видите ли, я часто ездила без билета.

— А что за неволя тебе была с ней дружить?— спросил Борис. Это был и мой вопрос, еще с тех, детских их лет.

— Понятия не имею,— ответила Кирюша,— это же Томка. Ольга Андреевна, вы ведь тоже были тогда у нее под каблуком.

— Ты что-то преувеличиваешь, Кирюша,— сказала я.— Просто жили мы с Томкой вдвоем, и она была довольно самостоятельная.

— Я хочу с тобой жить вдвоем,— Женька все еще стоял возле Кирюши.

— Готов! — Томка засмеялась. — Готов бросить родителей, родную бабушку и носить твой портфель.

Мы мешали Женьке, я видела, как прицепился он к ней взглядом и как мы не даем ему завладеть Кирюшей. Когда он подошел ко мне, я погладила его голову и успокоила:

— Кирюша будет жить у нас долго. Она приехала не навсегда, но надолго.

Женька встал на цыпочки, дотянулся до моего уха:

— Когда ты еще не приходила, она сказала про меня: «Какой симпатяга».

Можно подумать, что до Кирюши он ничего подобного о себе не слышал.

Это был субботний вечер, Женьку никто не гнал спать, и он, перемогая усталость, моргал и встряхивал головой, отгоняя сон. Но силы были неравные, Женька сполз со стула и уснул на полу. Когда я его раздевала, он вдруг открыл глаза и сказал громко и отчетливо: «Надо прописать. Без прописки она уедет». На секунду мне стало страшно: пятилетний человек знает, как оставить в квартире другого — навсегда, знает слово «прописка». Я забыла, что в Женькиной голове много знаний, он ходит в детский сад, гуляет во дворе, много слышит, обучается.

Напрасно я боялась, Борис смотрел на Кирюшу уже без восхищения, устал. К тому же она не оправдала его надежд, без всякого почтения глядела на книги, которые он вытаскивал из шкафов, про Томкины картины сказала: «Я в этом ничего не понимаю». Они могли бы разбудить ее интерес и даже зависть шубой или индийским ожерельем из бледно-сиреневых аметистов, но хватило ума, не стали. На Кирюше было много украшений: на пальцах — дешевые колечки, на груди хомут из бус, цепочек и еще на кожаной веревочке висела деревянная головка какого-то идола. Все эти побрякушки не делали Кирюшу жалкой, они словно проявляли в ней то, что было запрятано — детскую сущность.

Утром она ушла из дома, когда все спали, оставив после себя крепкий запах духов. Борис потянул носом, и я увидела его взгляд, обращенный на Томку. Он мог ничего не говорить, все уже и так поняли: Кирюша совершила диверсию, вскрыла французский флакон, подаренный Борисом жене на Восьмое марта.

— Ну и что?— Томка тоже поняла его взгляд.

— Ничего,— Борис уже глядел на меня.

— Я ей вообще отдам эти духи,— Томка накаляется.— Стоят два года, как замурованная египетская пирамида. Двадцать пар чулок можно было купить на эти деньги.

— У тебя нет чулок?— голос Бориса звучит с издевкой.— И как это «я ей отдам духи»? Они ведь уже подарены.

Мне бы уйти, но я, как всегда, не ухожу.

— Подарил и забудь. А то, как жена чертежника, та самая: «Я твоей матери тальму подарила, шелковую тальму со стеклярусом». Подарил и забудь, не хвастай.

Жена чертежника, как и тальма со стеклярусом, сбивает с толку Бориса. Он что-то припоминает, во всяком случае догадывается, что слова эти из какой-то книжной классики и направлены против него.

— Ольга Андреевна, я ведь ничего не сказал.— И Томке:— Можешь подарить ей все.

Воскресный день обещает быть жарким. Борис открывает дверь на балкон, стоит возле этой двери и дышит чистым воздухом, не отравленным запахом французских духов. А Томка, подстегнутая ссорой, которая случилась как бы сама собой, от одного взгляда Бориса, обращается ко мне:

— Мама, а где то платье, которое ты привезла из Витебска, помнишь, такое вязаное, с «молнией», оно мне еще оказалось мало?

Эту тяжелую сцену разряжает Женька. Он выходит из комнаты в длинной ночной рубашке, лохматый, сосредоточенный, и смотрит по сторонам. Потом идет на кухню, оттуда в ванную, потом стоит у туалета, не решаясь открыть дверь.

— Не ищи,— говорю ему.— Она ушла по своим делам. Ушла и вернется.

Кирюша возвращается после обеда. На ней белая гарусная Томкина кофта и белые Томкины сапоги. Хорошо, что нет Бориса, они с Томкой помирились, пошли в кино. Может быть, Томка заметила отсутствие сапог в коридоре и увела Бориса? А Женька проворонил Кирюшу, пошел во двор встречать и отвлекся.

— А где все?— спрашивает Кирюша. Она снимает кофту, складывает ее. Потом садится на стул и стаскивает сапоги, рассматривает их по очереди, плюет на

палец и стирает пятнышко.— У меня не было выхода,— говорит она,— забыла вчера договориться с Томкой. Она не рассердилась?

— Она не заметила,— отвечаю.— Давай все положим на место и будем обедать.

За столом она спрашивает:

— У вас хорошая зарплата? Сколько вы получаете?

— Триста рублей.

— Если бы я столько получала,— говорит Кирюша,— у меня было бы все.

— Что все?

— Дубленка. Такие, как у Томки, белые летние сапоги. И духи «Черная магия».

Я не знаю, что ей на это сказать. Лет десять назад я твердо знала, что не в дубленке и не в белых сапогах счастье. Но Кирюша и не говорит, что была бы счастлива, она говорит: у меня было бы все. Не так уж много, но недостижимо для таких, как Кирюша.

— Я ходила сегодня на свиданье к одному человеку,— говорит Кирюша.— Как меняются люди.

— Он знал, что ты приедешь?

— Нет. Я ведь сама не знала. У вас здесь можно устроиться на работу? Мне некуда ехать.

Кажется, сбывается Женькина мечта, она приехала сюда павсегда.

— Кирюша, давай по порядку. Что это за человек, к которому ты приехала? Где ты и кем работала до этого? Почему тебе некуда возвращаться?

Личико у нее отрешенное, потерянное. В белой кофте и сапогах, когда она явилась, и то было в ней что-то неустойчивое, невзрослое, а сейчас со своими выпирающими из широкого выреза ключицами, с хомутиком украшений на голой тоненькой шейке, она и вовсе ни дитя, ни женщина. Ей двадцать семь, столько, сколько и Томке.

— Этот человек поэт,— отвечает Кирюша.— Мы познакомились прошлым летом. Обещал приехать на Новый год и не приехал.

— Он звал тебя приехать к себе?

— Нет. Он просто исчез, даже писем не писал. И приезжал не ко мне, а в интернат. Я там работала воспитательницей. Потом появился новый директор и перевел меня на кухню. А я не захотела на кухне.

— Сколько ты там проработала?

— Шесть лет. Все возмущались, все были за меня, тогда этот директор напустил на меня ревизора.

— Какого ревизора? При чем тут ревизор?

— Взносы я собирала профсоюзные. А ревизор, если б вы его только видели, уши перпендикулярно к голове, туфли за одиннадцать рублей и курит сигару, взял и в меня влюбился. Я уехала, а они там думают, что я за него замуж вышла. — Кирюша смеется, вспоминая ревизора, потом опять на лице отрешенность, и она, вздыхая, говорит: — Меня очень любят дети. Даже не знаю, за что.

Я тоже не знаю, за что, но это так, доказательство тому — Женька.

5

Борис уже не бросает в мою и Томкину сторону вопросительных взглядов, терпит. Когда-нибудь же она уедет. А я привыкла к Кирюше. Она сняла с меня часть домашних забот и целиком Женьку. Собирает его в детский сад, приводит оттуда, вечером они сидят у телевизора и дважды — сначала по четвертой, потом по второй программе — смотрят вечернюю сказку для малышей. Перед сном внук приходит ко мне и выкладывает новости. Все они про Кирюшу. Он уже не влюблен в нее, как в первые дни, они часто ссорятся и даже дерутся. В Женькиных рассказах пробиваются предательские нотки, но по-прежнему он говорит только о ней:

— Знаешь, что она сегодня сделала? Взяла губную помаду и еще такую синюю помаду для глаз и красным и синим покрасила себе лицо. — Он смотрит на меня, ожидая негодования, но я спокойна, и Женьке кажется, что я не поняла. — И лоб, и щеки — все это у нее красное и синее. И спрашивает меня: тебе смешно или страшно?

— И что ты ей ответил?

— Я сказал, что она, как обезьяна из зоопарка.

— А она что?

— Ничего. Пошла и умылась.

Он ничего такого не рассказывает ни отцу, ни матери, чувствует, наверное, их отношение к Кирюше, особенно отца. В один из вечеров пришел ко мне угрюмый, со сведенными бровями, посидел, посопел и изрек:

— Они ее будут женить.

— Кирюшу? На ком?

— На Чудакове.

Чудаков был один из «тунгусов», бородатый застенчивый парень, похожий на священника. Мне сразу не понравилась эта затея, но Женьке об этом я сказать не могла.

— Они разве знакомы, Чудаков и Кирюша?

Женька пожал плечами: какая разница?

— Их познакомят и поженят. Тогда она переедет к нему.

— Будешь ходить к ней в гости, — сказала я, чтобы что-нибудь сказать, но Женька взвился:

— Как я буду ходить? Я же в детском саду! Кто меня к ней поведет? — и заплакал.

— Ну, вот, ревешь, а сам с ней ссоришься, даже бил.

— Бил, да? Это она сама первая схватила меня за шкуру на шее, еще синяк остался!

Логики у этой привязанности не было никакой.

Сватовство проходило в мое отсутствие, и ничего из него не получилось. Томка заранее предупредила Кирюшу, что Чудаков жених, и та оцетинилась. Обо всем этом мне рассказала Томка.

— Она застряла в детстве, какая-то недоразвитая. Знаешь, как ее зовет Борька? Вольерная.

— И ты ему позволяешь?

— А что мне делать? Она живет у нас скоро два месяца, и конца этому не видно. Борька говорит, что ее могут привлечь к ответственности за тунеядство. И нас тоже, за укрывательство.

— Страшное дело, — сказала я, загрустив по прежней Томке, которая умела дружить. — А кто-то, помнится, говорил: «Она приедет и будет жить здесь столько, сколько пожелает».

— Но ведь не бесконечно же. Пришел Чудаков, заинтересовался, а она — принцесса на горошине — даже не смотрит в его сторону. А когда он ушел, говорит: «У него нет лица, только борода, усы и брови. Лучшие бы все это росло у него на голове».

Я вспомнила лысину на макушке Чудакова и сказала:

— Наверное, он и сам бы от этого не отказался.

— Мама, я серьезно. Что с ней делать? Борька, как вулкан перед извержением.

— Но ведь это не к нему, а к тебе приехала подруга детства. Ты должна извергать на нее свою любовь и защиту.

— С тобой невозможно, — Томка глядит мимо меня, в глазах зреет какое-то решение. — Можно я скажу ему, что Кирюша гостит у тебя? Пусть он со всеми претензиями — к тебе?

— Нет уж, избавь. Это твой муж, и разбирайся с ним сама. Кстати, я нашла то платье, вязаное, с «молнией». Ты хотела его подарить Кирюше.

Томка опустила голову, поежилась:

— Отдай ей, только не при Борьке.

После этого разговора Томка стала сторониться меня. Борис встречал ее после работы, они где-то бывали, приходили поздно. Борис варил на кухне кофе и уносил в свою комнату. А мы с Кирюшей ставили чайник на стол в проходной комнате и, понимая, что представляем собой отдельный враждебный лагерь, напоминали им о себе дурацкими выкриками.

— За ваше здоровье, — говорила Кирюша и протягивала ко мне чашку с чаем. Мы чокались, я отвечала:

— За верных друзей, за дружбу! — И мы тяжело, невесело смеялись.

На большее нас не хватало. Мы уходили с Кирюшей в мою комнату, опускались на тахту, и она глядела на меня с недоумением:

— Вы действительно за меня? Но она же ваша родная дочь.

У меня не хватало мужества спросить у Кирюши, что она думает о своем будущем. Как бы безобразно ни вели себя Томка с Борисом, жить вот так, как сейчас, Кирюша не могла бесконечно.

Теперь по ночам Борис работал в проходной комнате, и Кирюша спала в моей, на раскладушке. Перед сном мы подолгу разговаривали. Она рассказывала об интернате так, как рассказывала бы о нем девочка-школьница, а не взрослый человек, работавший в этом детском учреждении: про пожар в кладовой, про собаку Белку, у которой щенки появлялись зимой, и надо было этих щенков охранять и прятать, а потом пристраивать в деревне, потому что при интернате могла жить только одна собака. Я как-то спросила, красивый ли тот поэт, к которому она ходила на свидание.

— Урод.

— Но он же тебе нравился?

— Ни капельки. Я позвонила ему, а он говорит: «Я очень виноват перед вами, Николай Николаевич, рецензия у меня готова, в двенадцать часов привезу в Центральный Дом литераторов».

— И ты пошла туда к двенадцати часам?

— Пришла, а он уже там стоит. И такси рядом стоит, ждет. Сели мы в такси и поехали в парк. И там он перестал меня бояться. Я была в Томкиной белой кофте и в белых сапогах, и он сказал, что я похожа на пеликана, который пещком пришел из Африки. А я ему сказала, что он похож на моржа, которого запихнули в костюм.

Слушая ее, нельзя было не улыбаться, хотя в ее наивной болтовне чувствовалась ущербность.

— Потом он дал мне двадцать рублей, и мы расстались.

— И ты взяла?

— Он предложил пообедать в ресторане и посмотрел на часы. Тогда я ему говорю: «Вам же некогда. Я могу и одна пообедать». Он обрадовался, достал две десятки и дал мне.

Я уже не улыбалась, и язык не поворачивался объяснить Кириюше, что брать деньги таким вот образом безнравственно. А называть ее Николаем Николаевичем нравственно? Когда-то соседка сказала мне о маленькой Кириюше, что такие дети не должны мучиться за партами, они должны просто жить. Но невозможно *просто* жить в этом мире. У каждого возраста — своя парта, свои учебники и учителя. Кириюша в этой школе была девочкой без парты и портфеля.

Однажды она сказала:

— Томка любит Бориса, и это ее погубило.

Ее слова напугали меня.

— Она любит не только Бориса, но и свою работу, и сына. Она, наверное, счастлива. Конечно, она изменилась. Человек не может сидеть в детстве всю жизнь.

— И муж, и сын, и картины — это все у нее, как чужое, — стояла на своем Кириюша. — Она позавчера разбила чашку, собрала осколки в бумажку и унесла в сумке, чтобы не увидел Борис.

Она расстроила меня, хотя я тут же нашла Томке оправдание: она добрая, а Борис скуповатый, вот и не захотела она его этими осколками огорчать.

Об отчине своем и матери Кирюша вспомнила лишь один раз. Оба уже на пенсии и теперь ей не помогают, в последний раз она их видела три года назад.

— Ты уже в таком возрасте, Кирюша, — сказала я, — что сама должна помогать родителям.

Она не приняла упрек, ответила коротко:

— У них все есть.

А у нее ничего не было. И я ломала голову, что с ней делать? Устроить на работу? Но на какую? К тому же, как сказал мой внук, нужна прописка. Томка и Борис умыли руки, отстранились от своей гостьи, и теперь она стала как бы моей подругой, требующей любви и защиты. Но защитить я ее не сумела.

6

Повестка пришла мне на работу. Сначала мне показалось, что это тот самый «исполнительный лист», которым угрожал Борис. Томка не заплатила за квартиру, и, как уже было, мне на работу пришло напоминание. Но потом я вчиталась и поняла, что меня вызывают в наше районное отделение милиции. Это был не вызов, а приглашение, «приглашаем вас явиться...». Кто сочинял этот текст, добился своей цели: вежливость сочеталась с приказом. Я не стала звонить в отделение, а сразу вызвала такси и поехала. Сердце стучало, я уже знала, что разговор пойдет о Кирюше.

Молодой лейтенант, бросив на меня умный, внимательный взгляд, видимо, сразу определил, что пугать меня незачем, а воспитывать поздно. Четко и бесстрастно он изложил, что в квартире, в которой я являюсь ответственным квартиросъемщиком, уже третий месяц проживает непрописанное лицо. Я кивнула, подтверждая его слова.

— А вам известно, кто она такая и откуда приехала? — спросил лейтенант.

— Известно. Она подруга детства моей дочери.

— А то, что она совершила хищение в коллективе, в котором работала, вам тоже известно?

Странным образом «хищение» успокоило меня. Значит, Борис к этому не имеет отношения. Я больше всего боялась, что интерес милиции к Кирюше вызван его стараниями.

— Нет, об этом мне неизвестно.

— Очень плохо. Надо знать людей, которых поселяете в своей квартире.

Я знала Кирюшу. А с таким вот мальчиком в лейтенантских погонах мне сталкиваться не приходилось. Тоже чей-то сын. И может быть, женат. И наверняка у него есть тоже друг детства. Но вывести разговор из официального русла не было возможности, и я строго спросила:

— Велико ли хищение и какого рода?

Он ответил в тон мне, строго и отчужденно:

— Невелико. И не в нем суть. А в том, что она уехала, никому ничего не сказав. Был объявлен всесоюзный розыск. Ее разыскивали по графе «пропавшая без вести», то есть предполагалось, что ее нет в живых. Теперь вам понятно, почему надо было поставить в известность милицию о ее проживании у вас?

Я кивнула, но ему этого было мало.

— Сотни людей по вашей милости в разных концах страны занимались этим бесплодным делом. — Он добавил, что в коридоре есть стол, шариковая ручка, а бумагу я могу взять из стопки на его столе.

Протянув руку за бумагой, я увидела на его груди ромб юридического института. Он был прав, и все-таки обида накрыла меня. Не отрывая взгляда от ромба, я подумала: «Учили бы вас там еще великодушию. Это неправильно, что старуха (впервые я себя назвала этим словом) уходит из твоего кабинета на чугунных ногах».

Когда я писала объяснение, мимо меня к дверям кабинета прошла Кирюша.

Домой мы возвращались вместе. Она шла, откинув назад голову, слезы скатывались со щек на шею, я впервые увидела, что это такое — слезы ручьем. Говорить она не могла, и мы молчали. У подъезда нашего дома она повернулась ко мне, обхватила руками и прижалась лицом к груди.

Ни Бориса, ни Томки, ни Женьки дома не было. В стеклянной баночке с закручивающейся крышкой стоял на холодильнике намолотый Борисом кофе. Ровно на двоих. И нас с Кирюшей двое. Я опрокинула содержимое банки в кофейник, поставила на огонь, конечно, упустила, и Кирюша, услышав мои чертыхания, прибежала и замерла в удивлении.

— Ой, Ольга Андреевна! Представляете лицо Бориса, когда он увидит, что банка пустая?

Мы вытерли плиту и сели за стол, Кирюша сказала:

— У них в комнате есть еще песочный торт. Я утром отрезала кусочек. Сейчас пойду и еще отрежу,— она вытянула два пальца,— вот таких два кусочка.

Эту Кирюшу никому не исправить, от нее можно только избавиться, выслать по месту жительства или убить. Или оберегать, любить, разыскивать по всей стране. Мы все знаем, как надо жить, пусть уж будет одна незнающая, такая вот Кирюша.

— Ну, рассказывай, что ты там похитила?

— Ничего.— Она глядела на меня чистыми глазами.— Я вам рассказывала, это тот ревизор, что влюбился в меня, насчитал недостачу в сорок восемь рублей? Это даже не настоящие рубли, а профсоюзные марки. Ну, зачем мне эти марки? Зачем мне их присваивать? Куда-то подевались.

— Кирюша, как же ты могла уехать, никому ничего не сказав, они же там с ума сходили от волнения.

— И директор?

— Он, наверное, больше всех.

Кирюша сузила глаза, задумалась.

— Нет. Вы его не знаете. Он мечтал от меня избавиться. На кухню перевел, я вам рассказывала. А за что? Пришел, а я ребят гипнотизирую.

— Что значит «гипнотизирую»?

— Игра такая. Я с одним мальчиком договорилась, что он поддается моему гипнозу, собрались в пионерской, я его «усыпила», все верят, а тут директор. Я говорю: «Кругом лес, из-за кустов малинника появляется медведь, но ты сильный, храбрый, ты не боишься медведя, смело идешь на него...» У него глаза закрыты, он вытянул вперед руки и пошел на директора.— Кирюша увлеклась воспоминаниями, щеки порозовели, глаза блестят.

— Кирюша, сотни людей по всей стране разыскивают тебя.

— А тот, кто нашел, получил выговор. Этот лейтенант такой миляга, до сих пор думает, что я уехала из-за этих сорока восьми рублей. Сказал: «Теперь поняла, что лучше иметь сто рублей, чем сто друзей?»

— Чего же ты тогда так плакала?

— Жалко его стало. Он в академию собирался, а тут этот выговор. И еще он сказал: «Вот попадетс

кому-нибудь такая в жены и будет бегать, как бездомная кошка».

— У всех все есть, Кирюша,— отвечаю ей,— а когда у тебя что-нибудь будет?

Она понимает мой вопрос слишком конкретно.

— Во всяком случае, если бы у меня была такая шуба, как у Томки, она бы давно уже была старая, я бы ее давно сносила.

7

Уезжала Кирюша в понедельник. Мы приехали на вокзал за час до отхода поезда, зашли в ресторан и пообедали.

— Обязательно напиши мне письмо, как приедешь. И не обижайся на Томку. Она умела дружить в детстве, а теперь разучилась.

— Она и в детстве не умела,— ответала Кирюша,— она только командовала. А теперь ею командует Боряка.

— Когда любишь, этого не замечаешь.

— А я замечала,— говорит Кирюша.— Я ведь не дружила с Томкой в детстве, я ее просто любила.

Грешно так говорить, но гора с плеч свалилась, когда она уехала. Томка тайком от мужа купила чемодан, и у Кирюши, хоть не все, как ей мечталось, но кое-что из вещей появилось. Это согрело Томкино сердце, она была уверена, что Кирюше больше ничего и не надо. Кирюша не могла у нас жить бесконечно, я не имела права укрывать ее не только от закона, но даже и от ее жизненной растраты, которую она совершает постоянно. Невозможно просто жить на этом свете, даже если есть у тебя добрые друзья, согласные поить и кормить.

Но ощущение беды, не только той, что случилась с Кирюшей, но и другой, непонятной, не проходило. У меня не было на свете такой подруги, к которой бы я могла уехать навсегда. У меня навсегда Томка и все, что с нею.

В доме, когда я вернулась с вокзала, были открыты окна и горел электрический свет. Борис варил на кухне кофе. Женька сидел в углу, размалевывал цветными карандашами картинку в старом журнале. Томка вскинула на меня глаза, измученные, без всякого выражения:

— Будешь пить кофе?

— Буду.

Борис принес чашки. Пенка-каймак переливалась радужными пузырьками. Зять мой держался уверенно, хотя и чувствовалось в нем ожидание. Приготовился пережить тягостные минуты. На этот раз он не поспутился, кофе был крепкий. Он протянул мне чашку и подстегнул взглядом: «Ну, уж не тяните, выкладывайте». И я не стала тянуть.

— У меня тоже, Борис, была подруга детства. Я говорю о твоей жене. Возле нее всегда был хоровод людей, а тот, кто не глядел в ее сторону, платился за это. Она поворачивала его лицом к себе с таким хрустом, что он уже не мог развернуться ни в какую другую сторону. Но вот появился ты, спокойный, непьющий, любящий, и объяснил Томке, что никто ей не нужен.

Борису полегчало, он, видимо, ждал, что разговор пойдет о Кирюше.

— Далась вам эта шуба. Вы, Ольга Андреевна, на работе — в архиве, и дома, как в архиве. А между тем на дворе давно совсем другой день.

— День не трогай, день все тот же. Ты лучше скажи, почему шуба в шкафу новенькая, и духи, которые ты подарил ей на Восьмое марта, не открывались два года?

Борис прикидывается непонимающим:

— Вы хотите, чтобы она сейчас, в жару, носила шубу?

— Да, пусть в жару, если зимой не хватило смелости. Пусть наконец до нее дойдет, что шуба не экспонат и не талисман. И еще я хочу, чтобы она сейчас сидела и кусала себе локти: как будет жить Кирюша, чем помочь Кирюше?

Борис опустил голову и исподлобья смотрит на Томку. Она должна что-то сказать. Не ответить на мой выпад, а о чем-то таком заявить. И я уже знаю, о чем.

— Говори, — я гляжу на Томку, — говори, ты же пообещала ему, не трусь.

Томка молчит.

— Ну? Нашли вариант для размена? Или его еще предстоит найти?

— Ты же сама этого хотела, — тихо говорит Томка. Значит, я не ошиблась. Больше говорить не о чем.

Я поглядела на Женьку, который подошел к столу и стоял между мной и Томкой.

— А ты, внучек, что об этом думаешь?

Женька понимал, о чем мы говорим, для него не новость разговоры о размене. Но сегодня особый разговор, сегодня не я его начала под злую руку.

— Я ни с кем жить не буду,— заявляет Женька.— Вы уезжайте, а я тут один останусь.

Я ушла к себе. Сложила раскладушку, на которой спала Кирюша, и увидела на стуле головку идола. Он был на прочной кожаной веревочке. Забыла его Кирюша или вот так робко подарила, трудно судить. Я надела его на шею, подошла к зеркалу. Ну и кто ты теперь такая? Хотела вот так же повесить себе на шею дочку? На всю жизнь? Но зять не дал? Плохой зять, ужасный, несознательный. «Ах, где нам взять такого зятя, умного, щедрого, с открытым для добра сердцем?» Не укладываются слова на мотив песенки...

За окном уже голубел рассвет, а я все не могла уснуть. Ждала, что Томка или они вдвоем придут, сидят у меня в ногах и скажут: «Ты прости нас». Дети во все времена должны просить прощение у матерей. За то, что те родили их в муках, за то, что до глубокой старости надрывают свои сердца по их судьбам. Но они не пришли. Я уснула в половине шестого, когда за дверью слышались шаги. Томка собиралась на работу.

ТРИ ФАКТА, ПЯТЬ ФАМИЛИЙ

Письмо со вчерашнего дня лежало во внутреннем кармане. Утром Роман еще раз перечитал его. И, когда шел на работу, думал: «Вот и попал в историю». Историй он боялся. В истории, по его мнению, могли попадать люди, крепко стоящие на ногах,— с дипломом, с прочной профессией или уж такие, у которых ничего ни впереди, ни позади. А у него — особая жизненная статья: частная комната, второй курс юридического, а за спиной — два инструкторских года в горьком комсомола и три армейских.

Он шел и не замечал густого тумана и желтых пятен фонарей, которые не гасли и днем в большие морозы.

— Дяденька, — крикнул ему какой-то мальчишка, — сорок пять градусов! Не учимся!

Роман очнулся, почувствовал, что ноги мерзнут, и прибавил шаг. «А впрочем, ничего страшного не случилось, — успокоил он себя, поднимаясь по лестнице в редакцию. — Как сказал бы Миша Кузовкин, «большое волнение от мелкого потрясения».

Зина долбила на своей машинке. Таня пудрилась, привалив зеркальце к ребру книги. Луизы Ивановны не было. Обычно Роман, входя в отдел, браво приветствовал женщин: «Здорово, орлицы!» «Орлицы» улыбались и отвечали: «Привет, Ромочка!» Так начинался день.

Сегодня он сказал им «доброе утро», прошел к столу, на котором стоял графин с желтой, давно не менявшейся водой, и угрюмо уставился на него. Спросил, глянув на Таню:

— Дома у вас тоже такая вода?

Таня не спеша убрала зеркальце, спокойно, но с вызовом отпаривала:

— А у вас?

Зина перестала стучать на машинке, глаза ее удивленно расширились, она вскочила и схватила графин:

— Сейчас поменяю.

Он махнул рукой: дескать, меняй, но не в этом дело.

— А где Луиза Ивановна?

Зина с графином удалилась, Таня не спеша подняла на него глаза:

— Вы меня спрашиваете?

Роман не ответил.

Луиза Ивановна явилась, как всегда, с опозданием. Румяная с мороза, в распахнутой шубке, она остановилась в дверях и окинула всех сияющим, лучезарным взглядом:

— Привет, ребятки.

Ей ответили сдержанно. Зина уткнулась в машинку. Таня скрестила пальцы, положила на них подбородок и уставилась на Романа.

— Луиза Ивановна, дисциплина для всех одна, — сказал Роман, глядя в стол. — Объясните, пожалуйста, свое опоздание.

— И только? — Луиза Ивановна сняла шубку, пове-

сила на плечики.— Я, Роман Сергеевич, задержалась по личному поводу.

— А вчера?

— Что вчера? — Лицо Луизы Ивановны пошло розовыми пятнами.

— Вчера почему опоздали? И позавчера?

Луиза Ивановна посмотрела на Таню, ища в ней сочувствия, но та сидела с каменным лицом.

— Я не понимаю, Ромочка, почему вы говорите со мной таким тоном, — голос Луизы Ивановны дрожал. — Я вам не девчонка. Здесь к тому же не казарма, а творческое заведение...

Роман понял, куда она клонит: он недавно из армии...

— Не заведение, а учреждение, — жестко сказал он. — Пишите объяснительную записку.

Они его возненавидели. Он это почувствовал. Таня демонстративно смотрела в окно. Зина медленно, без всякого ладу вколачивала буквы. Роман достал из кармана письмо, положил его перед собой.

«Здравствуйте, Р. Серегин!

Прошу извинить, что беспокою вас, но как мать считаю нужным сказать вам правду. Как я понимаю, вы хотели добра Галине, моей дочери. Хотели прославить ее как хорошую работницу, а принесли нам одно горе. Не сердитесь на мою откровенность, но где была ваша душа, когда вы печатали свою статью? На фабрике Галя работает четыре года, после восьмого класса пошла работать, и ничего, кроме хорошего, от людей не слышала. Девочка она скромная и ответственная. А что маленькая и неприметная, так это какой глаз на нее посмотрит — добрый или худой. Если она вам, как молодому человеку, не понравилась, то это дело лично ваше, а срамить молодую девочку на всю область никому не дано права. А то, что одежда ее вам не пришлась по праву, так я вам скажу: есть у нее и хорошие платья, но про другой час. Одета и обута была не хуже людей, когда и потрудней жилось. А теперь про это и говорить между собой неудобно. А вы со всеми людьми через газетку тем секретом поделились. Нехорошо это с вашей стороны.

После вашей статейки Галя лицом загрустила, переживает. Я, как мать, чувствую, из-за чего. Пишу вам, чтобы вы наперед так с людьми не поступали».

Тишину нарушил Миша Кузовкин из комсомольского отдела. Открыл дверь и продемонстрировал в улыбке тридцать два великолепных зуба. С тех пор как Луиза Ивановна сказала ему: «Кузовок, у тебя вечный праздник на лице», — он неизменно улыбался, заходя в отдел.

— Ромка, — сказал Миша Кузовкин, — я к тебе за юридической справкой. Пришел в ресторан псих. Натуральный псих, с учетной карточкой. И перебил там все, что можно перебить. Кто платит? Псих же перед законом не отвечает. Работники ресторана не виноваты.

— Это казус, — сказал Роман. — В каждом отдельном случае — свое решение. А ты что — заполнил учетную карточку?

— Это дело ближайших дней. Переживаю душевный и творческий кризис. Подкинули бы письмишко на моральную тему.

— Есть одно письмишко, — сказал Роман. — Только вряд ли оно тебе по зубам.

Они вышли в коридор. Роман посмотрел на буйную Мишкину шевелюру и замялся, потом все-таки дал ему письмо, предупредив:

— Только не трепись попусту.

Мишка читал письмо, привалившись спиной к стене. Роман следил за его лицом.

— Да, — сказал Мишка задумчиво, — жалко, конечно, и деваху, и мамашу эту. Понимаешь, все же читали, и в глаза никому не бросилось, что ты ее как-то не так расписал. Что собираешься делать?

— Не знаю.

— Напиши им письмо. Извинись. Самое благородное дело. Напиши, что это первая твоя статья. Ну а первый блин, всем известно, комом.

Мишка был серьезен, и Роман ему был за это благодарен.

— Редактору показать?

— Кому? — Мишка поморщился. — Это тебе лично написано, не колотись.

Роман не уходил, и Мишка спросил:

— А что у тебя в отделе случилось?

— Дисциплину налаживаю: опаздывают, целый день треп на посторонние темы.

Мишка без всякого энтузиазма откликнулся: «Давай, давай», — и ушел. Роман тоже пошел. На ходу оглянулся на свою дверь с табличкой «Отдел писем» и по-

ежился, как от холода. Сидят там сейчас, обсуждают его достоинства. «Солдафон. Случайная личность в газете». «Ничего,— сказал он себе,— когда-нибудь надо было сказать им все». Писать статей он больше не будет, но руководить отделом еще попробует. Он спустился вниз, оделся и вышел на улицу. Мороз обжег лицо. Роман поднял воротник, выставил вперед голову и побежал по скрипящей от мороза тропке. У главпочтамта сел в трамвай и понял, что все-таки едет на эту Енисейскую улицу, будь она неладна.

Письмо пришло вчера. Зина, разбирая вечернюю почту, положила его на край стола, и в светлых ее глазах появилось недоумение:

— Роман, тебе личное письмо.

Луиза Ивановна улыбнулась:

— Ромочка, поздравляю.

Он увидел на конверте обратный адрес — улица Енисейская, пожал плечами. Потом прочел письмо и расстроился: чего угодно, но такого ответа на свою первую статью он не ждал.

Они долго его обхаживали, чтобы выступил в газете. Редактор специально вызывал: «Роман, ты полгода в газете, пора уже конкретно выразить себя». Роман отказывался: «Я сразу предупреждал, что писать не умею. Честно предупреждал».

Редактор его признание обозвал уверткой и закруглил разговор железным доводом: «Нет — не умею, есть — не хочу». Посоветовал сходить на швейную фабрику, посмотреть, как там идут дела, и написать. «Комсомол этой фабрики выпал из поля зрения газеты».

Миша Кузовкин утешал: «Брось колотиться. Сходи на эту фабрику, присмотри бригадку, черкни в блокнот три факта, пять фамилий, потом обмозгуем». Миша славился тем, что из любого факта и фамилии мог воздвигнуть шедевр в любом жанре. Роман, перед тем как идти на фабрику, прочитал в подшивке все сочинения Кузовкина. Он показался ему богом. В последней Мишкиной статье был действительно один факт и одна фамилия. Девчонка с компрессорного завода вышла замуж и через несколько месяцев пришла в райком и положила на стол свой комсомольский билет. Это, как в задачке, — дано: фамилия девчонки и факт ухода из комсомола. А все остальное было Мишкиной душой, каким-то необъяснимым напором убеждать людей в том, во

что верил сам. Он рассказал в статье этой глупой девчонке, что она положила на райкомовский стол вместе с билетом ни много ни мало — свою молодость, свою радость, свою надежду стать счастливой.

Статью Роман начал так: «Каждое утро к проходной швейной фабрики «Коммунарка» устремляются сотни девчат...» Мишка стал морщиться.

— Так уже писали до тебя миллион раз.

— Намекаешь на плагиат?

— Нет. Штамп тем и отличается от плагиата, что каждый изобретает его самостоятельно.

Луиза Ивановна сказала:

— Не слушайте, Ромочка, этого гения. Вам надо утеплить и оживить статью деталями. Вспомните цвет глаз вашей героини, какие-то приметы ее одежды.

Он их слушал, мотал на ус и переписал статью. И гордился, что сделал это сам. В конце концов не такие уж блестящие факты были у него, чтобы создать шедевр, и фамилия самая заурядная — Птушкина.

Ее вызвали в фабком, где он поджидал ее с раскрытым блокнотом. Маленькая, с закатанными за локоть рукавами халата, в косынке, закрывающей лоб. Села с ним рядом на диван и стала чесать по очереди то одну, то другую руку.

— Галя! — укоризненно сказала председатель фабкома и развела руками.

Галя смутилась, опустила голову и прикрыла ладонью нос. Потом, краснея и хихикая, объяснила:

— Мы сейчас лен шьем. У меня и еще у двоих эта... как ее...

— Лыняная аллергия, — строго сказала председательница. — Кстати, уже есть решение перевести вас на другую ткань.

Галя была ударницей, училась в вечернем техникуме. Постепенно он вытянул из нее все факты, которые ему были нужны. На прощание сказал:

— Желаю вам успеха.

Она прыснула опять, прикрыла ладонью нос и опрометью бросилась из кабинета.



Забор был низкий, наполовину занесенный снегом. Калитка голубая, с почтовой щелью. Над щелью чер-

ной масляной краской выписан адрес: «Енисейская, 22». Роман толкнул калитку, потоптался на дорожке, стряхивая с ботинок снег, и пошагал к дому.

В окне он увидел Галино лицо, потом оно исчезло, и появилось другое — матери. Открыла дверь Галя. Из маленькой прихожей Роман попал в теплую просторную кухню.

— Что же это вы в такой мороз? — спросила Галина мать, но смотрела не на гостя, а на дочь. Похоже, она догадалась, кто он такой.

— Мама, ты, кажется, куда-то собиралась, — сказала Галя и предложила Роману: — Раздевайтесь. — Взяла у него пальто, шапку, унесла в комнату.

Роман присел на табуретку, оперся локтем на клеенку стола и огляделся. Чистая, ухоженная кухня. На русской печке — ситцевая в клеточку занавеска, в углу эмалированный бачок с краном, чистые половики.

— Я пойдѹ, — сказала мать. — Не обессудьте, не ждали вас.

Она опять посмотрела на дочь, и Роман понял, что уходит она не по своей воле, что это Галино желание.

Галя стояла посреди кухни, лицо ее было замкнуто и безучастно. Роман подумал, что она напугана его появлением, ждет от него новых неприятностей, и поспешил успокоить:

— Я на несколько минут. Хочу с вами объяснить. Слыхал, что вы на меня в обиде за статью.

Галины губы тронула улыбка, она неторопливо прошла к столу и села напротив.

— А за что обижаться?

Роман растерялся. Он не ожидал, что она так спокойно, по-хозяйски будет с ним держаться. На фабрике, помнится, волновалась, хихикала, прикрывала ладонью нос. А сейчас и глазом не моргнет. Роман решил сразу сказать, зачем пришел:

— Я, Галя, начинающий газетчик. Первую, понимаете, статью написал. Ну и по неопытности изобразил вас не совсем так, как следует.

Галя слушала, глядя ему прямо в лицо. Это смущало Романа. Похоже было, что статья ее совсем не интересовала.

— А раньше где работали?

— В армии был. Три года. А до армии в горкоме комсомола инструктором.

— А что закончили?

— Ничего не закончил. На втором курсе юридического застрял.

Она его допрашивала, а он ждал удобной минуты, чтобы подняться: «Ну вот и хорошо, Галя, очень рад, что вы на меня не в обиде». И вдруг она спросила:

— А как статьи пишут?

Роман замаялся: как ей объяснишь, когда самому в пору спрашивать.

— Обыкновенно пишут. Познакомишься с человеком и напишешь, что за человек, как работает, о чем мечтает.

— Так просто сядешь и напишешь?

— Ну, не так чтобы просто. Надо ведь, чтобы не только верно, но и хорошо было написано.

— А если кто плохой, подлец, например, про того фельетон?

— Точно, — Роман улыбнулся. — Фельетон — самый ядовитый и читабельный жанр. Фельетон в номере — это гвоздь.

Галя смотрела на него по-прежнему спокойно.

— А я фельетоны не люблю.

— Почему же?

— Жалко тех, кого в них выставляют.

— Подлецов жалко? Хапуг и воров? — Он очень удивился. Наверное, бедняжка, хочет ему понравиться.

— Воров не жалко, — подумав, сказала Галя, — а вот вы про одну написали, что она курит, цель в жизни потеряла. Эту жалко.

— Каждый жалеет по-своему, — ответил Роман. — Один жалким словом жалеет, а другой — злым, справедливым.

Галя помолчала, потерла лоб ладонью, будто что-то вспоминала.

— Я один раз в суде была. Так там все справедливые слова были не злые. А вы, когда институт закончите, судьей будете?

— Не знаю. Может, и буду.

— А судят только по закону?

— Обязательно. На каждое преступление — своя статья.

— А какая самая первая статья?

Роман вздохнул: терпение его было на исходе. Просто экзамен какой-то, а не разговор.

— Смотря у какого кодекса. В уголовном — первая статья объясняет, что этот кодекс является единственным и обязательным для всех судов. Ну а в гражданском по первой статье тоже никого не судят. Там в ней говорится о задачах этого кодекса.

Он поднялся. Галя тоже поднялась:

— Не уходите. Чаем вас напоить надо. Идите в комнату.

Сказала, как приказала. Роман пошел за ней в комнату и там увидел на полу пузатый электрический самоварчик, который фыркал и сипел, словно выражал неудовольствие его появлением.

— Премия, — сказала Галя. — В прошлом году мы болонью шили. Большую прогрессивку получили. А в газете премию дают?

— Дают, — Роман поднял самоварчик и поставил его на сверкающий никелем поднос. — Дают премии, как и везде.

— И за статьи особо платят, так?

— Да. Гонорар называется. А вас, я смотрю, Галя, очень интересуют газетные дела.

— Все выпрошу, — Галя засмеялась, — потом возьму и напишу про вас. Фельетон.

— Почему же фельетон? — Роман сделал вид, что обиделся. — Напишите что-нибудь другое.

— Ага, боитесь. Про других пишете, а про себя не хотите читать.

— Ну, что ж делать, — он поднял ладони вверх. — Пишите фельетон.

— И вас с работы уволят?

— Уволят.

— И мать ваша прочитает?

— Прочитает.

— И учителя, и с кем вместе учились?

— Все прочитают, Галя.

— А вы сами как тогда?

— Утоплюсь.

Она не засмеялась. Лицо стало серьезным, и во взгляде — укор: «Вот видите».

Роману пора было в редакцию. Он ведь ушел и никому ничего не сказал. Галя вовсе не обиделась на его статью, но все-таки хорошо, что он побывал у нее. А теперь пора на работу.

— Я провожу вас, — сказала Галя.

Они шли к трамвайной остановке и молчали.

— Холодно, Галя,— сказал он ей.— Возвращайтесь.

— Ничего,— ответила она.— Я у вас еще про одно хочу спросить.

Он остановился, чтобы ей поближе было идти обратнo. А она долго не находила слов для своего вопроса... Наконец нашла:

— Как вы себя представляете?

Он не понял.

— Я?

— Нет, не только вы... Как все в газете представляют себя?..

Он по-прежнему не понимал, а Галя настойчиво смотрела ему в лицо, дожидаясь ответа.

— Учителями представляете себя, или судьями, или еще кем? Вот вы, когда писали про меня, кем себя представляли?..

Он понял, но у него не было ответа на этот вопрос.

— Психологом, наверное. Когда пишешь о человеке, стараешься быть психологом.

Он замолчал и почувствовал, что ему стало противно от этих слов.

— Мы еще как-нибудь обсудим этот вопрос, Галя,— сказал он торопливо, заметив приближающийся трамвай.— Мы обязательно еще поговорим с вами на эту тему.

Трамвай подбрасывало на стыках. Роман сидел у искрящегося инеем окна, втянув голову в плечи, и постукивал подошвами по решетке пола, предвкушая свое появление в отделе. Раскаяния за утренний разговор в отделе не было. Было зябкое чувство неустроенности и неизвестности. «Когда пишешь о человеке, стараешься быть психологом». Никем он не старался быть. Просто утеплял материал этими... как их — деталями. «Маленькая, неприметная, в полинявшем синем халатике». Ему стало страшно: вдруг вспомнил, что написал, а потом зачеркнул,— «на вечерах такие обычно танцуют с подругами». Постеснялся оставить, верней, побоялся, что Луиза Ивановна скажет: «Ах, Ромочка, какой вы наблюдательный». И ни разу, ни на секунду, когда писал, не вспомнил о самой Гале. Сколько ей лет? Пожалуй, уже двадцать. И она кого-нибудь любит. И, как все девчонки, которым уже двадцать,

хочет выйти замуж. Ей сказали: «Гая, про тебя статья в газете». Она вспыхнула, прикрыла ладошкой нос и потом тайком читала. Читала глазами того, кого любит. «Маленькая, неприметная, в полинявшем синем халатике...» Какое счастье, что зачеркнул эту подлую строчку: «На вечерах такие обычно танцуют с подругами».

— Зуб? — спросила пожилая женщина, сидевшая напротив.

— Да,— сказал он и жалобно посмотрел на нее,— болит.

Он был благодарен ей, что она так просто объяснила его страдание, и можно дальше думать, не заботясь о том, что на перекошенном лице кто-нибудь прочтет его мысли. Он еще выше поднял плечи, опустил голову в воротник и стал искать ответ, который снимет с души тревогу. Но, наверное, оттого, что ответов было несколько, а он искал один, думы его заходили в тупик. Вспомнились строчки из очерка Кузовкина о замужней девчонке и ее комсомольском билете. «Ты молодая, Люба, поэтому красивая. Нет молодых некрасивых. Так неужели тебе надоела твоя красота, что ты решила состариться?» Откуда Мишка знает, что нет молодых некрасивых, неприметных? Откуда это у него — от доброты, от таланта? И что вообще дает право журналисту выносить приговор человеку? Диплом? Собственная чистота? Судью от ошибки охраняет закон. Первая статья любого кодекса никого не судит, только объясняет. У врачей, кажется, тоже есть свой кодекс...

Он поднял голову и увидел сочувственные глаза уже другой женщины, сидевшей напротив.

— Зуб,— сказал он ей.— Никогда не болел и вдруг разболелся.

ОКУРОК

Обсуждали кандидатуру нового редактора. Разговор только внешне был откровенным, на самом же деле обходили, не трогали занозу, которая хоть и не торчала, но была, чувствовалась. Зоя Петровна, секретарь по идеологии, более других ее ощущала, оттого и говорила заносчивым тоном:

— Стыдно. Слушать нечего. Хороший малый. Дип-

лом с отличием. Двадцать семь лет. Сразу средний возраст членов бюро скакнет вниз...

— Скакнет вниз на должную высоту, — пошутил редактор «Зари» Столетов. Это ему обсуждали замену, и он, как многие старые люди, в душе радовался, что заменить его не так-то просто. Сам рекомендовал кандидатуру своего заместителя и все-таки не мог отказать себе в радости, что произошла заминка.

По мелкой причине заминка, можно даже сказать, по глупой. Фамилия у кандидатуры — Лень. Получит где-нибудь в дальнем колхозе подписчик свою районную газету на другой день после ее выхода и сразу поймет, почему она так плохо доставляется. Лень. Так черным по белому и будет написано в конце последней страницы. Лень этим работникам вовремя ее выпускать.

— Буду серьезным, Зоя Петровна, — продолжал Столетов. — Я первый это и обнаружил: малый хорош. А что касается фамилии, так будет Лёнь. В типографских шрифтах есть такая буква, хотя мы ею почти не пользуемся.

Ким Васильевич слушал этот разговор и не вмешивался. Какой-то незнакомый голосок пробивался как из щели, на усмешечке повествовал: «С кормами у него в районе нормально, с озимыми в срок управился и по строительству не в хвосте. Но чем блеснули, чем на всю область прославились — так это своими кадрами! Секретарь по идеологии в этой Тарловке — Ворожея, а редактор газеты — Лень».

— У нас в роте три украинца были, — Столетову показалось, что он бросился на выручку, а на самом деле еще больше обнажил эту самую занозу, — Лопата, Кочерга и Веревка. После боя их так одного за другим и представили к награде. Читает этот список командир дивизии...

— Товарищ Столетов... — Ким Васильевич поднял голову, в интонации прозвучало: ну зачем так, дубовыми параллелями? — Я думаю, товарищи, предварительное обсуждение вопроса можно считать законченным. Все остальные соображения — на бюро...

...Зимы в Тарловке славилась своей суровостью. Морозы нормальные, среднесибирские, а ветры как бы собственного производства. Погуляв по кулундинским зимним полям, полизав ледяную корку снегов, они с яростью врывались в районный центр и, запинаясь о

двухэтажные кирпичные здания, закручивали такие штопоры вокруг бревенчатых домов, что без всякого распоряжения отдела народного образования учителя начальных классов не выходили на работу, а райком комсомола проводил по вечерам рейды «пурговой профилактики». Напрасно Зоя Петровна Ворожея зажимала ладонями уши, всем своим видом показывала, как ужасно звучит эта «пурговая профилактика». На устах жителей Тарловки обход улиц и тупичков в снежной круговерти назывался только так.

Ким Васильевич в такие вечера читал. Жена наглухо задергивала шторы на окнах, включала телевизор, сын уходил с отрядом «пурговой профилактики», а он перебирался на кухню, стелил на клеенку стола чистый лист бумаги и раскрывал книгу. Об этом только ему известном состоянии даже близкие люди не знали. И объяснить им это невозможно. Для этого надо было прожить его жизнь: родиться в сороковом году и в четыре годочка научиться читать. Дом был маленький, в одну комнату; он, мать, бабушка и старшая сестра матери — все они жили в этой комнате. Многим в то время подселили эвакуированных, а им нет. Эвакуированные приходили послушать, как он читает. Он знал наизусть много стихотворений, но это никого не интересовало. Удивляло, что он, маленький, недомерочек даже для своих четырех лет, читает газеты. Он не задумывался над тем, почему они, грамотные люди, просят его почитать, почему плачут. От всех статей, которые он читал, в памяти остались заголовки: «Песня на передовой», «Награда нашла героя», «Добрые вести из далекого тыла». Война косила людей, горели на западе города и деревни, а он читал бодрые заголовки, и они помогали женщинам справиться со страхом и сомнениями. Он до сих пор помнит запах своего дома, голоса женщин, нагретое ватное одеяло на печке, на котором он спал. И еще помнит головокружение, осязаемое чувство полета, когда читал книжки сам для себя. Никому никогда не рассказывал, что и сейчас, погружаясь в чтение, ощущает кружение, как при полете.

В этот вечер под завывание ветра он читал «Американскую трагедию», сердясь на себя, что не отрывается, кружась, от земли. Мешала Катя, которая то и дело заходила на кухню, мешал Лешка, выкрикивающий в коридоре дурацкие слова: «Ой же бронтозавр! Он

же завернутый, этот Пугач!» Как поставили телефон в коридоре, так с тех пор одни разговоры: надо, надо перенести его в большую комнату. Ким Васильевич закрыл книгу. Видимо, не только всякому овощу свое время. Книге тоже. Эту трагедию надо было читать лет двадцать тому назад. Тогда бы он покружил.

— Так что говорят синоптики? — спросил он у сына, входя к нему в комнату и разглядывая знакомый хлам, которым Лешка завалил свое довольно просторное жилье. — На что нацелились в ближайшие сутки хляби небесные?

Лешка одевался. Стоял посреди комнаты и водил вокруг глазами, что-то выискивал. Не дождавшись ответа, Ким Васильевич сел на край тахты, сдвинув в сторону книги, шарф, а также цветные незаточенные карандаши, которые вдруг выскользнули из порванной коробки и посыпались на пол. Такая милая мальчишеская черта — безалаберность. Но нельзя ли, чтобы эта черта была у какого-нибудь другого Лешки? Безалаберность, а также расхристанность, равнодушие к порядку у собственного сына приводили его в отчаяние.

— Кто же так ищет? — спросил Ким Васильевич, чувствуя неодолимое желание стукнуть Лешку, чтобы тот очнулся и увидел, во что превратил свою комнату. — Так диких гусей в небе выглядывают. Что потерял? Я тебе сейчас покажу, как надо искать.

Лешка был от него защищен.

— Мама! — крикнул он. — Моя комната — это моя комната? Или только одно название?

Катя тут же возникла в дверях.

— Вот полюбуйте. — Лешка вытянул руку, показал на мать. — Чтобы постучать, это ни у одного из вас не срабатывает. Знаете что: давайте я буду жить на кухне.

Уж он их прижимал, уж он их скручивал. Директор школы стояла в дверях, как последняя двоечница, а секретарь райкома катал желваки под висками, не представляя, в какое личное дело и кому записать выговор.

— Папа прав, — педагогические знания жепы вырывались на простор. — Всегда. И в этом случае тоже прав. А ты халдей, неряха и грубиян. Будешь жить в коридоре. На кухне он, видите ли, еще не устроил хлева.

Даже любовь, оказывается, можно обернуть издева-

тельством. Лешка издевался над ними, глядел с любовью.

— Дорогие мои, единственные. Девочку надо было родить, второго ребенка. А то воткнули в меня рога всех своих родительских инстинктов, превратили в жертву.

— Жертва...— Волна неприязни и раздражения не откатилась, а словно бы испарилась в одну секунду, ее как и не было. Вместо нее поднялась и распушила свой ласковый хвост нежность.— Куда же ты, жертва, спешишь и что потерял?

— Спешу к Генке. Надо его поднатаскать перед контрольной. А потерял рубашку, венгерскую, в полоску. Хляби небесные, папа, разверзнутся. Ветер обещают сильный и осадков навалом.

Венгерская рубашка лежала на спинке стула, поверх других, сваленных на эту спинку рубашек, и глядела, смеясь своими яркими фиолетовыми полосками. Лешка сам увидел ее, можно сказать, «нашел», подпрыгнул на радостях и стал натягивать на себя. Ким Васильевич вышел из комнаты. В том, что Лешка спешил к Генке натаскивать того перед контрольной, сомневаться не приходилось. Сын никогда не врал. Не врал, не получал двоек, не приходил домой с разбитым носом. Должно же это чем-то уравниваться? Легче всего сказать: не приучили к аккуратности. Чересчур приучали. Катя в воспитательных целях даже будила его среди ночи. «Сложи одежду. Поставь тапочки перед кроватью носками вперед». Лешка учился тогда в первом классе. Покорно поднимался, складывал вещи, а вечером засыпал, не заботясь о том, что вокруг все раскидано. Потом заболел корью. Температура три дня держалась на отметке «сорок». Они с Катей по очереди дежурили. Ким Васильевич задремал в кресле, очнулся посреди ночи и увидел: Лешка в красных пятнах кори ползает по комнате, складывает свою одежду, ставит тапочки у кровати носками вперед. После этого случая они его оставили в покое. В шестом классе выделили комнату: «Можешь спать на шкафу, а уроки делать под кроватью, сил нет, допек». Воспитался от обратного. Вырастают же у жадных родителей расточительные дети, а из имений крепостников выходили когда-то в мир великие демократы.

Лешка убежал, дверь осталась приоткрытой. Катя

захлопнула ее и с виноватым видом подошла к мужу.

— Как же это я? Совсем забыла. Знаешь, кто приехал? Молодцов. Хотел поселиться в гостинице, но был перехвачен отцом Ворожей. Позвоним?

Ким Васильевич с недоверием поглядел на жену: точно ли забыла? Но радость перекрыла сомнение, и, не скрывая этой радости, он пошел в коридор, к телефону.

— Встречу отложи, — сказала ему вслед Катя. — Завтра бюро, а вы засидитесь. Это уже проверено — до утра.

Иван Андреевич Молодцов был уроженцем этих мест. Знаменитым земляком, самой большой, можно сказать, культурной реликвией районного центра. Как «Исаакий» для Ленинграда, как «Василий Блаженный» для Москвы. Литературное имя Молодцова возвышалось над Тарловкой, украшало улицы и переулки, отличало его жителей от тех, что проживали в других районных городках их области. Это имя вспыхнуло еще в довоенные годы, когда Молодцов был геологом, руководителем поисковой партии. Его первый роман рассказывал о пионерах сибирской нефти и наполовину был посвящен старинному селу, из которого вышли чуть ли не все персонажи этого произведения. В старинном селе тарловский читатель признал свой родимый районный центр, а в главном герое — молодого землемера, который потом ушел в геологи, Ивана Молодцова. Новые книги и дважды присвоенная Государственная премия мало что прибавили в глазах земляков к тому величественному зданию, которое воздвиг Молодцов своим первым романом. Именем писателя называли улицу, на которой сохранился дом родителей Ивана Андреевича, а также библиотеку в одном из совхозов.

Таковой была реликвия. А живая суть Ивана Андреевича за годы долгой жизни не осталась столь незыблемо величавой. Бывали творческие неудачи и спады в его личной жизни. Болезненно пережила Тарловка женитьбу Молодцова в преклонных летах, когда вместо Сани, Александры Матвеевны, дочери почтаря Остроухова, появилась рядом с ним в родительском доме некто Наташа. Молодая, с узким телом женщина и ярким красивым лицом. Он прожил с ней в Тарловке лето и больше уже не привозил. Отвергли Наташу не жители Тарловки — при чем тут жители: дом на улице Молод-

цова пока еще не музей, доступ для всех туда закрыт; не приняли новую жену работники райкома, их жены, все те, кто общался с писателем по долгу службы и давнему приятельству.

Трубку сняла Зоя Петровна. Ким Васильевич услышал шум, смех. Ну конечно же, если там Молодцов, о какой тишине речь? Причем необязательно пьют и закусывают — по нынешнему здоровью Ивана Андреевича скорей всего сидят за остывшими чашками чая и ликуют. Киму Васильевичу вдруг так яростно захотелось к ним, что он нахмурился и глянул на жену исподлобья. А Зоя Петровна лила и подливала керосинчику в эту уже затлевшую, но еще не вспыхнувшую обиду.

— Ким Васильевич! Да что же вы! Я же сказала Кате, Иван Андреевич у нас. Нет, я больше не могу. — Зоя Петровна залилась смехом: — Вы бы только послушали, о чем они говорят. Папа убеждает Ивана Андреевича присмотреть и застолбить себе место на нашем кладбище. Говорит: ты, Ваня, в Москве на Новодевичьем затеряешься, а здесь будешь у всех на виду, единственный в своем роде.

Катя стояла рядом и изнывала от любопытства, чему так грустно улыбается муж. Ким Васильевич губами спросил: пойдем? Она покачала головой: нет, Кимуля.

— Зоя Петровна, — сказал он в трубку, — подзовите к телефону этого возмутителя спокойствия и, кстати, бросьте ваши погребальные шуточки, пусть живет сто лет. Завтра бюро, вы не забыли?

— Есть кому напомнить, если забуду, — Зоя Петровна произнесла это с укором, голос прозвучал хрипло, будто и не она заливалась минуту назад, как птичка.

Молодцов кашлянул в трубку и с места в карьер начал отчитывать:

— Заборзел, дорогой товарищ, небось утром трусдой вокруг дома бегаешь, режимишь. А по-нашему, умри, а гостю с дальней дороги уважение представь.

А закончил разговор многозначительно:

— Привет Катерине. Хорошо она тебя содержит.

От разговора остался муторный осадок. Будто был он молодым и вольным человеком и не заметил, как лишился всего этого: и молодости, и воли. А все Катя. Лешка отстоял свою берлогу, свое право жить так, как хочется, а он поддался. Поверил, что теперь его жизнь не делит-

ся на две части — одна в райкоме, другая дома. Теперь круглые сутки в любом месте он первый человек в районе. Катя была словесником, любую мысль без труда облекала в убедительную литературную форму. «Не по росту, как в шеренге, первый, не по жизненным заслугам и опыту, а по доверию, которое тебе оказано». Он доверился ей: перелез из рубашек в свитера. Этих свитеров было куплено сразу шесть штук, все серого цвета. Пиджак был единственным: спортивного покроя, черный, из тонкой без блёска кожи. Новую одежду обживал с трудом: воротники свитеров натирали шею, кожа пиджака пугала, когда, задумавшись, касался ее ладонями. Но привык. И к тихим домашним вечерам привык. Их совсем не было, этих вечеров, в посевную и уборочную и в другое время выдавалось не так уж много, но уж если были, то всегда тихими и стабильно одинаковыми. Лешка чаще всего в такие вечера учил уроки, Катя проверяла тетради или смотрела телевизор, а он, поставив по правую руку кружку с компотом, читал книгу.

— Когда у нас так, — говорила Катя, — есть ощущение дома, есть продолжение подлинной, одинаковой во все времена семейной жизни.

Она сама в такие вечера подходила к телефону и говорила голосом первого человека в доме:

— Да, я передам. Непременно. Думаю, что этот вопрос терпит до утра.

— Кто это? — кричал он из кухни.

— Шубкин.

Три года назад, когда Ким Васильевич после десяти лет разлуки вернулся в Тарловку и заступил на пост первого секретаря, Шубкин звонил чуть ли не каждый вечер. Сигнализировал, предупреждал, советовался. У Кима Васильевича всякий раз портилось настроение от одного только голоса Шубкина. Что-то было нечистое в этом тихом, кротком голосе.

— Звонит и звонит, — жаловался он Ворожее. — Распустили вы его. Пусть редактору своему названивает.

И слышал в ответ:

— Не усложняй. У каждого района своя болячка. У кого лекарь-знахарь, у кого и того похуже — секта, а у нас Шубкин — пятновыводитель. Родимые пятна пережитков выводит, а заодно и те, что случайно пристали.

Он вызывал Шубкина к себе на беседу. Захотелось понять этого обросшего людской неприязнью человека.

Тот явился и поразил с порога каким-то приятским видом. Полотняный пиджачок, нечто вроде рабочего полу-халатика, висел на нем, как на спинке стула, затянутый узелочек галстука, который и зубами не развяжешь, обозначился крохотным треугольничком под воротом рубашки. Присел, поставил на колени торчком зеленую папочку, сжал ее длинными пальцами с чистыми, давно не стриженными ногтями. От этих ногтей Кима Васильевича передернуло. И вообще он весь был тошнотворный, этот Шубкин. Но не зятем же в дом он к нему лез! Видом неприятен? Терпи! Разговор у вас деловой, не на лавочке у ворот — в райкоме.

— Ну вот и пришла пора нам познакомиться, — сказал Ким Васильевич, — а то все по телефону, урывками. С чего же начнем?

Шубкин наклонился вперед, вопрос посчитал риторическим, наклон обозначал, что он весь внимание. Кабинет после ремонта сиял свежими стенами, шелком занавесей, полировкой мебели. И сам Ким Васильевич был под стать своему новенькому кабинету. Теперь бы он так отважно не ринулся со своими вопросами. Теперь бы он сразу замерил соответствующую дистанцию. А тогда ему вдруг стало весело: что такое? Знахарь, секта — это, братцы, серьезно. А тут — тараканище! Личико тараканье, коленки тараканьи.

— Ответьте мне, Шубкин, на такой вопрос: за что вас не любят?

Вот тут он и получил под дых. Шубкин выпрямился на стуле, поднял на него светлые бесстрашные глазки и ответил:

— Вопрос поставлен неправильно. Любовь — чувство из другой сферы. Спросить надо было так: почему меня боятся?

Ким Васильевич никогда не занимался боксом, несколько боксерских терминов были пойманы на слух от Лешки. И пригодились. «Это хук или даже, вполне возможно, апперкот», — подумал он во время затянувшейся паузы. Но до покаута дело не дошло.

— Поправку принимаю, — он посмотрел на Шубкина, заставил себя улыбнуться, — вопрос сформулируем иначе: почему вас боятся?

И Шубкин ответил. Спокойно, не меняя положения папочки, стоящей торчком на коленях, тихим голосом поведал, почему его боятся.

Ким Васильевич в то время, о котором рассказывал Шубкин, был старшеклассником и, как все его сверстники, выписывал «Комсомольскую правду». Что же касается районной «Зари», то ее иногда почитывал на стенде у почты. Статья Шубкина, перепечатанная «Зарей» из центральной газеты, прошла мимо него.

— Я тогда работал на складе пиломатериалов, — рассказывал Шубкин. — И, когда пришел со своим фельетоном в «Зарю», там, конечно, отнесли ко мне свисока. Если работаешь на складе, то и пиши про склад. А я написал о стиле руководства директора совхоза «Прогресс». У меня сестра там работала и другая родня, так что факты были не формальные, а живые, снизу. Что такое «Прогресс», не мне вам рассказывать. Молодцов там родился, в Тарловку его привезли годовалым. Тогдашний директор совхоза был из райкомовских работников, взялся поднять отсталое хозяйство. И поднял по основным показателям. Учитывая все это, стал совхоз как бы заповедным. Ни слова критики — ни в «Заре», ни на конференциях. Даже брошюру областное издательство выпустило: передовые методы, положительный опыт и тому подобное.

Шубкин откинул голову, на бледном лице появились розовые пятна румянца. Ким Васильевич неожиданно для себя подумал: а что, если не тараканище? А что, если воитель-одиночка? Ведь будь посимпатичней видом, пообщительней, может быть, и не засох бы, не озлобился.

— Пьянство тогда в нашей печати почти не освещалось, — продолжал Шубкин, — иногда оно в критических материалах именовалось аморальным поведением, и ша. Директор «Прогресса» и повел борьбу с этим аморальным поведением. Довоевался до того, что сам лично магазин опечатал. А там, известно, не только водка была, но и другой продукт, он и попортился.

— В посевную, что ли? — Ким Васильевич уже не глядел на Шубкина, слушал, опустив голову.

— На селе круглый год посевная, — поучающе ответил Шубкин. — Хочешь, чтоб урожай был, крутись целый год. Так вот, написал я фельетон про этого директора и отнес в «Зарю». Столетов через день сам вызвал меня. «Что это вы, Шубкин, святей папы римского надумали быть? В борьбе с пьянкой все средства хороши». Не стал я с ним спорить. Забрал фельетон и отправил в

Москву. Разумеется, с добавлением про то, как орган райкома, уважаемая «Заря», отнеслась к фельетону. Там немного сократили, слово «фельетон» сняли и напечатали.

О дальнейшем он мог не рассказывать. Перепечатка в районной газете, выводы проверочной комиссии, обсуждения на бюро.

— И вы в один день стали Шубкиным? Прославили свою фамилию? А что стало с директором «Прогресса»?

— С Прокофьевым? Уехал куда-то. Заработал выговор и поехал куда-то снимать. Пенсионного был возраста, задерживать не стали.

— Двадцатилетней давности история.— Ким Васильевич хотел столкнуться с прозрачными глазами Шубкина, но тот глядел в угол кабинета, румянец исчез, опять во всем облике проявилось что-то приютское.— Теперь этого директора, наверное, уже и на свете нет...

Шубкин вздрогнул, рефлекторно дернулся: и голову, и руки на папчке рвануло в сторону, но такую вину брать на себя не стал.

— Да,— вздохнул он,— шестьдесят и двадцать будет восемьдесят. К сожалению, это не средний возраст нашего брата.

Вот так. Ни больше и ни меньше. Братишка. И никуда не денешься. Сотрудник районной газеты с двадцатилетним стажем. Фельетонист. Он уже больше не казался Киму Васильевичу воителем-одиночкой. У Шубкина было войско, только вот разглядеть, чем оно вооружено, пока не удавалось.

Такой была первая встреча. Потом он не раз виделся с Шубкиным, давил в себе неприязнь к нему, ссорился из-за него с Зоей Петровной Ворожеей.

— Надо все-таки разделять, Зоя Петровна, человека, который нам не нравится, и то дело, которое он творит.

— Вот именно, «творит»,— Зоя Петровна ожесточалась лицом, становилась некрасивой.— А по какому, спрашивается, праву? Только не объясняйте мне, что фельетонист — это профессия, призвание, редкий талант. Я разбираюсь в этом жанре. Понимаю, что такое авторская боль и что такое топор в руках. Рассеку пополам и посмотрю, как у тебя там сердце трепыхается.

— Трепещет.

— У кого трепещет, а у кого трепыхается.

Редактор «Зари» Столетов, если был при таких разговорах, ежил, и без того морщинистое его лицо ещё больше старилось.

— Ни одного опровержения, — говорил он, — ни одного. Каждый факт документом подтвержден. Люди, с которыми беседует Шубкин, у него в блокноте, как у следователя на допросе, расписываются. За двадцать лет ни одного опровержения. — Столетов вздыхал, и это был вздох облегчения, а не осуждения Шубкина. — Так что не подкопаешься.

Но нашелся чудик, подкопался. Создал, как теперь любят говорить, прецедент. Появился в «Заре» новый заместитель у Столетова, паренек московского университетского выпуска, Онуфрий Лень. Что имя, что фамилия, по отдельности и то не встретишь. Слава богу, хоть отчество разряжает эту экзотику. Онуфрий Петрович Лень. Киму Васильевичу запомнились слова Молодцова в каком-то застолье, что люди похожи на свои имена. Если, мол, какую-нибудь белобрысенькую, невыразительную поворожденную нарекут Джульеттой, то хочет она того или не хочет, но имя непременно сыграет свою роль в ее судьбе. И приводил в пример свою сестру по имени Великонида. «Ни в роду, ни в окружении такой гордыни не наблюдалось».

Онуфрий Лень сразу обратил на себя внимание Кима Васильевича: именем, фамилией — это само собой; удивил четырехлетний партийный стаж. Только что закончил университет, не могли же его принимать в кандидаты на первом курсе. Попросил личное дело и получил ответ: после второго курса — три года армии. На беседе в райкоме Онуфрий Лень держался по-молодому, бодро, на вопросы отвечал подробно, только один раз замялся. Зоя Петровна спросила о семейном положении.

— Формально женат, а в действительности — не знаю.

Кого другого Зоя Петровна растормошила бы на более обстоятельный ответ, из женского любопытства не оставила бы в покое, а этого больше не тронула.

Утвердили его тогда заместителем Столетова, дали комнату с отдельным входом, плохую комнату, без канализации и отопления, но лучшей не было. Весной получит нормальное жилье, в «учительском», первом в Тарловке девятиэтажном доме.

— Не жалуется на жилье? — спросил Ким Василье-

вич у Столетова, когда выпал снег и задули ветры.— После Москвы не клянет наш климат?

— А у него вообще,— Столетов похлопал себя по затылку,— в этом месте жалующиеся центры отсутствуют. Это такой божьей милостью газетчик, что мне плакать хочется.

— Почему плакать? — не понял Ким Васильевич.— Радоваться уместней.

— Нет, плакать. Горючими слезами плакать хочется. Лет на десять пораньше родился бы этот Онуфрий. Обидно, что не довелось мне с ним поработать.

Так Столетов и закинул впервые удочку насчет своего ухода на пенсию. Ким Васильевич сделал вид, что не понял.

— Десять лет — время убедительное, в прошлом ли, в будущем ли. Рад, что ваш новый заместитель пришелся ко двору.

Потом Столетов заболел, выбыл на три месяца из строя, и, когда вернулся, разговор о замене уже не носил столь призрачного характера.

Молодой, старый. Это так говорится, что в маленьком городке люди все на виду. Не все. Десятка три-четыре, не больше, высвечены всеобщим вниманием. И поскольку они действительно на виду, уходить им на пенсию непросто. Как же так: вчера не был старым, а сегодня состарился? Да он, сколько помним, всю жизнь таким и был. Снимают, вот что. И пошли объяснения, за какие грехи. В последние годы и в селах и в райцентре пенсионеров стало много, разговоры про «снимают» поутихли, но все равно Зоя Петровна зорко следила, чтобы провожали на пенсию заслуженных работников с особенным почетом. Сама звонила Столетову, просила помянуть добрым словом в газете уходящего на пенсию, следила, чтобы в универмаге не было перебоев с часами. Всем дарили часы. Настольные или настенные, они были разной стоимости, но одинаково напоминали своим тиканьем о любви и заботе коллектива.

Когда же пришло время уходить на пенсию Столетову, он своим знанием этих тонкостей загнал Зою Петровну в тупик. Загнал и тут же подал руку, помог выбраться.

— От часиков, конечно, не откажусь. Но самый драгоценный подарок — не сомневайтесь в Онуфрии Петровиче, поверьте ему, как мне. Утвердите празднично,

без всяких подковырочных вопросов и грозных напутствий. Потом наверстае.

Такая просьба показалась Зое Петровне неуместной. Новый зам, пока Столетов болел, показал себя, что называется, с самой лучшей стороны. Подковырка образовалась сама собой. Собрались в кабинете первого секретаря перед завтрашним бюро, и вдруг кто-то на смешке, пока все рассаживались, возьми и скажи:

— Редактор — Лень. Если с инициалом, то — О! Лень. Или Олень, смотря какому остряку на зуб попадет.

Зоя Петровна возмутилась:

— Стыдно. Слушать нечего...

Ким Васильевич ее поддержал. А сейчас вспомнил и расстроился. Лешка убежал к приятелю натаскивать того перед контрольной. Молодцов обиделся: «Заборзел. Режимишь». Хорош хранитель великого и могучего русского языка. Сидит у Зои Петровны, хохочет, сотрясает живот. И Зоин папаша хорош: ты, говорит, на Новодевичьем затеряешься, а у нас будешь на виду, единственным в своем роде. Папаше восемьдесят, Молодцову — семьдесят два. Что есть такое в человеке, если он в преклонные годы может вот так шутить? И что рядом с этим его сомнения по поводу фамилии нового редактора. Да, Лень, Олень, тили-лень, вы о чем, товарищи? Вы к кому? Ко мне? По какому вопросу? Да, да, вполне возможно, что у Зои Петровны была в роду прабабка ворожея. А у Лёня был ленивый-преленивый дед. Больше вопросов нет? Спасибо за внимание.

В прихожей залился звоном телефон. Катя пошагала туда.

— Кто это? — крикнул Ким Васильевич.

— Шубкин,

— Давненько не звонил. Давай мне его.

Взял у Кати трубку, услышал тихий голос Шубкина:

— Ким Васильевич, приношу извинения, что тревожу вас столь поздно. Не забыли?

— Что именно?

Забыл. И сам забыл, и все забыли. Только услышав голос Шубкина, вспомнил «Трутенъ под опекой»! Фельетон, который должны обсудить на завтрашнем бюро. Впрочем, поправить не поздно. Сначала обсудим фельетон, потом утвердим редактора. Уложимся.

— Я о Лошкареве, — все тем же затхлым голосом

произнес Шубкин. — Ему надо присутствовать на бюро?

Лошкарев — герой фельетона. Да если по чести, то и Шубкину на бюро делать нечего. Не о нем же будет разговор. А фельетон уже павечно припаялся к газетной странице. Но не хватает пороку сказать: «Ни Лошкарева, ни вас, Шубкин, беспокоить не будем. На бюро будут члены бюро, этого достаточно». Но не мы, как говорится, завели Шубкина, не нам озлоблять его по восходящей.

Вернулся Лешка. Пальто и шапка заметены снегом, даже валенки на крыльце не отряхнул.

— Папа, знаешь, у кого я сейчас был? У Генки Лошкарева.

Этим тоже хорош маленький городок: хотел бы кого забыть, так не дадут.

— И как он? Напишет завтра контрольную?

— Папа! Ты зачем про контрольную?

— Охолони, — сказал он сыну. — Как-нибудь без твоих трагических возгласов обойдемся. Не дави извне на события.

— Извне, да? — насупился Лешка. — Это не извне. Это Шубкин ваш извне.

Катя подошла к сыну, сняла с него ушанку, провела ладонью по темным волосам. Лешка уткнулся ей в грудь и заплакал. Этого еще не хватало. Ким Васильевич пошел в большую комнату, прибавил звук у телевизора.

— У Генки отец инвалид! — кричал в прихожей Лешка. — У него орден Славы! Он эти деньги хоть сейчас отдаст. Некому отдать, никто не берет...

Столетов был прав: опровержений на фельетоны Шубкина никогда не поступало, факты он приводил неопровержимые. Иногда, впрочем, позволял себе небольшие домыслы, но тут же оговаривался: «Конечно же наш герой мог думать и о чем-нибудь другом, не только чужая душа, но и голова — потемки. Факты же — высвеченная правда, и они упрямо свидетельствуют...» Факты в фельетоне «Трутенъ под опекой» свидетельствовали о том, что бывший заведующий баней, а ныне пенсионер Федор Федорович Лошкарев, получив обманым путем от государства квартиру, продал свой собственный дом в пятьдесят четыре метра жилой площади. Такую сделку между совестью и карманом от людей не спрячешь, найдется человек, который возьмет в руки перо и спросит редакцию, а заодно и прокуратуру: то-

варищи, законы для всех одни или кое для кого особые? Пришло такое письмо в редакцию, в прокуратуру тоже.

«Смехотворно было поведение Лошкарева у следователя,— писал в фельетоне Шубкин.— Младенец, родившийся вчера, дитя природы, а не многоопытный, с фронтовым прошлым мужчина.

— Но все-таки деньги за дом взяли? — спросил следователь.

— У меня голова слабая,— ответил Лошкарев,— запутался я в этой истории. Я могу справки представить о своих болезнях.

— Взяли деньги за дом или не взяли? — повторил свой вопрос следователь.

Лошкарев огляделся по сторонам, помощи ждать было неоткуда.

— Я слаб на голову... не в себе... ферштейн? — Чтобы убедить следователя в своей неменяемости, Лошкарев протянул руку к пепельнице, схватил окурок и съел его».

Заседание бюро затягивалось. Хозяйственные вопросы, внесенные в повестку дня первыми, как всегда, перекрыли намеченный регламент. Столетов с беспокойством поглядывал на часы. Ким Васильевич взглядом успокоил его: «Не колотитесь, успеем». Шубкин сидел в приемной на диване. Во время перерыва Ким Васильевич увидел, что кандидатура на пост редактора подчеркнута не замечает Шубкина, ходит по коридору, повесив голову и сцепив за спиной руки.

— Как самочувствие? — спросил он Онуфрия Петровича.

— Плохое,— ответил тот, не поднимая головы.

Звонок известил, что перерыв закончился, и Ким Васильевич не стал расспрашивать о причине плохого самочувствия.

Надо было вчера пойти к Ворожеям, посидеть, послушать рассказы Молодцова. Катя, конечно, большой друг и хранитель его здоровья, но уже давно известно, что дорога в ад вымощена благими намерениями, в том числе и знанием, что для здоровья полезно, а что нет.

— Не ел он окурок! — кричал вчера в коридоре Лешка.— Там и пепельницы никакой не было.

— Лешенька,— Катя сняла с него пальто, поцеловала в щеку,— успокойся, мы сейчас все обсудим.

Обсуждали в большой комнате. Ким Васильевич сидел в углу в кресле и слушал.

— Сыпок,— Катя говорила спокойно, чувствовалось профессиональное умение разговаривать с такими вот максималистами,— Лешенька, ты же образованный человек. Чехов и Левитан, вспомни, были в долгой ссоре из-за того, что художник узнал себя в одном из персонажей «Попрыгуны». Но мы не знаем других, из более далекого окружения писателя, кто на него обижался. А что такие были, в этом не приходится сомневаться.

— При чем тут Чехов? — Лешка обессилен, но не сдавался.— Сравнила! Чехов и Шубкин!

— Я их не сравниваю. Но ты все-таки отринь, что Шубкин наш земляк, сотрудник районной газеты. Подумай о том, что не может герой фельетона испытывать любовь и благодарность к автору. Даже если там каждое слово сияет правдой. И еще попробуй спокойно представить себе, что Лошкарев не отец твоего одноклассника, а незнакомый тебе человек, совершивший крупную ошибку: жил в большом своем доме, получил бесплатно квартиру, а дом продал. Представил обязательство в райисполком, что сдаст этот дом. И не сдал. Продал.

— А окурок? — Лешка все еще цеплялся за этот окурок.

— Про окурок ничего определенного сказать не могу,— Катя уже взяла верх над Лешкой и немного отпустила поводья,— я при сем не присутствовала. Может быть, он прикинулся слегка чокнутым.

— Он не прикидывался,— Лешка защищался, отстаивал не только Лошкарева, но и себя.— Разве можно про старого человека так? Он по-настоящему больной, у него кроме руки два ранения в голову.

— Его боевого прошлого никто в фельетоне не тронул,— Катя посмотрела в ту сторону, где был муж, взгляд выразительно говорил: ты что молчишь?

Во всем этом разговоре Ким Васильевич не проронил ни звука, отчего несказанные слова так и застряли недожеванным куском. Хотел и не мог взять сторону Кати. Было что-то очень правильное, потому и жестокое в ее объяснениях. Лошкарева, конечно, на старости нечистый попутал. Но почему Шубкин один на один стал перед людьми его судьей? Должность такая? Газетное амплуа? Прокурор передал письмо следователю. Следователь за отсутствием состава преступления за-

крыл дело, не передал его в суд. А Шубкин сам в собственном лице, без прокурора, без адвоката и судьи вынес приговор? И завтра бюро райкома по этому приговору выскажет свое мнение. Мнение — ласковое слово. Утвердит приговор.

— Катя, — сказал он жене, когда та разбирала постель, — жалко Лешку. Не понял он ничего.

— Меня тоже пожалей, — ответила Катя, — впервые пыталась объяснить то, что самой непонятно.

Перед обсуждением фельетона опять устроили перерыв. Ким Васильевич прошел к себе в кабинет и, к великому своему неудовольствию, увидел там Молодцова. Писатель сидел на его месте, видимо, только что звонил, телефон был выдвинут на середину стола. Ким Васильевич с тоской подумал, что Молодцов сейчас напросится на бюро. Отказать знаменитому гостю невозможно, и уж Иван Андреевич не лишит себя удовольствия превратить серьезное обсуждение в спектакль. Такое уже было: год назад заявился к последнему вопросу, испросил разрешения «поприсутствовать» и устроил из обсуждения работы в районном Доме культуры, по его же выражению, «маленькие земские выборы». Директора порекомендовали перевести в руководители хора, а на его место выдвинули девчонку из культпросветучилища. Девчонка до сих пор работает, и неплохо, а руководитель хора перекочевал на свою прежнюю должность в Дом культуры племенного совхоза. Но не этими перестановками запомнилась концовка того бюро, а невозможным весельем, байками и прибаутками, которые, как круги на воде, шли от Молодцова.

— Распустили вы меня. — Молодцов поднялся, раскинул руки и вышел из-за стола. — Пришел и сижу в чужих владениях, начихав на субординацию.

Чего только не держит память, даже запахи. Молодцов сжал его своими большими ручищами, а Ким Васильевич вдруг вспомнил гостиницу в областном центре: час назад ему вручили орден, сидел, ждал машину, чтобы ехать домой к праздничному столу, и вдруг без стука, без грюка в дверях — Молодцов. Сжал, закружил по комнате; схватившись за сердце, плюхнулся в кресло и пальцем показал на портфель, раздувшийся от пакетов с закусками. Портфель не стали открывать, поехали

в Тарловку. А напомнил все это слабый запах апельсина, который источала рубашка Молодцова и тогда в гостинице, и сейчас. Уткнулся в нее носом, сжатый ручищами Молодцова, и вспомнил.

— Задушите, Иван Андреевич, — сказал он, — а на мне еще бюро, два вопроса.

— Два вопроса — два ответа. — Молодцов стоял посреди кабинета, вид был воинственный. — Этого лохматого мальчугана по фамилии Лень утверждаете — одна минута. Шубкина в шею — восемьдесят или сто минут. Ким Васильевич, я к тебе с просьбой, хочу поприсутствовать на этих двух вопросах.

Ким Васильевич подошел к окну. Форточка была открыта. Морозный воздух плыл над головой и, казалось, прямым потоком куда-то уплывал, не растекаясь по комнате. За окном в синеве вечера искрился снег. Он лежал у фасада здания, не тронутый погами и колесами. Черные с белым контуром снега рябины выстроились у тротуара и хранили это чистое полотно.

— Иван Андреевич, не обижайтесь, я возражаю.

Молодцов вздохнул. Это был говорящий вздох: ну что тут будешь делать... И вслух добавил:

— Эко он вас...

— Кто?

— Шубкин. Я ведь тоже письмо получил. Анонимное, но уверен, что писал не Лошкарев. Дом по наследству ведь принадлежал не ему одному. Троним. Приехала сестра с Украины, она и продала. Третью часть, его долю, переправила по почте. Не бог весть какой там был дом.

— Это называется давить, формировать заранее определенное мнение, — Ким Васильевич хотел произнести эти слова легко, как шутку, но не получилось.

— Ким, — Молодцов подошел к нему, — буду сидеть и молчать как рыба. К тому же, я приехал специально на это бюро. Так что придется пустить, ничего со мной не поделаешь.

Он мог бы его не уговаривать. Даже ставить на голосование просьбу Молодцова не придется. Это не просьба, это честь. Партийный стаж Молодцова раза в два поболее, чем у самого старого члена бюро, а депутатский флажок — знак причастности к заботам многих тысяч таких вот районных центров.

— Нам пора,— Ким Васильевич посмотрел на часы и первым вышел из кабинета.

Устали не только члены бюро, устали и те, кто ждал за дверью зала заседаний. Шубкин вошел в зал последним. Лицо его и полотняный полухалатик выражали смирение, но Ким Васильевич отметил: что-то не в пример прежнему гнет сегодня Шубкина; смирение какое-то угрюмое, со страхом пополам. У молодого заместителя редактора тоже далеко не отважный вид: костюмчик мятый, прическе и названию нет— оброс. Лень сел рядом со Столетовым, вытащил из кармана блокнот и положил перед собой. И у Шубкина блокнотик наготове. Молодцов сидел напротив Шубкина. Блокнотом загодя не обзавелся. Зоя Петровна передала ему листы из стопки, лежащей посреди стола. Молодцов сразу принялся что-то рисовать, поглядывая на Шубкина, и Ким Васильевич подумал: «Полный набор мастеров своего дела: писатель, фельетонист, руководитель местной прессы».

— Переходим к следующему вопросу.— Ким Васильевич поднялся, хотя до этого вел бюро сидя.— Поступило заявление редактора районной газеты «Заря» товарища Столетова с просьбой освободить его от занимаемой должности по возрасту и состоянию здоровья...

Когда удовлетворили просьбу Столетова и выслушали его предложение о новом редакторе, Зоя Петровна тут же подбадривающе поторопила Леня:

— Слушаем вас, Онуфрий Петрович.

Он вдруг опустил голову, очки соскользнули. Подхватив их на лету, Лень застыл. Пауза затянулась.

— Слушаем вас,— повторила Зоя Петровна.

Пересилив в себе что-то, Онуфрий Петрович поднял голову, нацепил очки и посмотрел в сторону Шубкина. Слова прозвучали без интонации, заученно:

— Я просил бы мое утверждение рассмотреть после обсуждения фельетона «Трутень под опекой». Дело в том, что я, если меня утвердят, не смогу работать с литсотрудником отдела писем Шубкиным.

Рука Молодцова дернулась на листе. Зоя Петровна сжала губы и обвела взглядом членов бюро.

— Почему? — голос ее прозвучал строго и неприязненно.— Ваше заявление, Онуфрий Петрович, по сути грапит с обвинением.

Онуфрий Лень рывком отодвинул стул, вышел из-за стола и быстрым шагом пошел вдоль него. Одна рука у него была в кармане, другая секла воздух в такт словам.

— Я наглотался достаточно пыли, листая старые подшивки, читая так называемые фельетоны и критические обличения Шубкина. Я прошел по следам многих его выступлений, протянул нить между его словом и практическим результатом, который породило это слово. Горе людское, страх, позор длительный и несмываемый — вот что есть результат его деятельности. Я не могу сейчас подробно рассказать о всех деталях своего расследования. Это большой материал, я представлю его в любой час. И о последнем фельетоне Шубкина не буду говорить, он сегодня в повестке дня. Скажу только об окурке, который якобы съел Лошкарев. Это вершина вранья, цинизма, это безнаказанное мордованье человека.

Молодцов не сдержал слова.

— А вы все-таки скажите о последнем фельетоне все, что думаете, — прокрипел он.

— Последнего фельетона Шубкина первым коснусь я. — Со своего места тяжело поднялся Столетов. — Вы, Онуфрий Петрович, закончили? Благодарю вас. Обвинения заместителя редактора товарища Лёня, как я уяснил себе, сводятся к одному: материалы Шубкина, опубликованные в «Заре», не есть критика, а есть проявление субъективизма в ней. Оставим пока в стороне расследование Онуфрия Петровича, к слову, тоже субъективное, подогретое нелюбовью к Шубкину, а потому пристрастное, и перейдем к конкретному вопросу из повестки дня, к фельетону «Трутень под опекой». Начнем с ответа: что есть главное в этом материале? Личность Лошкарева или тот вопрос, который в фельетоне поднят? Лошкарев, я это и сам могу подтвердить, добрый человек, с незапятнанным прошлым. А вопрос, касающийся жилья, — жгучий, насущный, жизненный для многих еще в Тарловке. Вот я и повторяю: что есть главное в опубликованном фельетоне?

— Подпись! — выкрикнул Лень. — Ваша подпись в конце последней полосы. Вы благословили Шубкина. Верней, вы вместе с ним сделали из инвалида войны трутня.

— Товарищ Лень, — Ким Васильевич строго посмот-

рел на взъерошенного очкарика,— вы на бюро, ведите себя соответственно.

Столетов опустил на стул, это означало, что выступление свое он закончил или отказался от него. Зоя Петровна поддержала рукав вишневого парядного костюма и приложила ладонь к виску. Часы на запястье обнажились, было на них без двадцати девять. Ким Васильевич кивнул: вижу. Но не прерывать же заседание, не переносить же обсуждение фельетона на следующее бюро. «Фельетон обсудим, а утверждение Лёня перенесем,— подумал Ким Васильевич.— Столетов кое в чем прав: субъективное расследование, никем не порученная титаническая работа».

— Кто будет говорить?— По лицам членов бюро он увидел, что усталость со всех слетела, лица были, как умытые, в глазах светилась решительность. Оттого, что загляделся на лица, не сразу увидел поднятые руки. Прокурор просил слова. И военком, молодой подполковник, как примерный ученик, поставил локоть на стол и вытянул вверх сжатые пальцы. И директор совхоза «Прогресс» машет возле уха ладонью, жаждет высказаться. А ему добираться до дому тридцать километров. Без двадцати девять, и все хотят говорить.

Зоя Петровна звонила домой. Ким Васильевич и Молодцов сидели на диване, откинувшись на низкую спинку, вытянув ноги.

— Папа, ты как ребенок,— отчитывала отца Зоя Петровна.— Картошка переварилась! Картошка остыла. Себя-то ты подогрел, не дал замерзнуть. Чего ты дышишь в телефон? Что доказываешь?.. Иван Андреевич,— она прижала трубку к груди, повернулась к Молодцову,— вы как приедете, так он думает, что ему тридцать лет, а не восемьдесят. Вы, говорит, меня бросили, я вам не компания... Папа! — закричала она в трубку.— Немедленно ложись спать. Иван Андреевич сегодня ночует в гостинице, завтра продолжите.

Приоткрыв дверь, в кабинет заглянул военком:

— Ким Васильевич, примите извинения, но я так и не понял, какое решение приняло бюро насчет Шубкина?

— Не было никакого решения,— ответил Ким Ва-

сильевич, — Шубкин сотрудник редакции. Редколлегия, редактор будут решать.

— Все ясно, — военком козырнул и закрыл за собой дверь.

Молодцов поднялся с дивана.

— Ему все ясно, мне тоже. А вам?

— Мне тоже ясно, — ответила Зоя Петровна. — Жнем, что не сеяли, но дорацивали. Знаете, из чего он завелся? Из малодушия. Дрогнули душой наши предшественники, когда в центральной газете пропечатался Шубкин. Не хватило этой самой души сказать: не дадим Прокофьева в обиду, не Шубкин ему судья. Дали в обиду.

Ким Васильевич вдруг почувствовал, как ему хочется быстрым шагом пройти по кабинету: вперед и с крутым поворотом обратно. Так бегал сегодня по залу заседания молодой редактор «Зари». Редактор Лень. Утвердили все-таки.

Молодцов уснул. Опустился на диван и в какую-то секунду нырнул в сон, издав выразительный храп. Зоя Петровна растерялась, стала звонить, вызывать машину. Потом подошла к Молодцову, тронула его за плечо:

— Иван Андреевич, дорогой мой, откройте глазки, отвезу вас в гостиницу.

Ким Васильевич глядел на нее: та самая Зойка из десятого класса, когда он учился в седьмом. Красавица, отличница, дочка знаменитого в Сибири героя гражданской войны. Уже сорок. Никогда не была замужем.

Шофер позвонил снизу, машина прибыла. Молодцов открыл «глазки». Ким Васильевич хотел было тоже проводить его до гостиницы, но на крыльце передумал.

На улице крутился снег. Опять набежал ветер, взялся за свою бессмысленную злую работу. Сек лицо, проникая за шарф, щипал шею. Ким Васильевич поднял воротник и, чувствуя, как ветер подхватывает его и толкает вперед, пошел в другую сторону от своего дома. Кате он не звонил. И она из принципиальных соображений, чтобы не казаться женой-контролершей, не позвонила. Из окошек их дома были видны окна райкома. Так что у Кати не было причин для волнения.

Как пзвился, как перетрухал Шубкин, когда стали утверждать Лень. Ничего уже не боялся на свете, а перед этим очкариком рассыпался на составные части.

— Пусть скажет, где его жена и двухлетний ребен-

нок! Пусть скажет, почему он после второго курса загудел в армию!

В одиночестве заканчивал Шубкин. Не было у него никакого войска. И сам он не был воителем. Из-за угла выглядывал, оттуда и бил.

— По-другому об этом надо спрашивать, — ответил ему Лень. — Что вам за радость, Шубкин, от моих прошлых бед и несчастий? Помочь мне хотите? Неправда. Вывести на чистую воду? Так ведь надо точно знать, что я в грязной воде по макушку. В армию я не загудел, а был призван. После того как завалил сессию и был исключен из университета. А завалил потому, что не учился. Работал. Ребенок у меня родился, вот и пришлось работать. Сыну сейчас не два года, а семь. Живет он со своей матерью и отчимом.

Ветер то затихал, то поднимался. А что, если заявиться сейчас к Шубкину? Прийти и спросить с порога: «Скажи, дядя, сам о себе всю правду». И увидел темное лицо Шубкина, ледяную прозрачность его глаз. Чувствовал Шубкин, как сыплется под ним земля, но ни разу не потонул, глядел на каждого выступающего, как просвечивал. Трудно с таким один на один. Ты, Ким Васильевич, большой мастер по части коллегальности. А если один на один? Стоишь у него на пороге: «Скажи, Шубкин, как ты сам себя объясняешь?»

«А кто ты такой? — спросит Шубкин. — Бюро кончилось, вот и шагай домой. А я еще с вами потягаюсь. Не одной «Зарей» на земле день возвещается. Я еще вам прочищу мозги, зажимщики».

«Но не ел же окурков Лошкарёв! Оболгал ты его, Шубкин! Унизил перед взрослыми сыновьями, опозорил перед последышем, двоечником Генкой!»

«А это домysel. — Шубкин закуривает папироску, коротенькую, из пачки «Север», затягивается. — Молодцов в своих романах поболее моего надомысливал и аплодисменты сорвал. Отца своего домysлил, а заодно и папашу Зои Петровны. Имена им другие присвоил. А в моих фельетонах все фамилии, как в паспорте».

«Не трогай этих отцов. Они и думать не думали, что и такие, как ты, прорастут на той земле, которую отстояли. И к Молодцову не пристраивайся. Он не домysливал, он осмысливал. А ты не увиливай от ответа: разве может человек съесть окурков?»

«Может. — Шубкин гасит в пепельнице выкурен-

ную папироску, в стеклянных его глазах вспыхивает насмешка.— Видишь? — Он показывает на пепельницу, в которой лежит скрученный окурочек.— Сейчас ты у меня его и съешь. Чтобы больше не сомневался. Знаешь, что вы со мной сегодня сделали? Расправились».

Ким Васильевич почувствовал на губах вкус подгоревшей бумаги. Все держит память: и слова, и запахи, и даже вкус выкуренной, сгоревшей до мундштука папиросы. Десять лет уже не курит, а вот помнит же.

Он взгляделся в даль улицы, в желтые пятна окон и увидел идущего прямо на него мальчишку. Успел подумать: что это он так странно движется? И вдруг разглядел, что паренек, хоронясь от ветра, идет на него спиной. Нет, не Лешка.

— Чего так поздно? — крикнул Ким Васильевич.— Опять пурговая профилактика?

Хотел добавить: «Тогда вот он я, спасай».

Но мальчишка ничего не ответил, поравнявшись, выставил плечо и уже не спиной, а плечом вперед побежал навстречу ветру.

ЕЩЕ ОДНО ЛЕТО

Наденька появилась на крыльце террасы, когда все уже собрались к столу и молча ждали, пока закипит самовар. Ел один Виталий Максимович: прикончил три вчерашние котлеты, плеснул в чашку с клубникой молока и, вызывая поглядывая на свое семейство, стал ложкой хлебать этот то ли молочный компот, то ли суп. И тут появилась Наденька.

— Доброе утро. А я к вам.

Длинная, зыбкая, как видение из заграничного фильма: два серых бесстрашных глаза без тени неловкости оглядели сидящих за столом. Леонора всполошилась — вспомнить не может, что за девица, — но тут же усадила ее на стул рядом с собой, раскудаhtалась: ох, ах, красавица моя, неужели с поезда? А у нас как раз и чай, и кофе, кому что нравится.

Леонора всем всегда старалась угодить, и все от нее уставали. Дочки любили ее, но с малых лет обрывали на полуслове. Она заискивала перед ними, отступалась, отказывалась от своих слов, только бы не сердились, только бы опять всем было легко и хорошо. Виталий

Максимович в последние годы вооружился против жены фразой: «Вы же знаете Леонору». И мать ее, красивая величественная старуха, вела себя так, словно давно и бесповоротно отказалась от дочери: «Это Леонора сказала? Перестаньте. Что может знать Леонора!»

Гостья пила чай и светилась, словно все лучи утреннего солнца сошлись на ней. Леонору вдруг озаарило:

— Наденька! Ты ведь Наденька?

Девушка кивнула. Дочки Леоноры, такие же большие девочки, одна — студентка, другая — старшеклассница, глядели на мать спокойными насмешливыми глазами. И все другие глядели на Леонору, но ждали не от нее, а от гостей чего-нибудь такого, что развеет утреннюю скуку, объяснит, с чем пожаловала, и вообще, кто она такая. Но Наденька не оправдала их ожидания. Не дождавшись конца завтрака, она поднялась и спросила у Леоноры:

— Где я здесь могу отдохнуть?

Леонора повела ее наверх, где пустовала комната для гостей, вернулась и, оглядываясь по сторонам, словно вдруг кто-то появится и опровергнет ее слова, стала рассказывать, что Наденька — дочь ее школьной подруги, приехала сдавать экзамены в театральный институт и будет здесь столько, сколько ей понадобится.

— А ты не подумала, — сказала старшая, Ира, — что именно сегодня приезжают Копыловы, и Зойка, конечно, притащится, и еще кто-нибудь, без этого не обойдется. Ты не подумала, что отцу в субботу и воскресенье надо отдыхать?

— Она альтруистка, — подсказала младшая, Лиза. — Живем, как в проходном дворе, и будем жить, пока эта дача не рухнет.

Виталий Максимович поднял глаза и без всякого выражения посмотрел на старшую дочь, потом на младшую:

— Что за дискуссия? Вы же знаете Леонору.

— Они не знают Леонору, — громким, размеренным басом изрекла теща, — Леонору нельзя знать, ее нет.

Леонора хихикнула, приглашая всех посмеяться над словами матери: как же это нет, когда я — вот она, здесь, — но никто не откликнулся.

— Ну, если мать родная утверждает, спорить не приходится, — Виталий Максимович тяжело поднялся

из-за стола и побрел в сад. Там, в самом конце, у забора возле грядки с клубникой, сидела на детской табуреточке Марьяна. Увидела его и поспешила навстречу. Седая куделька на голове, высохшие ручки. Всю жизнь он не может привыкнуть к ней, каждый раз пропадает от досады, столкнувшись с ее преданным, влюбленным взглядом.

— Виталичка, молока не выпьешь?

— Какого еще молока?

Марьяна засмеялась:

— А твоя Линора девку-привела. Красивую. Спать пошла. Потом проснется, за стол сядет, корми ее, посуду за ней мой.

— Видел я. Нет больше новостей? Привет.

Марьяна, согнувшись, подрагивая головой, пошла по тропинке. Виталий Максимович посмотрел вслед Марьяне: даже не старая, а старенькая, ветхая. Прыгает, воюет, а жизни уже на грош.

Похоронив родителей, он с особой болью глядел на старых людей: когда близок конец, должно быть, страшно жить. Только на тещу глядел без боли: такой старости ни в кино, ни в жизни не встречал. Орлиный век. На девятый десяток поехало, а у нее в шкафчике ни одной бутылочки с лекарствами, ночью свет в комнате горит — романы читает.

Издали увидел, как рыскнулись ворота и на красном «Москвиче» въехали Копыловы. Сеня Копылов выскочил из машины, и тут же с другой стороны вылезла супружница его Катерина. Сколько существует дача, столько сюда ездят Копыловы. Насидели место, обжили: свои одеяла, свои кастрюли. У Сени язва, Катерина трет морковь на терке, жарит ему диетические котлеты. Когда Семен укладывается днем спать в бывшем сарае, Катерина сидит на скамеечке под окошком, охраняет сон. Выспавшись, Сеня вылезает на свет божий и, вздыхая, пачинает обозревать участок. Говорит кому-нибудь, чаще всего Марьяне:

— Все померкло. Нет настоящих хозяев. Забор в прошлом году рухнул и лежит, догнивает.

Марьяна давно смирилась с Копыловыми, любить не любит, но право приезжать сюда каждую субботу не оспаривает.

— Не было здесь никогда настоящих хозяев, — объясняет она Семену, — просто владельцы. Приехали с

войны — он генерал, и она генерал, и им как двум генералам все это отвалили.

Семен слушает, а жена его Катерина кидается в спор:

— Вы, Марьяна, чего не понимаете, о том лучше помолчите. Анна Петровна не была генералом. Военным врачом была, в звании подполковника. Максим Федорович действительно был генералом. И ничего им не отвалили, участок выделили, а все они строили сами.

— Папа! — Под сосной стояла Лиза, младшая и любимая, вся в отца. Парнем бы ей родиться, был бы хоть один в этом семейном царстве друг, близкая душа. — Папа, протони ту, что наверху спит, не нужна она здесь.

— Причесались бы вы, мадам, — Виталий Максимович не любил ее сейчас: выросла, а то же пытье, что и в детстве. — «Папа, папа». Вы кем тут папу себе представляете? Псом цепным? Вышибалой?

— Мы тебя отцом представляем, главой семьи. Если все это, конечно, можно назвать семьей. Ирин мальчик приедет, увидит эту Наденьку и влюбится.

— Стыдно, — сказал он ей, — стыдно с отцом разговаривать на такие темы. Твой отец, кстати, не такой уж старый мужчина. Возьму и сам влюблюсь в эту Наденьку, тогда запоете.

— Послал бог родителей, — вздохнула Лиза, — одна вся в долгах, а другой еще готов в свои пятьдесят влюбиться. Ты бы дал матери деньги, она уже у Ирки летнюю стипендию заняла.

У него от ярости и обиды потемнело в глазах:

— Кому же я отдаю деньги?! Матери твоей и отдаю! А то, что они у нее не задерживаются, с этим вопросом, пардон, не ко мне. — Он, негодуя, пошел к калитке.

Его заботы и переживания не касались ни дачи, ни семьи. Это были его собственные, тупые и не отпускающие, как боль в спине, переживания. Приближался депь заседания ученого совета. Полгода назад он подал документы на конкурс, собрался с духом и решился, хотя руководитель отдела, чье место оспаривали конкурсанты, намекнул ему довольно ясно, что шансов почти нет. Сам руководитель уходил на пенсию. Не будь этих конкурсов, его место по наследству досталось бы Виталию Максимовичу, а теперь живи и думай о каком-то иркут-

ском профессоре Лаптеве, который на шесть лет моложе, и напор переехать в столицу тоже со счетов не скинешь. Чей он бывший ученик? Ну, допустим, самого директора института. Что это ему дает? Ровным счетом ничего. Голосование закрытое, а научных публикаций, Виталий Максимович навел справки, у Лаптева чуть ли не вдвое меньше, чем у него. Надо выдержку призвать, терпение. Жить, работать и ждать, а не превращать ожидание в постоянную работу души. И кроме Лаптева есть еще два соискателя, думай о каждом — голова треснет.

Он покинул сад, пересек поле и направился в лес. Только в лесу отпускали его все заботы, смывалась с души усталость, которую в последние годы он иногда ощущал и по утрам.

К обеду подоспела Зойка. Притащила две сумки с продуктами. Первые помидоры высыпала на стол, объявив, что они уже мытые.

— Кормилица, — Виталий Максимович не одобрял Зойкиной щедрости, когда-то пытался рассчитываться с ней деньгами, но ничего из этого не вышло. — С базара ведь помидоры. Миллионерша.

Зойка промолчала: это мы уже слышали. Ира внесла огромную кастрюлю с борщом. Лиза расставляла тарелки.

— Наденька, — сказала Леонора, — вы здесь человек новый, поэтому я должна вам объяснить: в этом доме нет хозяев, здесь все гости.

— И я гость? — спросила теща. — С какой стати?

Катерина произнесла свой традиционный монолог:

— У Сени язва. Он может съесть только крошечку. А мне, сами видите, есть вообще не стоит. У меня восемнадцать килограммов лишних. Мы здесь не в счет. Леонора, зачем же ты полную тарелку Сене?

— Да съест он. И тарелку проглотит, — не выдержала Марьяна. — С твоей моркови он лошадь живьем съест.

Ира и Лиза прыснули, стукнулись висками и закатились смехом. Теща — за ними, и Сеня засмеялся, и Зойка, и Марьяна, и даже Катерина, только Виталий Максимович ел борщ, пригнув к тарелке голову, не участвуя в общем веселье. И Наденька сидела, как гвоздик, с недоумением поглядывая на смеющихся.

— У нас всегда так,— сказала ей Леонора,— ради красного словца не пожалеют и родного отца. У нас всегда за столом весело.

— У вас стол— большой, как сцена,— раскрыла рот Наденька, и все замерли от ее музыкального голоса.— И когда за ним собираются, начинается семейный спектакль.

Таких слов никто от нее не ждал. Что бы ни говорила Леонора, они тут были свои, а она — чужая, да к тому же слишком молодая, чтобы позволять себе такие высказывания.

— Какой, разрешите спросить, спектакль? — Виталий Максимович отложил ложку в сторону.— Драма? Комедия? И какой сольный номер для этой сцены у вас?

Наденька не собиралась сдаваться:

— Я буду выступать на настоящей сцене.

Наденька в первый же день раскусила их всех. Ясным взглядом прицелилась в каждого и сразу выбрала мишень, в которую попадет без промаха. Выбрала Леонору.

— Я не ем ничего мучного,— говорила она, и Леонора готовила специально для нее сырники.

— У вас наверху комары,— говорила она, и Леонора покупала в химварах прыскалку от насекомых, ползала под Наденькиной кроватью, взбиралась к потолку, уничтожая комаров.

Виталий Максимович негодовал. Мало забот с приехавшими гостями, так жена еще посадила себе на голову эту куклу! Смазливая бездарная кукла! Заваливает экзамены уже в третьем театральном училище, и хоть бы мелькнуло сомнение.

— Мне надо в город,— сказала как-то вечером Наденька,— сегодня дома ждут моего звонка.

Сказала — и смолкла. Виталий Максимович побагровел от этой информации. Ей надо в город!

— А вы знаете, что город довольно далеко?

— Успокойся,— Леонора потушила его гнев.— Мне тоже надо в город. Собирайся, Наденька.

Он протянул ей ключи от машины, чувствуя, однако, что и сам втягивается в какую-то странную кабалу к этой девчонке... До ночи ждал их возвращения, бродил по участку, маялся.

«Я завтра положу всему этому конец. Я завтра выдворю эту Наденьку.— Сердце колотилось, он шел быст-

ро, вслух произнося, что он сделает завтра. — Я разберусь, что есть моя жизнь, и эта дача, и моя жена Леонора».

Растерзанный, побродил еще немного по участку, послушал ночное пиликанье какой-то птицы и направился к дому.

Их с Леонорой комната была в пристройке с отдельным крылечком и выходила окнами в сад. Виталий Максимович присел на крыльце и, ощущая свою оторванность от переполненного людьми дома, выкурил подряд две сигареты. С крыльца террасы сошла Зойка:

— Не спишь? Дай сигаретку. — Присела рядом, натянула подол на колени, участливым голосом спросила: — Переживаешь? Боишься, что завалят? Ну, завалят так завалят, прежняя должность ведь останется.

— Сам не останусь.

— Это как же? — встрепелась Зойка. — Уйдешь? А куда?

— Никуда. У меня пенсия военная дай бог каждому. Уйду и буду книжки читать.

Зойка со страхом поглядела на него, шепотом сказала:

— Чокнутый ты, Виталий. Куда тебе уходить? Без твоей большой зарплаты тут все бурьяном зарастет.

— Пусть зарастает.

— Леонору жалко. Лишил ты ее жизни. Утопил.

Зойка сказала что-то не то, обидное и несправедливое.

— Это как понимать — утопил? Изволь объяснить.

— Любила она тебя. И пропала.

Слишком много на себя взяла эта Зойка. Послушать, так не поверишь, что печалится по Леоноре. Прижилась, пригрелась, а добра подлинного в сердце нет.

— Почему же пропала?

— Этого уж никто никогда не узнает. Может быть, оттого, что ты красивый был.

Его резануло это «был». Зойка мстила ему за свою школьную любовь, выждала, дождалась своей минуты.

Зоя-Зочка, верный человек, друг всей жизни. А ведь было времечко, Леонора кричала: «Или я — или Зойка! Что это еще за новости — школьная подруга в доме! Знаем мы этих подруг!» И мать Виталия держала сторону Леоноры: «Ты женился, учти это». Только теща оказалась на высоте: «Жена, конечно, первый человек в

твоей жизни, но и друзья — не последние». Вот такая ему попалась теща, никто не верил, пока с ней не сталкивался. И жена у него была на зависть всем и удивление. Он служил тогда на Украине, потом — академия, потом — Дальний Восток. Каждая встреча с Леонорой — как зеленый луг в алых маках. Убегали от друзей на берег реки, говорили и не могли наговориться.

Впервые он увидел готовую, достроенную дачу, когда, получив длительный отпуск, приехал дописывать диссертацию. Ступил за ворота — и замер. Не было ничего лучше на свете, чем эта дача. Оборудовал себе в сарае кабинет, окошко прорубил, стекло вставил. Из окошка коляска под сосной видна. Ирка маленькая в ней спала. Леопора ворвется в сарай, обнимет теплыми загорелыми руками: «Господи, мы там обед варим, пеленки стираем, а в это время на земле испаряются нефтепродукты. А этот человек сидит и спасает человечество от страшной беды, изобретает тепловую изоляцию резервуаров». Теперь спроси у нее, как полностью называется его институт, — не скажет.

И еще она тогда говорила: «Я хочу, чтобы ты скорей стал стареньким, лысым и маленьким. Посажу тогда тебя в хозяйственную сумку и буду всюду носить с собой». Может, у нее вся любовь выплеснулась сразу, не растянулась на долгие годы? Или он тогда не нуждался в ее словах, а когда они понадобились, она их забыла? Или просто-напросто стучится в окошко сарая, который уже давно оттягали Копыловы, его старость?

— Иди, Зойка, спать, а то еще что-нибудь скажешь душевное.

Зойка поднялась, он тоже покинул крыльцо, опять пошел бродить по участку. У тещи было открыто окно, горел свет.

— Здравсьте, — он положил подбородок на подоконник, — здравсьте, давно не виделись.

Теща сидела в кресле в глубине комнаты с книгой в руке. Бодро вскинула голову, улыбнулась ему:

— Не спится? Могу дать в долг рюмочку ликера.

— А уж просто задаром угостить зятя — не заслужил?

— Марьяна говорит, слишком вас тут много.

— Но зять-то один.

— В этом ты прав: какой бы ни был зять, но единственный, другого уже не будет. Так наливать?

— Спасибо. Не надо. Пугаете среди ночи — «какой бы ни был». Каким же, по-вашему, должен быть зять?

Теще вопрос не понравился. Она брезгливо сложила губы и покачала головой: большой уже мальчик, нехорошо такие вопросы задавать старшим.

— Знаешь, чего я не могу простить отцу Леоноры? Перед тем как на мне жениться, он всех родственников и друзей обошел и с каждым советовался: жениться — не жениться?

Скажи пожалуйста, простить не может. Кому? Человеку, которого уже давно нет в живых. Скорей всего, сказать нечего, отгородилась от всех книгами, прогулками, письмами к оставшимся в живых подругам. Глядит на всех мудрыми глазами, а толку-то с этой мудрости?

— У вас нет к нам вопросов? — спросил он. — Вас устраивает ваша жизнь с нами?

— Вполне, — ответила она. — Меня устраивает моя жизнь. Когда тебе будет восемьдесят два года, ты тоже будешь доволен жизнью, какой бы она ни была.

Пока были живы отец и мать, дача была местом покоя, строгости и бесконечного труда. Отец не разгибался с рассвета до вечера, мать, давно забыв, что была когда-то военным хирургом, весь день что-то мыла, варила, приколачивала. Только в воскресенье отец надевал генеральский мундир и садился к самовару, поджидая своих фронтовых товарищей в гости. И мать преображалась: надевала шелковое платье, молодеда и, как казалось Виталию, с грустью глядела на дом свой, на сосны во дворе, на гостей. Не могла, наверное, совместить их боевые мундиры с новой, тяжелой и в то же время пьянящей жизнью дачевладельцев.

Виталий и Леонора в те годы тяготились укладом жизни на даче. У него от лопаты, от солнца, припекавшего затылок, мутилось в глазах. Леонора, ползком на коленях пропалывая грядки, роняла на всходы слезы. Он запирался в сарае, диссертация была спасением от всей этой изнуриловки. Леонора приходила к нему в сарай жаловаться: «Не нужны мне эти яблоки, помидоры и огурцы. Я их в рот не возьму. Я здесь как на барщине, как до отмены крепостного права».

Виталий Максимович только после смерти отца понял, чем была эта дача для старого генерала. Этого не только он с Леонорой, но даже и мать Виталия тогда

не понимала. Дача для отца была молодостью, вырвавшейся на простор страстью, которую крепко всю жизнь держал военный мундир. Еще задолго до революции забрали его, крестьянского паренька, в армию, с Георгиевским крестом за первую мировую пришел к красным. Так и выпала ему на всю жизнь военная дорога до самого генеральского чина, до полной отставки в сорок седьмом году. И когда через три года взялся он за топор и грабли, когда собственными руками саперной лопатой вознамерился выкопать колодец, сын не понял его, сказал жене: «Жадным стал отец на старости лет, колодец сам роет». А в отце кипела крестьянская кровь, он наворачивал, заново переживал свою молодость, отдавал земле то, что недодал. И все у них на этой земле росло, как на дрожжах, и сама дача была не просто домом, а существом с характером, прочным, понимающим себя.

«А нас воткнул в эту дачу,— думал Виталий Максимович об отце,— и бросил, не научил, не объяснил, что с ней дальше делать».

Что развело его с Леонорой? «Когда я служил на краю земли — ты была рядом, хоть я и жил без тебя, один. Здесь же ты рядом — и тебя нет. Может, это закон: мы вырастили детей и стали не нужны друг другу?»

Утром в машину набилось кроме него пять человек. Он посадил Зойку на станции. Леонора тоже вышла из машины, замялась. У него не было времени ждать, когда она раскроет рот, и он закричал:

— Сколько? Сколько надо?

— Возьми у Евстигнеева полсотни.

Он увидел, как у Зойки дернулось лицо, как напряглась пересевшая на переднее сиденье Лиза.

— Ладно. Возьму.— И нажал на газ, рванул машину, так что утка, зазевавшаяся у обочины, растопырила крылья и чуть не взлетела.

— Папа,— говорила по дороге Лиза,— ты стал жутким деспотом, с тобой стало так трудно.

— Ничего удивительного,— Ира, сидевшая сзади, бросилась на его защиту. Только неизвестно, защита это или просто случай схватиться с сестрой.— Не захочешь, а станешь деспотом. Он скоро нам всем покажет. У него уже осталась последняя струна, вот когда она лопнет, тогда мы спохватимся.

— Какая еще струпа? — Ему не понравились слова старшей дочери. — Что за манера говорить о присутствующем, будто его нет? Я закрываю эту тему.

Он высадил всех у метро, подъехал к своему институту и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, почувствовал, что домашний воз, из которого он раньше так легко и незаметно выпрыгнул вблизи своей работы, сегодня тащится за ним по ступенькам, коридорам, вкачивается в дверь его лаборатории.

Занимать деньги у Евстигнеева он не стал. В институте вообще не было человека с такой фамилией. Лет пять назад он придумал Евстигнеева, когда, продав старую отцовскую «Победу», обзавелся «Жигулями». Леонора не вникала в детали продажи машины, и он отложил тысячу рублей, зная, сколько непредвиденных расходов потянется за новыми «Жигулями». Покрыв днище антикоррозийным слоем, купил два новых запасных колеса, оставшиеся деньги сунул в нижний ящик рабочего стола. Когда купил импортные чехлы на сиденья, Леонора впервые спросила, откуда деньги. И тогда не моргнув глазом Виталий Максимович ответил:

— Евстигнеев одолжил.

Вскоре в институте ввели квартальные премии, и фонд Евстигнеева отныне не скудел...

День тянулся долго и бестолково. Сотрудники знали, что он «двинул себя» на место руководителя отдела, не верили в успех и обращались с ним подчеркнуто мягко. Его не просто обидело, сразило и прибило, что никто из них не прибежал, не обругал, не схватил за плечи — опомнись! — когда узнали о его решении уйти из института в случае провала. К концу дня он не выдержал, спросил у Федора, старого друга:

— Столько мы этой нефти выхлебали с тобой, столько адсорберов до ума довели, а выходит, как и не было ничего?

— Ты о чем? — прикинулся непонимающим Федор. — С чего такое упадничество?

— Меня не конкурс, Федор, волнует. Меня ты волнуешь, такие, как ты. Будет Лаптев, меня не будет, а вам все равно.

Федор опустил голову: не заведено у них было говорить друг с другом откровенно о том, что напрямую не касалось работы.

— Ты только не сердись, постарайся понять, — Фе-

дор не отрывал взгляда от пола, — это же все равно тебе. Это же ты нас решил бросить. Ты же по нас не плачешь?

— Понятно. По одному слезы лить негоже. Если уж лить, то мне, масштабно, по целому коллективу. Больше вопросов нет.

Федор попытался дать задний ход, забормотал что-то про докторскую, которая сдохнет у Виталия, если тот уйдет из института, но эти слова ничего уже не значили.

Рабочий день закончился, он уже с портфелем в руке шел к дверям, когда раздался телефонный звонок. Звонила Леонора:

— Достал деньги? Надо купить билет до Краснодара. Наденька сегодня уезжает.

— Так это для Наденьки? Теперь, как я понял, она уедет. Но для этого мне надо взять билет и отвезти ее на вокзал? Слушай, может, она и тебя прихватит с собой? И еще этих, как их, наших дочерей Иру и Лизу?

Леонора дала ему выпустить пар, молча выслушала, даже хихикнула.

Он подобрал Леонору на углу сквера, вместе поехали на вокзал за билетом, потом захватили Наденьку и двинулись на дачу. Поезд уходил ночью, до отхода оставалось еще несколько часов.

— Поедем на дачу, — заявила Леонора, — Наденьке надо поужинать и отдохнуть.

Утром, когда по дороге на работу он подвозил дочерей и Марьяну в город, струна была натянута, раздражение захлестывало, и он был на самом краю взрыва. Теперь же, когда его превратили в Наденькиного извозчика, когда впереди маячил утомительный маршрут в город и обратно, струна повисла, спокойствие, какое бывает после купания в реке, разлилось по телу, и он понял, откуда это спокойствие. От подчиненности. Леонора знает, куда надо ехать, кого везти. Он этого не знал. А когда не знаешь, лучше всего стать ведомым. Как у отца тяга к земле, так в его крови жила армия. К тому же, если он не поедет, Леонора сама сядет за руль, а он будет страдать, слоняться по участку, ждать ее, думать о конкурсе, о Лаптеве из Иркутска, о словах Федора, что никто не заплачет — по одному коллективы не плачут.

Он тоже не заплачет. Ему государство положило

пенсию не за красивые глаза, за верную и трудную службу. Может быть, утверждая военным эти ранние пенсии, чья-нибудь чуткая душа учла не только самое службу, но и то, что ей был отдан человек без остатка, без возможности жить всегда с семьей, ходить в театры, видеть, как умнеют дети. Вот он и пробует, пока старость еще не навалилась на плечи, рассмотреть своих дочерей, обрести Леонору. Что не пройдет по конкурсу — в этом он уже был уверен.

За спиной, на заднем сиденье, Леонора утешала Наденьку:

— На будущий год обязательно поступишь. Я уверена — у тебя несомненный талант.

— У меня слишком хорошие внешние данные, — ответила Наденька, — а в этом году набирали уродов.

Ира, Лиза и Марьяна остались в городе. На даче было непривычно пустынно и тихо. Теща встретила их, сообщила, что Копыловы час назад уехали, но заявятся завтра, у них отпуск. На столе стоял еще горячий самовар, они зажгли на террасе свет, сели за стол.

Виталий Максимович пил чай, молча поглядывал на Наденьку, та сидела напротив, прямая и отчужденная, колечки пуховых невесомых кудрей ровненьким полукругом лежали на лбу, так же ровненько отделяли затылок от шеи. Не прическа, а шапочка. Шапочка на голове, головка на тоненькой, как карандаш, шее.

— Значит, решили стать артисткой, — сказал он ей, — будете изображать на сцене людей всех веков и народов?

— Сначала надо поступить, — Надежка поглядела на него без всякого дружелюбия. — Мне еще нет восемнадцати, еще есть время.

— А если никогда не поступите?

Наденька покраснела, и он понял, что не просто задал вопрос, а ударил ее.

— Тогда выйду замуж. Буду растить детей.

— Замуж выйти проще, чем стать артисткой? Здесь на уродах моды не бывает?

— Оставь девочку в покое, — вступилась теща. — Она станет артисткой.

— Я добьюсь, — Наденька благодарно посмотрела на старуху, — у меня не просто талант. Я настойчивая. И еще я знаю: нельзя никому делать зла, тогда и тебя зло не коснется.

Вот как много знает человек в семнадцать лет! Никому не делай зла — и собственное счастье в кармане. А то, что таланту нужна еще и Леонора, которая бы кормила, поила, пылинки сдувала, а еще лучше — дядя родной, директор театра, об этом талант не думает. Слишком тонкая у тебя, девочка, шея. Я не возражаю, пожалуйста, становись артисткой. Только не изумляйся лет через десять, сделав открытие, что таланту нужна особая судьба.

В город ехали молча. За рулем сидела Леонора, он — рядом с ней, Наденька — сзади. Легла на бочок, голову — на чемоданчик, выставила острые коленки и спит. Кто эту судьбу знает, может, и станет артисткой, знаменитостью? Леонора скажет: «А помнишь, как ты против нее ополчался?»

У вокзала он не вышел из машины. Леонора взяла чемодан, другой рукой обняла Наденьку, та повернула голову, кивнула своей пуховой шапочкой: «До свидания».

Что-то тяжелое, до конца не понятое уезжало вместе с ней. Виталий Максимович положил руки и голову на руль и закрыл глаза. Проснулся от голоса Леоноры. Она говорила:

— Зачем надо было ехать? Перебирайся на заднее сиденье и спи.

Он не шевельнулся.

— Я хочу поговорить с тобой, Леонора.

Он повел машину, Леонора сидела сзади. Он увидел в зеркале ее осунувшееся лицо.

— Ну, говори, — после долгого молчания раздался ее голос.

— Кто такая Наденька? По какому поводу она свалилась на нашу голову? Почему ты почти до исступления служила ей...

— Наденька — дочь Людмилы, — перебила Леонора.

— Какой еще Людмилы?

— Ты вспомни.

Он вспомнил. Свернул на обочину и остановил машину.

Сколько же ему тогда было? Двадцать четыре. Гарнизон на Украине.

Маленький домик за частоколом тополей, в котором он снимал комнату. Там и была эта Людмила, дочка хозяйки. Студентка Людмила, приехавшая домой на ка-

никулы. Он не знал еще тогда Леонору. Тогда его женой должна была стать Людмила. Это решила ее мать. «Выбирай, дорогой постоялец, или ты с Людкой идешь в загс, или я иду к твоему командиру полка». Он рассказал об этом разговоре Людмиле, надеясь, что она посмеется. Но та вдруг заплакала. «Разве я тебе обещал жениться?» — спросил он.

«Я думала, это само собой разумеется», — ответила Людмила. Он быстро успокоил: «Не плачь, женюсь. — И пошутил: — Это ведь только в первый раз в загс идти страшно». Шутка и решила дело. Людмила оставила ему письмо: «Как же так можно: столько говорил о любви и не любил... Это страшно, Виталий». Она уехала в город, в котором училась, а его вскоре послали в академию.

— Где ты ее откопала... Людмилу? — спросил он жену. — Каким образом она возникла на горизонте?

— Она не возникала, — голос Леоноры звучал за спиной, но казалось, что он доносится из глубокого колодца. — Она приехала через десять лет после того, как вы расстались. Ей надо было узнать, что с тобой стало, как ты живешь.

— И ты ее успокоила. Объяснила, что я счастлив.

— Нет. Я просто ее глазами посмотрела на тебя. Увидела, что и меня ты не любишь, что держат тебя возле меня дети, а еще больше — дача.

— При чем тут дача?

— Не мы ее строили, не нам ее делить.

Он понимал, в чем она его упрекает. Этого требуют от своих мужей все жены: вечной, на одной, самой высокой ноте звенящей любви. Большой беды не случилось, вот и вспомнила, заговорила о Людмиле, разбередила рану.

Чтобы оборвать разговор, спустить Леонору на землю, он сказал:

— Я, наверное, скоро уйду с работы. Обстоятельства складываются так, что мне придется уйти.

— Я знаю, — отозвалась Леонора. — Мне Зойка говорила.

— А на что жить будем, тоже знаешь?

— Пойду работать. Я уже об этом думала. У Иры стипендия. У мамы и Марьяны пенсия.

— Вот ты как заговорила. Может быть, вообще без меня обойдетесь?

— Это решать тебе.

Объявили итоги тайного голосования. Все двинулись из зала. Виталий Максимович, стараясь не столкнуться взглядом с Лаптевым, искал глазами Федора.

— Живой? — спросил Федор, приблизившись сзади. — А меня тут выделили разведать насчет твоих ближайших планов. Есть предложение завить твой провал веревочкой. Козловский зовет к себе, а я вспомнил, что у тебя летом квартира пустая. Заметано?

Виталий Максимович не сразу понял, о чем говорит Федор. Когда понял, всем существом воспротивился: не хотел, не мог никого из них сейчас видеть и слышать, да еще за столом, да еще у себя дома. Будут утешать, остеречь по поводу нового начальника, отговаривать от пенсии.

— Не могу, — сказал он. — Извинись перед ребятами. Кстати, можешь успокоить их: я еще не решил окончательно уходить с работы.

— Они уже настроились на другое утешение, — Федор щелкнул себя по шее. — Может, передумаешь?

Он выждал, когда все разойдется, вышел на улицу и подошел к машине. Ехать на дачу — об этом и думать не мог. Может быть, в ресторан, в вокзальный? Подсесть к одинокому транзитному сверстнику, послушать, как сложилась его жизнь и чего он ждет от нее в будущем. Или посидеть за рюмкой коньяку, удостовериться, произведет ли еще впечатление на белокурых красавиц с подносами в руках? Чепуха! Он весь переполнен собственными печальями, и ничто временное не даст ему забыть о них.

Остановил машину у гастронома, купил бутылку коньяку и, выходя, увидел на углу будку телефона-автомата. Зойка? Нет, это лишнее, еще что-нибудь вообразит. Вот он к кому поедет — к Копыловым.

Открыла дверь маленькая старушка, мать Катерины. Виталий Максимович уже много лет не видел ее, забыл имя, но оно и не понадобилось.

Старушка поначалу слова не давала ему сказать:

— Ох, Виталий Максимович, дорогой вы мой, что же делать? Сеня с Катериной к вам поехали. Да поставьте свой портфель. У меня такой борщ...

Она провела его в комнату, потопала на кухню, и оттуда доносился ее старческий радостный говорок. Стена над тахтой была увешана фотографиями в рамках. Где-то там среди множества лиц и его, детские. Сеня,

когда привел его впервые в дом Катерины, держал возле этих фотографий битый час: «Это ты, это тоже ты, а это мы с тобой... А этого помнишь?»

Старушка щедро устала стол, бутылка, которую он достал из портфеля, пришлась к стати.

— А я сижу, вдруг звонок. Что такое? Неужели Катерина с Сеней вернулись? А это вы! — Она заново переживала радость его появления, суежилась, хлопотала и, только когда он наполнял рюмку, замолкала на полуслове и глаза у нее становились грустными. — Ничего, ничего, пейте, — спохватывалась она, — мы от этого отвыкли, у Сенечки язва. А вы пейте, если здоровье позволяет.

И все же она была матерью, не могла до конца смириться, глядя, как друг ее зятя сидит и один пьет.

— Выпить для дурости под хорошую радость, — говорила она, — дело возможное. Только вот что я вам скажу, Виталий Максимович, кто это дело полюбил, кто им увлекся, пусть ничего хорошего в жизни не ждет. Я так и Сене, когда он был молодой, говорила, и он не обижался. Разве бы у них была машина, разве бы они так любили друг друга, если бы это зелье в доме держали?

Он хотел ей сказать, что не пьет, что просто день сегодня такой, но последние слова старушки словно толкнули его в грудь:

— Значит, любит Сеня вашу дочь? Так я понял?

Старушка застеснялась, но справилась с собой, поборола смущение, ответила, глядя прямо в глаза:

— Муж и жена. Кого же им еще любить? Не хуже меня знаете, сами женатые.

От всех сполна он получил сегодня. По полному счету. С авансом на будущее. Вот куда его прибило, вот кто его учит уму-разуму. Как только вас зовут, бабушка, дай бог вспомнить.

— Скажите, — обратился он к гостеприимной хозяйке, — если я машину у вас возле дома оставлю, ничего, не уведут?

— Со спокойной душой оставляйте. У нас гаража нет, так что на Сенечкино место смело и ставьте.

...Он стоял у освещенного сквера, выглядывая такси. Вот тебе и скряги Копыловы. А Зойка? Та, конечно, бережет в чистоте и неприкосновенности звание друга дома. Какого дома? Есть дача: стены, потолок, терраса, окна. Это еще не дом. Дом — это совсем другое.

«У вас стол — большой, как сцена». Ошибаетесь, девочка, это не сцена, это круг, неподвижный и замкнутый. И как его расцепить, разъять? Как обратить лица сидящих за ним друг к другу? Или это ему одному надо вглядеться? Не спеша в каждого. И, может быть, тогда он увидит любовь Катерины и Сени, узнает, о чем думают Марьяна, дочери, вспомнит, что живет на свете Людмила, его первая незадавшаяся любовь... И тогда будет легче понять, почему он провалился на конкурсе.

В голове не гудело, равновесие не подводило. «Дай вам бог, праведники,— думал он,— в свои полста опорожнить бутылку коньяку и стоять на своих двоих среди ночи такими трезвыми и умными».

Вдали показался зеленый огонек. Виталий Максимович вышел на мостовую и поднял руку с портфелем.

Машина выкатилась за город, побежала вдоль маленьких домиков, отгороженных от дороги заборчиками.

— Следующий переулок налево,— сказал водителю Виталий Максимович.

Вышел из машины, протянул деньги и, помахивая портфелем, направился к калитке. Когда-то в такие поздние приезды его встречала Леонора, выбегала из темноты, обдавала радостным смехом. Сейчас он шел по тропинке и ничего не ждал. Небо висело над ним черное, без луны и звезд, и дача, к которой он приближался, казалось, лежала на брюхе и спала мертвым сном.

КАК ТЫ ТАМ, ВЕРУСЯ?

Март никого не обманывает, даже если он холодный, даже если пасмурный. Все равно весна. Пройдет месяц-полтора, и городок зацветет вместе с деревьями. Вспыхнут новой краской павильоны и кафе, на окнах пансионатов появятся занавески, а на автобусных остановках — очереди. «Сезон, девочки, сезон,— скажет Дайна Карловна,— теперь Магде некогда будет произносить речи в зале, а Тамаре читать в сушилке газеты».

Каждый раз перед новым сезоном Веруся чего-то ждет. Как будто что-нибудь может случиться. Но ничего не случается, только работы больше да старый бухгалтер из санатория «Чайка» исчезает на все лето. Осенью и зимой этот бухгалтер приходит каждый ме-

ся, садится в кресло Веруси и глядит на себя в зеркало тяжелыми осиными глазами. Веруся быстро накидывает на него простынку, оборачивает его толстую шею целлофановым шарфиком, чтобы краска не попала ему на воротник, и так же молча, торопясь, готовит крепкий раствор гидропирита. Ева и Луция за ее спиной переглядываются и улыбаются. Чем быстрее Веруся покрасит голову бухгалтера, тем скорей он уйдет. Это единственный случай, когда Веруся стыдится своей работы. Ей стыдно за старого бухгалтера, который не хочет быть седым, а хочет быть каштановым. Она красит его шестой гаммой и с ужасом глядит на его палец, который бухгалтер сует в мокрые от краски кудри и потом этим пальцем подкрашивает себе брови. Когда бухгалтер уносит из парикмахерской свою кудрявую каштановую голову, Дайна Карловна говорит Верусе:

— Ты не должна обращать внимания на улыбки Луции и Евы. Он не донжуан. Он нормальный старый человек. Просто он привык быть каштановым, и, когда становится седым, это его огорчает.

— Вы не знаете мужчин, — вылезает Ева. Когда разговор заходит о мужчинах, она всегда спорит. — Этот бухгалтер думает, что у него все впереди. Мужчины всегда так о себе думают.

Ева маленькая и толстенькая, шеи не видно, и, когда она надевает бусы, они сзади наезжают ей на затылок. В свои тридцать шесть лет она тоже думает, что у нее все впереди. Надо только как следует сесть на диету. Перед каждым новым сезоном Ева на нее садится и целую смену говорит про калории. Слушать ее невозможно, она нагоняет на всех такой аппетит, что, не дожидаясь обеда, маникюрша Магда собирает деньги, вручает их Верусе и отправляет ее в магазин за молоком и булочками. Потом все едят, а Ева глядит на них и чувствует себя на высоте.

— Вы проглотили сейчас, — говорит она, — минимум по триста калорий. Чтобы от них избавиться, надо с грузом в двадцать килограммов пройти быстрым шагом до аптеки и обратно.

Самое несправедливое в этой диете, что Еву она не берет. Ева не худеет.

— Хоть бы грамм, — жалуется Ева. — Каждое утро хожу в платную поликлинику, у них в вестибюле очень точные весы, и хоть бы грамм.

— Когда человек целый день говорит про диету, а на ночь ест пирожки с мясом,— это говорит Лудия,— то даже странно, что он не толстеет. Наверное, весы в этой платной поликлинике не совсем точные.

Ева чуть не плачет от этих слов, уверяет, что дома ест только обезжиренный творог, что ее мама уже месяц не печет никаких пирожков, но Лудия ей не верит. Она такая, что может обидеть Еву, но Дайна Карловна этого не допускает.

— Когда ты похудеешь,— говорит она Еве,— то будешь, как серенькая мышка, а сейчас ты, как красивая кошка с зелеными глазами.

После слов Дайны Карловны всегда мир. Она старше всех. Но не все старые добрые и умные. Маникюрша Магда тоже старая, ей сорок два года, но ведет себя часто глупо: кричит, обижает своих клиенток и сама на них обижается, в книге предложений, которая висит на гвоздике в кассе, всего две жалобы — и обе на Магду.

На улице март. Толстые сосульки вчера весь день срывались за стеклянной стеной парикмахерской и с глухим стуком разбивались на узкой полоске асфальта, окаймляющей здание. И с деревьями сегодня происходит что-то похожее. Ледяные полые трубочки трескаются на ветвях и веточках и сыплются на головы прохожим. Совсем недолго постояли деревья в своем ледяном наряде, а потом он зазвенел, посыпался. И сразу стало видно, кто в этом городке живет, а кто приезжий. Приезжие шарахаются от легких льдинок, сбегают на мостовую или пробегают под деревьями, подняв над головой портфель или сумочку. А Веруся идет и не прячет лицо, подставляет его легкой невесомой льдинке, которая медленно кружит к земле и иногда задевает щеку. Вот уже четыре года живет она в этом городе, а все кажется, что приехала сюда вчера, не совсем и вот-вот эта жизнь оборвется. Очень жаль, что этот курортный городок временный и непостоянный в ее жизни. Но не надо его оплакивать, надо радоваться этим сыплющим ледяную стружку деревьям, а летом бесплатным радостям на морском берегу. Разве где-нибудь еще продают такой вкусный творог, разве есть где еще такая копченая рыба? Потом она будет вспоминать и творог, и рыбу, и белый морской песок под ногами. Жалеть не будет, просто вспоминать.

Янис утром сказал:

— Если ты еще один раз затронешь мою работу, я прекращаю с тобой всякие разговоры. Я умею молчать. Ты это знаешь.

Она не только это знает. Ему ничего не стоит молчать две недели подряд, потому что он в ней не нуждается. Он знает все, что она может сказать, и ему неинтересно ее слушать. А что ему интересно? Шить дамские брюки? В новом сезоне он будет их шить в большом количестве, и к нему будет очередь. Здесь летом часто бывают дожди, и брюки нужны всем из цветной ткани, легкие, летние. Она понимает, что работа не может быть плохой, если человек умеет ее делать. Какая разница, кому шить брюки, мужчинам или женщинам. Но ей стыдно и неловко, когда приходит краситься старый бухгалтер из санатория «Чайка». А Янису все равно, кому шить брюки. И еще ему все равно, как ей живется. Когда-то он так любил ее, что каждый день писал письма. «Как ты там, Веруся? Почему ты там, а я здесь?». Потом они поженились и стали жить рядом. С первых дней Веруся почувствовала, как все изменилось не только вокруг, но и внутри нее. Раньше она ничего не боялась, кроме грозы, когда никого нет дома, и контрольных по алгебре. А теперь стала бояться своей жизни. В первый же раз, когда Янис пришел под утро, вошел в сердце этот страх: он ее разлюбил, он уйдет когда-нибудь вот так навсегда, и тогда ей тоже надо будет куда-то идти, неизвестно куда.

В парикмахерской, только она открыла дверь, сразу встретил ее голос Магды. Магдин столик стоит в углу передней у входа в зал, в этой же комнате и стулья для очереди у левой стены.

— Это не ногти, это квартира перед генеральной уборкой,— громовым своим голосом возмущалась Магда.— Почему надо ко мне ходить раз в квартал? Что такое случилось? Твоя Рената опять нашла себе жениха, и опять будет свадьба? Так еще ж не сезон!

Клиентка, которой Магда делает маникюр, как в кафе. Магда держит ее руку и орудует режущими инструментами, в это же время обращается к очереди:

— Она ходит ко мне, когда в ее семье должно быть какое-нибудь событие. Ты ведь можешь это подтвердить, Айна?

Пожилая Айна, которая выбирается в парикмахерскую тоже раз в квартал, отчего пробор на голове из-за

отросших седых волос светится лунной дорожкой, невозмутимо молчит, но Магду это не смущает.

— Все это могут подтвердить,— кричит она,— но все молчат. Одной мне больше всех надо. Я давно раскусила эту публику. Если я, не дай бог, попаду под машину, вы все пройдете мимо и никто не позвонит в милицию, хотя телефоны-автоматы через каждые два шага.

— В больницу, Магда! — Это подсказывает ей из зала Луция.— В больницу надо звонить, а не в милицию.

Дверь между залом и передней раздвижная, и зал перед очередью, как сцена, на которой с утра до вечера один и тот же спектакль: кому-то моют голову, кого-то стригут, чью-то уже готовую прическу прыскают лаком.

— Мне надо, чтобы этого хулигана-шофера привлекли,— отвечает Магда.— Я не какая-нибудь эгоистка, мне справедливость дороже собственной жизни.

Веруся входит в зал, и Дайна Карловна сразу поворачивает в ее сторону свою большую в пепельном парике голову, улыбается и кивает. И Ева поднимает вверх ручку и шевелит короткими пальчиками, и Луция приветствует. Только Тамара не смотрит в ее сторону. Она вообще ведет себя всегда так, будто ее нет. Работает, работает... Когда работы нет, уходит в сушилку и там читает газеты, которые берет на столике в передней. Луция говорит, что у Тамары средневековый характер, она, наверное, влюбилась в кого-нибудь, когда училась в десятом классе, и теперь ждет, когда ее предмет закончит институт и прискачет за ней на белом коне.

Тамара среди них самая молодая и серьезная. Когда человек молчит, старательно работает, а в минуты простоя читает газеты, это серьезный человек. Верусю тоже бы считали серьезным человеком, если бы не Янис. Яниса в парикмахерской все дружно не любят, даже справедливая и добрая Дайна Карловна.

Янис родился и вырос в этом городе. Родители его совсем недавно перебрались в Ригу. Отца и мать знал весь город, они торговали на базаре цветами, собственными цветами из собственной оранжереи, но все равно за ними тянулось злое слово — «спекулянты». А Янис был их сыном. Где что выгодное — там и Янис. Была артель по изготовлению пуговиц — Янис сидел за ста-

ночком. Открыли бюро по найму квартир на курортный сезон — Янис за столиком в этом бюро. Потом закончил курсы закройщиков, женился, но загляни вечером в бар «У хромого Эдгара» — за столиком обязательно Янис. И на углу в выходной день в толпе бездельников — тоже Янис.

Все жалеют Верусю. Бедная девочка, надо было сначала хорошенько разузнать, что за фрукт этот Янис, а потом уже идти с ним в загс. Но разве поверишь чужим словам, когда любишь?

Лучия отпустила клиентку и позвала Верусю:

— Иди, Веруся, пока никого нет, причешу тебя.

Лучия лучше всех крутит фен, он в ее руках прямо поет, волосок к волоску, и пышность такая, будто волос стало вдвое больше. Ева говорит, что Лучия возле своего рабочего места должна повесить табличку: «На бигуди не кручу и не крашу», тогда все поймут, что Лучия только крутит фен и делает модельную стрижку. Все клиентки будут довольны, и мастера тоже. Вся химия и окраска достанется им, а Лучия своим феном заработает не меньше. Но Лучия мастер широкого профиля и работать только феном не согласна. Она вообще с принципами. В прошлом году воевала против слова «клиентка», пока заведующая парикмахерским хозяйством ей не сказала:

— Если для вас это слово старорежимное и у вас от него уши вянут, можете говорить «гражданочка» или «дама», а у нас в инструкции записано «клиентура», значит, для отдельного человека «клиент» или «клиентка».

У Лучии муж работает начальником цеха на мебельной фабрике, сама она народный заседатель, и, хоть она не всегда такая добрая, как Дайна Карловна, Веруся любит ее больше всех. Вот и сейчас она крутит фен, причесывает Верусю, а кто бы другой это делал, это же не развлечение, а добавочная бесплатная работа.

— У вас много денег на книжке? — спрашивает Лучия. — Я вчера видела Яниса в сберегательной кассе.

У Магды собачий слух. Она тут же кричит из передней:

— Он ест дома на ее деньги, и за квартиру она платит. А муженек все свои деньги просаживает «У хро-

мого Эдгара». Даже странно, что ты его видела в сбер-
кассе.

— Если бы он все просаживал,— говорит Ева,— откуда у него была бы машина? Он не так прост. Он живет на ее деньги, а свои копит. Он столько зарабатывает на своем поприще, что «Эдгар» обходится ему в маленький процент. Вы разве не знаете, что он перешел на дамские брюки?

Верусе некуда спрятать лицо, Лудия еще не закончила прическу. Ресницы у Веруси не накрашены, и она пятерней смазывает выступившие слезы. Спасение может прийти только от Дайны Карловны. Лудия, когда дело касается Яниса, беспощадна. И спасение приходит.

— Так трудно слушать ваши разговоры,— говорит Дайна Карловна,— что у меня иногда болит голова. Почему вы говорите о Верусиной жизни так, как будто ее здесь нет?

Дайна Карловна, как всегда, ставит точку. Вопросительная интонация в ее словах не вопрос, это упрек. Все его принимают и оставляют в покое Яниса. А Лудия говорит Верусе:

— Ты нас, пожалуйста, извини.

Когда после работы все выходят на улицу, Лудия немножко провожает Верусю и говорит на прощание:

— Ты не должна на меня сердиться, что я не люблю твоего Яниса. У меня дочка. Дети быстро растут. И я иногда не могу уснуть от страшных мыслей, что моей девочке может встретиться в жизни такой Янис.

«За что вы его так не любите?» — хочет спросить Веруся, но Лудия непременно скажет что-нибудь такое, отчего слезы опять застелют глаза. Они не все справедливы, эти слова. Янис совсем не такой, каким они его себе представляют. В прошлом году он купил ей на день рождения дорогое кольцо. С зарплаты всегда приносит сумку продуктов, их маленький холодильник еле умещает все эти свертки с едой и баночки, которые он приносит. С чего они решили, что он живет на ее деньги? Может быть, у него есть сберегательная книжка, о которой Веруся не знает, но это не оттого, что он жадный и копит деньги втайне от нее. Просто он живет отдельно, у него своя жизнь, у нее — своя. Он мужчина, а самое главное для мужчины — свобода. Янису смешны и отвратительны мужчины, которые хотят, по

не имеют права уйти из дома в любое время. Зачем тогда жить?

Комната, в которой они живут с Янисом, большая, с прихожей и отдельным входом. Кухня в другой части дома, поэтому Веруся чаще всего готовит на электрической плитке в прихожей. Только в субботу она появляется на кухне. Пожилая соседка ведет себя так, будто Веруся не имеет права приходить на кухню, хотя по техническому паспорту дома кухня считается общей. У соседки три комнаты, и она твердо усвоила: у кого больше, тот и хозяин. В сезон, когда эти комнаты забиты отпускниками, на кухню не пробьешься. И все-таки легче: тесно, шумно, но на равных правах. Соседка недавно спросила:

— Почему у вас нет детей?

Веруся вздрогнула и, удивляясь своей смелости, ответила вопросом на вопрос:

— Вы хотите с ними нянчиться или это просто любопытство?

Соседка смутилась:

— Я не хотела тебя обидеть. Но, может быть, детей не хочет Янис? Или их нет по другой причине?

Вечером Веруся рассказала об этом разговоре Янису. Тот рассердился:

— Почему ты вообще отвечала! Надо было молчать. Молчание — самый лучший ответ, если хочешь сохранить свое достоинство.

Какое достоинство? Разве оно есть у нее? Разве сам Янис не позаботился, чтобы от достоинства ничего не осталось?

Каждый вечер Веруся ждет Яниса. Это, как болезнь, пока он не придет, она не уснет. Лежит и смотрит на белую дверь, иногда сочиняет письмо, которое оставит ему на столе. «Так, Янис, не только с женой, но и сами с собой люди не живут. Я тебя любила четыре года и каждый вечер боялась, что ты не вернешься, бросишь меня, променяешь на другую. Я очень часто плакала от этого унижения. Теперь от любви ничего не осталось, и я сама ухожу от тебя». На улице проехала машина. Уже, наверное, два часа ночи. Кто-то заколдовал ее: пока он не придет, она не может уснуть. Снотворное без рецепта не продают. А врачу сказать правду стыдно. Врач может спросить: «А если бы ваш муж вообще не почевал дома? Вы бы тогда пикогда не спали?»

Идет. Скрипнуло крыльцо, Янис на цыпочках входит в прихожую. Веруся видит, как он поднимает чайник и пьет из носика.

— Который час? — делая вид, что проснулась, иногда спрашивает Веруся.

— Поздно. Спи.

И Веруся засыпает, глубоко и покойно, будто в одну секунду избавилась от зубной боли.

Новость, что парикмахерскую закрывают, принесла Магда. Вызвала Луцию и Еву в сушилку и там сообщила им эту новость. Дайны Карловны не было, так что получалось, что свой секрет она охраняла от Веруси и Тамары. Луция и Ева вышли из сушилки пришибленные. Ева уставилась на себя в зеркало, и видно было, как ей печально оттого, что она такая маленькая и толстая. Луция позвала из передней клиентку и сказала:

— Давай, Илга, сделаю тебе на прощанье свой знаменитый сессон.

— Почему на прощанье? — удивилась клиентка.

И Веруся удивилась:

— Что случилось? Разве нашу парикмахерскую закрывают?

И тут Магда влетела в зал, не выдержала, раскричалась:

— Закрывают, чтобы избавиться от нас! Вы с Тамарочкой будете работать. Будет молодежная парикмахерская. Салон! А нас в шею, чтобы не портили картину!

Появилась Дайна Карловна, и Магда смолкла.

Они больше часа молчали, работали и молчали. Ева позвонила своей знакомой:

— Если не раздумала делать химию, приходи, очереди нет.

Они все просто мечтали, чтобы работа не прерывалась, и каждую клиентку встречали как подарок. Но Дайну Карловну обмануть не удалось.

— Кто-нибудь говорил, что мне надо оформлять пенсию? — спросила она у Луции.

Та посмотрела на Еву: выручай, и Ева сказала:

— Нас всех хотят оформить в другие парикмахерские. Здесь будет молодежный салон.

— Кто это решил? — спросила Дайна Карловна.

— Будет собрание с представителями, — ответила Магда, — будут объяснять, кому это пришло в голову и зачем это надо. Без нашего согласия, я думаю, у них ничего не получится.

Все заволновались, заговорили, перебивая друг друга, даже клиентки стали возмущаться. Такой поднялся гам, что Лудия не выдержала и крикнула:

— Тихо!

И все смолкли. В этой тишине голос Дайны Карловны окончательно всех успокоил.

— Даже в сезон, — сказала она, — к нам идут в основном пожилые жепщины. Если будут работать одни молодые мастера, парикмахерская потеряет свою клиентуру и свое лицо. И тогда упадет план, а в этом никто не может быть заинтересован.

И на другой день в парикмахерской царило спокойствие. Лудия взглядом предупреждала Еву, чтобы та не смела начинать разговор о молодежном салоне. Если Магда покидала свой столик и появлялась в зале, Лудия тихим голосом отпирала ее обратно:

— Магдочка, твое рабочее место в соседней комнате.

Спокойствие было первое, напряженное. Когда у Веруси упали на пол ножницы, Дайна Карловна схватилась за сердце, а Ева ойкнула и тоже что-то опрокинула у себя на столике.

Собрание, это утром сообщили по телефону, начнется в четыре часа. Все ждали его молча, только клиентки, не понимая, с чего сегодня такая тишина, иногда спрашивали: «Что случилось с Магдой, почему она молчит?»

Собрание началось ровно в четыре. Ева повесила на входную дверь табличку «Санитарный час». Магдин столик пошел под президиум, его накрыли новой простышкой и поставили вазочку с пушистой сосновой веткой. Мастера сели на стулья для очереди, а представители комбината коммунального хозяйства — за парадный столик. Верусю сразу отпустил страх, который жил в ней с самого утра, разговор начался спокойный, понятный, он никому не мог принести беды. Милая молодая жепщина, из тех, кто никогда не ходит причесываться в парикмахерскую — проборчик, два черных крылышка волос сошлись на затылке в аккуратном крендельке, — говорила о том, что молодежный салон, к которому мож-

но будет смело прибавлять эпитет «художественный», — это требование времени, и в их городе давно назрела необходимость открыть такой салон. Она никого не хотела обидеть, называла тех, кто не будет здесь работать, «мастерами взрослого возраста»; говорила, что они от этого преобразования только выиграют: будут работать в хороших новых коллективах, где их с радостью встретят, так как у каждого профессиональная репутация безупречна. Потом выступала другая женщина, постарше и не такая милая, с грубым мужским лицом и низким голосом, но все, что она говорила, тоже не вызвало возражений у Веруси. И эта женщина была права: действительно, по всей стране создаются молодежные смены, бригады, целые стройки и совсем не для того, чтобы подчеркнуть чей-нибудь возраст, а чтобы и людям и делу было хорошо.

— У вас в парикмахерской, — говорила она, — работают две девушки молодого возраста. Одна учится заочно в институте народного хозяйства, а другая и не думает о высшем образовании. А если бы коллектив был полностью молодежный, за нее бы взялись, не дали бы ей отставать от жизни.

Веруса не обиделась, что это ее привели в качестве отрицательного примера, но Еву почему-то эти слова обидели.

Ева взяла слово и сказала:

— Когда в вашем молодежном салоне все лето, в самый сезон, поедут сдавать экзамены, кто работать будет? — Она много говорила, и речь ее была справедливой, но под конец все испортила неправильным заявлением. — Мастеру не нужно высшее образование, — сказала она, — можно кончить пять институтов и никогда не научиться крутить так фен, как Луция. Когда Тамара закончит свой институт, мы ее в парикмахерской не увидим, она уйдет в другое место. Так зачем же ради таких, как она, обижать хороших, преданных своему делу мастеров?

— Какие отсталые представления, — сказала милая женщина в причёске с крендельком и попросила высказаться Луцию.

Луция говорила спокойно, но Веруса чувствовала, чего это ей стоит. Луция говорила, что всякое новое дело должно быть проверено опытом. И прежде, чем открывать салон, есть смысл сначала создать молодеж-

ную смену. Она говорила спокойно и правильно, но Веруся видела, что президиуму ее речь не понравилась.

— Надо прежде всего узнать, что думают об этом сами молодые,— сказала женщина с мужским лицом.

Первой поднялась Тамара.

— Я не понимаю, почему мы тратим время на обсуждение этого вопроса,— сказала она.— Никого не оставляют без работы. А молодежи, конечно, интересней и лучше работать со своими сверстниками.

Теперь весь президиум смотрел на Верусю. Страх, который отпустил ее в начале собрания, снова вернулся и навалился камнем на грудь.

— Если везде для молодежи организуют смены и бригады,— не слыша своего голоса, сказала Веруся,— то мы в этом деле тоже не должны отставать...

— Предательница,— охнула сидящая рядом Магда.

Дайна Карловна после того, как Веруся в растерянности опустилась на стул, поднялась со своего места и сказала:

— Если девочки заявляют, что им будет без нас лучше, то пусть будет так. Я бы только хотела, чтобы они подумали о том, как в один свой еще молодой час они раньше времени станут старухами. Будет такое же собрание, и им скажут: уступите место молодым. И не потому, что вы хуже их умеете работать, а потому, что вам просто больше лет. Я не уходила на пенсию, потому что привыкла видеть каждый день Луцию, и Еву, и Магду, и Тамару, и тебя, Веруся. Мне даже казалось, что я им нужна. Жаль, Веруся, что в твоём сердце ничего такого не было...

Что-то подхватило Верусю и сорвало с места. Входная дверь хлопнула за спиной, табличка «Санитарный час» качнулась и упала на крыльцо. Она бежала, и ей казалось, что все собрание вместе с президиумом гонится за ней. Хотят догнать, повернуть ее к себе лицом и хором, по складам на весь город выкрикнуть то слово, которое сказала Магда. Ступеньки деревянной лестницы, ведущей к морю, стучали под подошвами Веруси, на берегу, подставляя лица солнцу, гуляли отдыхающие. Скоро их тут будет много. Весь берег устелется людскими телами. Пусть загорают, купаются, она ни о чем таком жалеть не будет. Если завтра сойти на какой-нибудь маленькой станции, то работу можно будет быстро найти, теперь чуть ли не в каждом колхозе парик-

махерская. Трудовую книжку перешлют по почте. А Янис наконец-то получит от нее письмо. Она начнет новую жизнь. А в его жизни ничего не переменится. Он и не заметит, что ее уже нет рядом.

Пять лет назад она и не знала, что есть на земле человек по имени Янис. В августе умер отец. На заводе, где он работал, маме, ей и сестренке выдали путевки в пансионат. Так Веруся впервые оказалась в этом городке. Жили в просторной комнате с террасой, купальный сезон закончился, но на морском берегу еще было тепло. Мама садилась под навес, раскрывала книгу и смотрела в нее, не перелистывая страницы. Сестренка нашла себе подружку, а Веруся ходила по берегу и с отвращением отворачивалась, когда кто-нибудь из праздных мужчин посылал ей взгляд. В один из таких дней она увидела Яниса. Он шел к ней из холодного моря, загорелый, стройный, ступил на берег и застыл, глядя на нее.

— Вас не было здесь никогда.

— Скорей одевайтесь, — сказала она ему, — простудитесь.

Потом они ездили в Ригу, бродили по улочкам, пили кофе в маленьком темном баре.

— Я буду звать вас Вия, — сказал Янис, — так звали мою бабушку. Она была такая же тихая и откровенная, как вы.

Янис тогда был тоже тихим и откровенным. Рассказывал, что мечтает жить самостоятельно, родители скоро переберутся в Ригу, и он получит долгожданную свободу. Потом он купил ей букет фиолетовых шуршащих, как шелк, цветов.

— Это лак-фиоль, так называются эти цветы, — сказал он.

Какой был прекрасный день — Вия, лак-фиоль — она сразу прониклась к нему добрым, благодарным чувством.

Она его не обманывала, не старалась казаться лучше, чем есть.

— Я самая обыкновенная, — говорила она. — Я, наверное, никогда не попаду в институт. И вообще в моей жизни не будет ничего замечательного.

— Вы реалистическая девушка, — отвечал Янис, — все другие думают, что их ждет лавровый венок и долго не смолкающие аплодисменты.

Когда она вернулась в свой город, подруги ей говорили:

— Ты очень изменилась, Веруся. Даже говорить стала по-другому, с каким-то акцентом.

А от Яниса шли письма, коротенькие, в полстранички, в голубых конвертах: «Как ты там, Веруся? Почему ты там, а я здесь?» Он сразу забыл, что обещал звать ее Вией, а потом и все другие свои слова забыл.

Веруся покинула берег и по той же лестнице поднялась наверх. Идти домой не хотелось, там опять она начнет ждать Яниса, сочинять письмо, прислушиваться к звукам на улице. Она не пойдет домой, будет так ходить и ходить до поздней ночи, а может быть, до утра. Не так-то легко собрать чемодан и уехать. Уедешь и будешь думать: раньше одному Янису была не нужна, а теперь всем. Чем лучше Еве, у которой нет мужа? И Тамара не была бы такая злая и замкнутая, если бы ее кто-нибудь любил.

Тамарин дом стоял в конце улицы, по которой шла Веруся. Маленький садик, низкие окна. Веруся подошла к окну, в котором горел свет, и постучала. На крыльцо вышла Тамара. Такая же, как на работе: не обрадовалась, что увидела Верусю, и в дом не позвала.

— Ты правильно сделала, что ушла и не слышала всей чепухи, которая была потом. — Тамара улыбнулась, улыбка была нехорошая, злая. — Эти старые дуры искали виноватых там, где их нет. Магда кричала, что срок два года — молодой возраст, что она еще выйдет замуж и у нее будут дети. Еще кричала, что пусть руководство комбината тоже уступит свои места молодым.

— Чем же все закончилось? — спросила Веруся.

— Прошло предложение Луции. Будет в этом сезоне только молодежная смена.

Тамара не знала, какую вину, какой груз сняла с плеч Веруси. Завтра она придет на работу и попросит прощения у Дайны Карловны, Луции и Евы. А Магда скажет: «У вас очень крикливый характер, Магда, но вы справедливая». А Магда возьмет и ответит: «Я не хочу слышать твоего голоса, потому что ты предательница». Надо сегодня, сейчас все объяснить Луции. Она, Веруся, совсем не хотела, чтобы всем было плохо. Она просто не верила, что чье-то выступление может что-то изменить. Она думала, если руководство комбината решило открыть молодежный салон, то, что бы ни говори-

ли на собрании, этот салон откроют. Она скажет Луции всю правду и про Яниса. И если Луция скажет: уезжай от него, она тут же уедет. А Луция это обязательно скажет.

Веруся не шла, а брела к Луции. Как будто не по своей воле шла, а кто-то ей приказал и не выполнить этот приказ было невозможно. Луция жила в новом доме, и, когда Веруся шла через двор к ее подъезду, ей казалось, что из всех окон смотрят на нее и думают: вот идет предательница за своим приговором.

Дверь ей открыл муж Луции, узнал ее и обрадовался:

— Угадайте, кто пришел? Веруся пришла!

И тут же в прихожую выскочила дочка Луции Катенька, взяла Верусю за руку и повела в комнату. Луция и мать ее, и еще, наверное, соседка или родственница сидели за накрытым столом, Верусю тоже посадили за этот стол.

— Очень хорошо, что ты пришла,— сказала Луция.— Это уже поступок. Я не думала, что ты придешь.

Верусе положили на тарелку большой кусок теплого пирога с рыбой, налили в чашку крепкого чая, второклассница Катя подошла к ней и шепнула «Похвали бабушкин пирог», и все перестало быть страшным. Пусть Луция скажет ей самые ужасные слова, она вытерпит.

— Луция, это вы испекли такой замечательный пирог? — спросила Веруся.— Я никогда не думала, что пирог из рыбы может быть таким вкусным.

— Это бабушка,— завизжала Катя.— Только у бабушки такой получается.

Потом Луция собрала посуду, понесла на кухню и позвала Верусю с собой. Вручила ей полотенце, повернулась спиной и стала мыть тарелки и чашки. Голос ее звучал ровно, она рассказывала, как закончилось собрание, и Веруся не посмела ей сказать, что уже знает об этом от Тамары. Когда разговор зашел о Янисе, на кухню вошла Катенька.

— Может быть, не надо об этом при девочке? — спросила Веруся.

— Пусть слушает,— ответила Луция и показала дочке на табуретку, чтобы та села и слушала.— Где она еще об этом услышит? В школе ей об этом не скажут, а знать надо: Так вот, что я тебе скажу про Яниса. Не повезло ему с женой. Я это сегодня только по-

няла. Тоже, как и все, долгое время считала, что виноват оп в вашей семейной жизни один. Видишь ли, Веруся, кто не может постоять за всех, тому еще трудней отстоять себя. Нельзя жить и во всем со всеми соглашаться, надо еще бороться, что-то доказывать и себе и людям.

— Но Янис больше не любит меня,— страдая, что все это слышит Катенька, сказала Веруся.— Любовь не вернешь, если ее уже нет.

— Кто это тебе сказал? — Луцию почему-то рассердили эти слова.— Только человека, который умер, нельзя вернуть, все остальное можно. Любовь — это не подарок, не дар божий. Любовь — это восхищение. Чтобы любовь была всегда с тобой, надо делать все время что-то такое, чтобы тобой восхищались.

— Ваш муж все время восхищается вами? — с недоверием спросила Веруся.

— Да,— улыбнулась Луция.— Он восхищается домом, который мы ведем с мамой, восхищается пятерками и характером Кати, которую я ему родила. Кроме того, ему нравится, как я живу, как отношусь к людям и работе.

— Я тоже тобой восхищаюсь,— сказала Катенька.— Можно я пойду спать?

В столовой часы на стене пробили двенадцать раз. На кухню заглянул муж Луции.

— Я вам еще не нужен? — спросил он.— Или Веруся останется у нас ночевать?

— Нет, нет, спасибо,— ответила Веруся,— я пойду домой.

— Тогда ты нам пужен,— сказала Луция,— пойдешь провожать Верусю.

По дороге Веруся с улыбкой на лице думала, как удивился бы Янис, если бы увидел ее сейчас в этот поздний час на улице рядом с мужчиной. Или, может быть, он уже дома и тоже удивляется, где она, почему ее нет.

Но Яниса дома не было. Не зажигая света, Веруся быстро разделась, юркнула в постель и тут же, не в силах ни о чем больше думать, словно после тяжелой, непосильной работы, мгновенно уснула. Впервые за эти годы она не слышала, как пришел домой Янис, как пил воду из носика чайника и на цыпочках ходил по комнате.



СВОЙ ЧЕЛОВЕК ЗОЙКА

РАБОЧАЯ ПО ДОМУ

Субботу и воскресенье Шура проводила в своей прежней квартире, у сестры. Семья у сестры немаленькая, кроме самой еще муж и два взрослых сына, работы хватало, но это были привычные дела, и Шура ими не тяготилась. К тому же она с детства жила в этой семье, тут ее знали, любили, а когда она отделилась, получила квартиру, то уж совсем стали обожать. И чем больше обожали, тем больше смуты вносили в Шурино сердце. Знала она, за что ее они так любят: все им вымоет, перестирает, выгладит, борщ вечером в воскресенье на три дня сварит. Еще бы не любить. Не раз Шуру подмывало поставить их на место, приехать как гостье, не бросаться с порога в работу, а, здравствуйте, мол, как поживаете, какие у вас новости? То-то бы удивилась Анастасия, и муженек ее Меркурий не сразу бы пришел в себя. Но уже поздно удивлять их, да и себя не переделаешь: родные они люди, по-родному и эксплуатируют ее. Взяли после войны из детского дома, разыскали в такой дали, под городом Томском. Были тогда молодыми Анастасия и Меркурий, только поженились, комната двенадцать метров, а тут и она, третья, ни ребенок, ни взрослая, седьмой класс, четырнадцать лет. Учение шло плохо: школа московская, требования высокие. Меркурий до ночи просиживал с ней над учебниками, и

Анастасия надсаживалась: «Давай вместе это правило выучим». И выучивала. А ей ни к чему эти правила наизусть было знать, она уже тогда институт заканчивала. Если б не эти учебники, хорошая была бы жизнь. Город большой, столица, пойти есть куда и посмотреть есть что. Одели они ее с ног до головы, чтобы не чувствовала себя сиротой, влетела она им тогда в копеечку.

Вспомнит все это Шура, и желание удивлять сестру отступит: Благодарность не перешагнешь: если бы не они, где бы она сейчас была, что бы с ней было? Конечно, как-нибудь да сложилась бы жизнь, до старости в детском доме не держали бы. Но вряд ли она была бы довольна другой жизнью. Все у нее есть: и квартира, и одежда, и деньги на книжке. И уважением людей не обделена. Когда в человеке нуждаешься, хочешь не хочешь — уважение ему оказать обязан.

Возвращалась Шура в воскресенье последним трамваем. Ехать надо было больше часа, времени достаточно и повспоминать, и обо всем передумать. В этот раз в вагоне былолюдно. На задних сиденьях расположилась молодая компания с гитарой. Ехали молча, не пели, не кричали, натрудили, видно, где-то голоса, отдыхали. Напротив Шуры сидела женщина с краснощеким мальчиком на коленях. Мальчик не спал, круглые живые глаза с интересом разглядывали людей. Переводил свой детский взгляд с одного на другого и вдруг застыл на мужчине, сидевшем через проход от Шуры. И было от чего остолбенеть: кепочка на мужчине, как на клоуне, маленькая, в клеточку, по плащу золотые пуговицы, а самому, ну не меньше, чем сорок пять.

Мужчина улыбнулся мальчику и спросил:

— Как зовут?

Тот сразу охотно ответил:

— Левочкой меня зовут, привет!

И так это у него смешно вышло — «привет!», что и Шура улыбнулась.

— Года два, не больше, — сказала она, — а уже какой общительный — «привет».

— Такие они теперь, — ответил мужчина. — И ничего ведь не поделаешь. Мы в его возрасте в это время спали, а ему это не надо. Ты ведь никогда не спишь? — обратился он к мальчику.

— Еще как спит, — ответила за него мать, — особен-

но утром, когда надо в ясли идти. Ему два года и десять месяцев.

Так они разговаривали, пока мужчина не вскрикнул: «Ой!» Это ему показалось, что он проехал свою остановку. Шура рассмеялась, и мать мальчика тоже. Они уже вроде как познакомились; когда мальчик заклевал носом, мужчина ладонями стал выбивать на стене дробь, кто-то из компании с гитарой подал голос:

— Вот это класс!

— Это еще не класс,— откликнулся мужчина,— вот когда вы мне подыграете, тогда будет класс.

Забренчала гитара, парни тоже стали стучать по своим сумкам и чемоданчикам, мальчик на коленях у матери запрыгал, забил в ладоши, и так вот весело и дружно они доехали до остановки, на которой Шуре надо было выходить. Мужчина в кепочке тоже сошел.

— Мы соседи? — сказал он.— Великолепный район. А вы, наверное, сюда переезжать не хотели? Окраина, конец света...

— Ну что вы,— возразила Шура.— Скажете тоже. Я сюда ехала, как на свидание со своим счастьем. Всю жизнь прожила в семье сестры, а тут получила отдельную квартиру. Уже три года живу и нарадоваться не могу.

— Хорошее состояние души — радость. Я тоже живу и всему рад. Но переезжать сюда не хотел. Все-таки далеко. На такси три рубля до вокзала.

— А вы трамваем,— посоветовала Шура,— если так часто на вокзал ездить приходится. Вы, значит, работаете по железнодорожной части?

— Какой из меня железнодорожник? — вздохнул незнакомец.— Разве похож? Моя вторая жена уверяла, что я похож на клоуна.

— Сколько же у вас жен было и что они еще про вас говорили? — спросила Шура небрежно, пусть не думает, что на дуру набрел, что каждому его слову она верит.

— Две всего и было,— серьезно ответил он,— и очень давно, можно сказать, в молодости. Так что все разговоры забыты.

— Я уже пришла,— сказала Шура и показала на свой шестнадцатиэтажный дом.

— И я уже дома,— сказал он, показав на такое же строение рядом.

Таких домов в новом районе было много, но эти два

стояли посреди бывшего пустыря, как близнецы, взявшиеся за руки.

— Не хочется идти домой,— сказал незнакомец.— Махнули бы вы рукой на предрассудки и пригласили меня на чашку чая.

— Среди ночи?! — Шура возмутилась.— Да я и в молодости себе таких глупостей не позволяла. И вообще не тот это разговор. Может, у вас со зрением плоховато или не умеете людей различать?

На это он ответил, что видит каждого человека насквозь с первого взгляда и ее разглядел. Ему такие люди нравятся: простые, самостоятельные, без претензий на что-то там такое.

Шура за свою жизнь наслышалась о себе много хорошего. И с деловой стороны, и по женской части. До сих пор то одна соседка, то другая спросит, каким она пользуется кремом, не верят, что у нее свой, природный цвет лица. А волосы так даже гуще, чем в молодости, и в зубах ни одной пломбочки. Только вот руки из карманов хоть не доставай, тяжелые, наработавшиеся.

— А может, я замужем? — хотела спросить легко, а получилось через силу, невесело.

— Тогда бы вы по-другому домой шли,— ответил мужчина.— Когда человека ждут, он совсем по-другому идет домой.

«Ишь ты,— подумала Шура,— наблюдательный какой». И вдруг поняла, что это не простое знакомство, а какой-то знак в ее жизни. Не случайно они встретились среди ночи, что-то из этого будет.

— Тогда давайте ко мне зайдем,— продолжал незнакомец.— У меня варенье из грецких орехов есть. Из Армении привез.

Шура уже не возмущалась.

— А зачем вы ездили в Армению, что там делали?

— То, что и везде. Работал. Я дома мало бываю. Поездка за поездкой — гастролы.

— Так вы артист?

— Музыкант.— И объяснил, что работает в инструментальном ансамбле барабанщиком. А когда выезжают на гастролы, то он у них начальство, бригадир. Бригада — это побольше, чем ансамбль, это еще и певцы, и танцоры, и жонглеры.— Работа на большого любителя, не задремлешь.

Шура с большим уважением поглядела на него: вот

тебе и кепочка. А у самой сердце сжалось, сейчас он спросит о ее работе, и она ответит: рабочая по дому, и добавит, что это же та же уборщица, только теперь в высотных домах кроме уборки подъездов еще и надзор за мусоропроводами, лифтами, тоже не задремлешь. Хотя какое там «тоже», разве можно сравнивать его работу и Шурина? Чтобы опередить его вопрос, Шура сказала:

— Ночью все кошки серы, а женщины завлекательны. Давайте встретимся при свете дня. Посмотрим друг на друга, а там уж и решим, пить нам чай с вареньем из грецких орехов или не пить.

Это предложение не вызвало возражений, хотя мужчина и вздохнул, протянул руку на прощанье и представился:

— Павел Иванович, в дальнейшем — Паша.

— Шура. Если больше нравится — Александра Михайловна.

Утром Шуру разбудил телефонный звонок, как током ударил. Вскочила, схватила трубку.

— Шурочка, дорогуша, умоляю. Морозы скоро нагрянут, а у меня окна с прошлой осени немытые.

Звонила продавщица Люся из сто седьмой квартиры. А она схватилась, обрадовалась, подумала, что это Павел Иванович. Спит он еще и телефона ее не знает. Это она на рассвете уснула, а мужчинам такие встречи — семечки.

— Сегодня не смогу, — ответила она Люсе.

— А завтра?

— Завтра посмотрим. Звони.

С жильцами, нуждающимися в ее труде, у Шуры были сложные отношения. Таких, как продавщица Люся, молодых, не шибко образованных, она откровенно презирала. Других, пожилых, при должностях, терпела, стиснув зубы. Отучился городской народ от физического труда да еще ищет виноватого: ах, домработницу не найти, ох, никто не хочет заниматься домашней работой. Однажды Шура не выдержала и сказала Люсе:

— Что ты от имени всех людей выступаешь? Ты от себя говори: я не хочу заниматься физическим трудом. Ты так скажешь, другой, третий, и тогда будет понятно, что никто не хочет, некому плакаться.

— Так я же какие деньги за эту работу плачу,— обиделась Люся.— Министр за час столько не получает.

— А ты не плати,— посоветовала Шура.— Зарплата у тебя небольшая, с чего это ты так ее раскидываешь?

Люся прикусила язык. Но она в доме была на этот счет не самая дурная. Два кандидата наук с первого этажа, муж и жена, те вообще ничего не соображали: зазвали как-то Шуру к себе и предложили за мытье окон такую сумму, что у той ноги подкосились, на стул пришлось сесть.

— Да за такие деньги,— сказала она,— вы уж лучше новые стекла вместе с рамами вставьте, дешевле будет.

Вот так цены сами взбьют, а потом недовольствуют; дороговизна, когда так было? Всегда так было, считала Шура, никогда домашним трудом человек заниматься не хотел. Деваться людям было некуда, вот и шли в услужение. А теперь никто не хочет идти.

Сама она мыла чужие полы и окна не от доброты к людям и не от нужды, а из расчета. Ленивицей последней надо быть, чтобы от такого приработка отказываться. К тому же хватали ее за рукав, просили, умоляли. Когда у сестры жила, по квартирам не ходила, там бесплатной работы по хозяйству хватало, там трех мужиков только накормить — сил не останется. А когда одна стала жить, куда свободное время девать?

Но в это утро продавщица Люся со своими немывыми окнами словно окатила холодной водой: не мечтай, о чем не надо, помни, кто ты есть такая. А она всю ночь промечтала, даже представила, как они с Павлом Ивановичем в загс идут, потом квартиры свои обменивают на одну большую. На свадьбе — только Анастасия и Меркурий, даже племянников не будет. А то еще брякнет кто из них: нянька. «Кончилась нянька, вынянчила. Своих детей заводите и нянчите», — говорила племянникам Шура, сидя ночью и замирая перед своей будущей жизнью. Потом поднялась, подошла к шкафу, открыла дверцы. Запах дорогих-неношенных вещей дохнул на нее обещанием счастья. Это уж одно к одному: сначала квартира появилась, потом вещи хорошие, а теперь вот и Павел Иванович встретился. Не ко всем в молодости счастье приплывает, к иным — в старости.

Свои сорок четыре года Шура считала старостью.

Что бы там ни говорили соседки про цвет лица, про фигуру, прожитые годы все на месте, припаялись, ни одного не отлепишь.

Не один раз она могла выйти замуж, да не вышла. То Анастасия вмешивалась, отпугивала женихов, то сама Шура, подумав, прикинув, отказывалась. Особенно жестоко Анастасия поступила с первым женихом, Володей. Жил Володя в соседнем доме, во дворе все прохаживался, ее караулил. Потом записку ей в карман сунул: давай дружить. Шура ответила: давай, и стали дружить. В кино ходили, в парк, целовались в каждом безлюдном месте. Анастасия, как узнала про эту дружбу, так чуть не свихнулась от страха: «Ребенка в подоле принести хочешь? На этом же Володе написано, чего он от тебя добивается». «У нас серьезно,— ответила Шура,— как ему комнату на заводе дадут, так мы тут же и поженимся». Анастасия быстро собрала сведения: «Комнату ему дадут! Койку ему в казарме приготовили! В армию осенью идет». Шура тогда исполнилось восемнадцать, ходила в девятый класс вечерней школы и работала почтой няней в яслях. У Анастасии сын родился, про верить, куда Шура ходит вместо школы, ей было некогда. Но все раскрылось, когда Шуру не допустили до экзаменов. «Вот до чего тебя довел этот подлец»,— сказала Анастасия, взяла веревку и пошла в соседний дом, в котором жил Володя. Там на глазах матери и соседей стегала его этой веревкой, пока он не вывернулся и не убежал. Любовь кончилась. Володя негодовал: «Это же Москва! А она, как дура деревенская, с веревкой явилась. Я на нее в суд подам!» Шура смеялась: «А я при чем? Суд ее не засудит, у нее ребенок грудной». Из армии Володя прислал письмо, опять про любовь вспомнил, но Шура ему не ответила. Имя его не могла слышать, так Анастасия каждый день им пилила.

После тридцати Шура на свое замужество махнула рукой: живу в семье, среди родных, чем жизнь Анастасии лучше моей? В два раза больше меня получает, и Меркурий, начальник цеха, хорошо огребает, а перед зарплатой у кого двадцатку одалживают? У Шуры. Сестра, наверное, думала, что как сойдет Шура с дармовых харчей, как станет платить за свою квартиру, так и прибежит к ним плакаться. А она вторую сберегательную книжку завела, в ближайшей к дому сберкассе, мебельный гарнитур купила. Одежда такая в шкафу, что

надевать страшно, из зеркала совсем другой человек смотрит.

Шура закрыла шкаф и стала собираться на работу: надела халат, на него ватник, завязала по брови платок, усмехнулась: «Если даже случайно встретится Павел Иванович, не узнает». Все в это утро пело в ее руках. На что раньше уходило три часа, за час вымылось и вычистилось. В лифте поговорила со старичком Брандебовским, тот со своим пуделем возвращался с прогулки.

— Что-то Арно ваш сегодня скучный, не заболел?

— Кошка его унизила. Хотел познакомиться с ней, а она зашипела, когти выпустила, — ответил Брандебовский.

В другой день Шура бы подумала: «С детьми так не нянчатся, как с собаками», но сегодня старый Арно и его дряхлый хозяин не вызывали протеста.

— Что-то внуков я ваших давно не видела, — сказала Шура.

— Правнуков, — поправил Брандебовский. — Сентябрь. Уроки. Холодный выдался сентябрь. Вы не скажете, когда будут включать отопление?

Шура не знала, но ответила, что скоро включают, так как есть приказ в холодную осень топить, не дожидаясь официального срока.

До трех часов еще оставалось много времени, и Шура решила сходить к Маргарите Николаевне, соседке, которая жила с ней на одной лестничной площадке, дверь в дверь. Маргарита Николаевна уже три года была на пенсии, но работу не бросала, имела такую возможность. Была она, судя по всему, хорошей машинисткой, со всех концов города ей везли в перепечатку диссертации, романы, доклады. Всем своим посетителям Маргарита Николаевна говорила, что у нее легкая, счастливая рука, угощала их на выбор кофе или чаем, всегда у нее на столе лежала коробка дорогих конфет. В мае она собирала чемодан и на два-три месяца отправлялась в Крым. Шура восхищалась соседкой. Маргарита Николаевна не была простой, без претензий на что-то там такое. Наоборот, она высоко себя ставила. Шура убирала ее квартиру, чистила пылесосом ковры и полки с книгами, мыла посуду, которая дожидалась ее немытая иногда по нескольку дней, и все это из уважения, по-дружески, без всякой платы. Расплачивалась с

ней Маргарита Николаевна разговорами. Расстилала белую скатерть на столе, расставляла тарелки из дорогого сервиза, угощала и рассказывала разные новости. Когда посетители приносили ей цветы, она всегда отделила часть букета и дарила Шуре.

Открыв дверь, Маргарита Николаевна, как она это часто делала, без всякой просьбы в голосе сказала:

— Шурочка, мне еще три странички осталось. Ты пока достань из холодильника утку. Что-то утки захотелось с кислой капустой.

Утка в холодильнике, конечно, была неприготовленная, лежала, как камень, в морозильном отделении. Досадуя на себя, что не может отказать, Шура бросила ее в кастрюлю с горячей водой. Раковина, ясное дело, в грязных чашках и тарелках. Стала быстренько мыть посуду, заодно вымыла и пол на кухне. Когда утка поспела в духовке, тут же утих и стрекот машинки. Шура сказала с обидой:

— Хотела с вами поговорить, да теперь уж некогда.

Павла Ивановича она увидела из своего окна. Было без десяти минут три, а он уже прохаживался во дворе в своем плаще с золотыми пуговицами. У Шуры заколотилось сердце. «Блажь все это, глупость. Какая они пара? Хоть бы пуговицы на плаще сменил, не молодецкий». Поглядела на себя в зеркало: «Его критикую, а сама на кого похожа?» Зря приbedнялась, вид был — лучше не надо. Пальто серое, австрийское, с серебристой порочкой по вороту, сапожки легонькие. Волосы зачесала гладко, а косу в три круга обернула и повыше на затылке подняла. Благородная прическа, лицо все на виду — глаза выразительные и взгляд умный, серьезный. Но вошла в лифт и засмушалась, словно каждый посмотрит и поймет, куда это и к кому она собралась. Лифт никто не остановил. Тяжело дыша, Шура обогнула дом и вышла навстречу Павлу Ивановичу.

Когда немолодые люди настроены на серьезный шаг, они не топчутся на месте, не цетляют, как молодые. Это у молодых: ссоры, бесконечные выяснения отношений, даже скандалы. А что выяснять? Если человек хороший и ты его можешь полюбить, то это чувствуешь сразу. Шура, когда при свете дня увидела Павла Ивановича, сразу поняла: полюблю. Все это ерунда: золотые пуговицы на плаще, кепочка в клеточку. Пуговицы можно поменять, кепочку — выбросить. По-настоящему

смущала Шуру профессия Павла Ивановича. Конечно, руководитель, бригадир — это хорошо, но ведь основное, прямое его дело — колотить в барабан. Она еще не видела этого барабана, но уже представляла его, а над ним лица Анастасии и Меркурия: ну и наделала ты, Шура, грохоту!

Когда недели через две после их чаепитий и разговоров о жизни, Павел Иванович предложил ей стать его женой, Шура тяжело вздохнула:

— За барабанщика надо выходить замуж в молодые годы.

Другой бы обиделся, возмутился, но Павел Иванович только печально улыбнулся.

— В молодые годы, — сказал он, — ни одна девушка не знает, за кого она выходит. Думает, что за слесаря, а на самом деле — за будущего директора завода или за будущего алкоголика. Думает, что за студента, а на самом деле — за великого ученого или будущего ведущего телепрограммы. Не обижайся, но ведь и твою работу не отнесешь к числу престижных. Но она тебе правится, а мне — моя, и в этом залог, что мы будем верными и своему делу, и друг другу.

— Моя работа незаметная, — сказала Шура, — но дефицитная. Нарасхват такие люди, как я. За такой женой ты, как за каменной стеной жить будешь.

— А мы и так живем за каменными стенами в своих квартирах, — ответил Павел Иванович. — Мне друг нужен, родная душа.

Квартира у него была точь-в-точь такая, как у Шуры, но, конечно, вся захламленная. Паркет не циклеван, он у него весь прямо кудрявился, как травой порос. Ни кровати, ни тахты — раскладушка. А вдоль стены — барабаны и барабанчики.

Она уже много знала о его работе. Знала, что все эти барабаны и барабанчики называются ударными инструментами. И артистов, членов бригады, стала понемногу себе представлять — дети. Если бы Павел Иванович не возил с собой электрическую плитку, чайник и утюг, они бы ничего на своих гастролях не заработали. Питались бы в ресторанах, одежду отдавали бы в утюжку, а в гостиницах такие цены! Трудная это была работа, сочувствовала она Павлу Ивановичу. Да еще эти барабаны, в которые он бил. С барабанами Шура долго не могла примириться:

— Как же ты их на сцену доставляешь?

— На такси.

— Оплачивают?

— Рубль. А все, что сверх,— за свой счет.

— Так, может, есть смысл второй комплект купить, держать его на вокзале в камере хранения? А то ведь из конца в конец города, на такси, да и морока с ними.

Только услышав невозможно высокую цену нового комплекта, Шура успокоилась и даже зауважала ударные инструменты: кто бы мог подумать — тысячи!

Были и другие у нее сомнения:

— Поженимся, а ты уедешь. Будешь ездить, а я дома — сидеть и ждать.

— Я тебе телеграммы присылать буду, — отвечал Павел Иванович. — Все шлют, а я только в концертное бюро: певица нас покинула, командируйте другую.

Певицы Шуру не волновали. Никто ему не мешал жениться, хотя на самой голосистой. Певица, видно, хороша на сцене, а дома нужна такая, как Шура. Чтобы дом чистотой благоухал и на столе не котлеты магазинные, а пельмени собственного приготовления со сметаной с базара.

В субботу Шура позвонила сестре:

— Я к тебе завтра не одна приду. Можно?

Анастасия даже не поняла:

— Повтори.

— С Павлом Ивановичем хочу к вам заявиться. Как вы на это смотрите?

Анастасия растерялась:

— Что еще за Павел Иванович? Я Меркурия с мальчиками за город отправляю. Мы же шторы с тобой собирались стирать, окна мыть.

Ну просто все с ума посходили со своими окнами, что Люська, что Анастасия.

— Замуж я выхожу. Если не хочешь знакомиться, как хочешь.

— Боже мой! — воскликнула Анастасия. — Извини меня, я ведь не догадалась. Конечно же приходите, какие там окна! И Меркурий и мальчики, вообще все будет, как надо, ждем.

Они действительно приготовились. Даже окна не лучшим образом, но вымыли. Шура с порога отметила их старания. С кухни неслись запахи праздничного обе-

да. Анастасия сияет, племянники улыбаются, даже Меркурий вышел в коридор, там и познакомился с Павлом Ивановичем, повесил его плащ на вешалку.

Павел Иванович вошел в чужую квартиру, будто уже бывал здесь не раз. Шура даже побледнела от гордости, так у него это все хорошо получалось: и поведение, и разговор. Меркурий встал на колени перед буфетом, достал с нижней полки свою заветную наливочку на мяте. Да и Шура с Павлом Ивановичем не с пустыми руками пришли: бутылку коньяка принесли, коробку дорогих конфет.

На кухне, когда Шура с Анастасией мыли после застолья посуду, старшая сестра сказала:

— Боюсь за тебя. Поздновато к тебе личное счастье приплыло. И разные вы. Он, как мячик, звонкий, легкий, а тебя уже ни в какую сторону не повернешь.

— Значит, советуешь отказать, пока не поздно?

— Ничего такого не советую, просто боюсь за тебя.

Шура помолчала, потом сказала:

— Другого боишься. Кончается Шура, бесплатная домработница.

Не знала Шура, что так обидит сестру, та даже за сердце схватилась.

— Как у тебя язык повернулся? Мы же родные. Я, Шура, и представить себе не могла, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова.

Эта размолвка осталась между ними, не стали они ее раздувать, никто ее и не заметил. По дороге домой Павел Иванович нахваливал Шурину родню, особенно ему понравились племянники. Шура тоже была ими довольна, ни разу не назвали ее нянькой. Перед тем как попрощаться, Шура сказала Павлу Ивановичу:

— Я к тебе завтра раненько приду. Пора привести твою квартиру в божеский вид.

Павлу Ивановичу не хотелось расставаться с ней, но Шура настояла:

— Отдохнуть мне надо. Знаешь, сколько на твою квартиру трудов уйдет?

— Да ну ее, — махнул рукой Павел Иванович. — Потом как-нибудь вдвоем наведем порядок или вызовем бригаду из фирмы «Заря».

— Чего же раньше не вызывал?

— Честно? — Павел Иванович потупил глаза. — Де-

нег не было. Мне надо, Шура, об этом сразу сказать. С капиталами у меня туговато, от получки до получки, никаких накоплений.

— Это потому, что один, холостяк,— объяснила Шура.— Хотя есть и семейные, которые жить не умеют. Те же самые Меркурий и Анастасия. Оба на высоких ставках, Дима тоже на зарплате, у Толика стипендия, а как дверь в сберкассе открывается, не знают.

Вечером, когда она уже легла в постель, позвонила Люська:

— Если ты, Шурочка, от меня отказалась, то скажи прямо, и я с твоего горизонта исчезну.

— Про что это ты?

— Про окна.

Шура засмеялась:

— Отказываюсь. Не только тебе отказываю — всем. Ищите другую Шуру.

Люська не поверила ей:

— Пробросаясь. И на меня больше не рассчитывай. Все в порядке очереди. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Шура понимала. И не надо. Живут люди без Люсек, меньше денег на еду уходит. А то ведь надо, не надо, а берешь килограммами дорожную рыбу. Как же, случай, Люська облагодетельствовала! Она Паше пельмени будет лепить, пироги печь. Ни одна красная рыба, никакая копченая колбаса не сравнится с домашней едой.

Квартиру Павла Ивановича она отмывала с такой яростью, какую никогда не испытывала ни на работе, ни в чужих квартирах. словно соскребала и вытравливала со стен и полов всю его прошлую жизнь. Сложила раскладушку и вынесла в коридор. Барабанов не было, их увезли в заводской Дом культуры, где уже вторую неделю ансамбль участвовал в концертах. Когда окна, стены и полы засияли чистотой, Шура огляделась кругом и вдруг решила: куплю и повешу занавески. Сходила домой, взяла деньги и отправилась в промтоварный магазин.

Павел Иванович оценил ее старания. Открыл дверь и замер на пороге:

— Так не бывает! — Потом он увидел занавеси на окнах. Шелковые, синие, в белых разводах, они спадали с потолка к полу.— Это теперь уже не окна, а море, и

над ним чайки. А этот чистый благословенный дом — наш корабль...

Когда он так говорил, Шура хотелось закрыть глаза и слушать его слова, как сказку. В детском доме перед сном дежурная-старшеклассница иногда читала по книжке какую-нибудь небывалую историю. Но это была не Шурина сказка, ее читали всем. Рядом с Павлом Ивановичем у нее часто возникало настроение, какое бывает у людей только в детстве.

— Тише,— говорила она,— а то ведь, если кто-нибудь тебя услышит, то посчитает тебя ненормальным.

— Если кто-нибудь услышит,— отвечал он,— то поймет одну простую истину: молодость — это не молодые годы, это когда люди любят друг друга.

Он радовал, пугал и смешил ее своими словами. Подносил к губам ее натруженную, некрасивую руку и целовал. Шура сжималась: не было никогда такой любви на свете, даже в сказках любят только молодых.

— Как же это ты тогда ночью разглядел меня? — спрашивала она. — Столько девушек вокруг, столько молодых женщин?

— В том-то и дело, что их очень много,— отвечал Павел Иванович. — А все, чего много, не имеет цены. Человек всегда тянется к чему-то единственному. К единственной работе, к единственной родной душе. И сам он стремится быть единственным в своем роде.

Во вторник они отнесли заявление в загс, а в среду Павел Иванович уезжал на гастроли. Такси взяли с открытым багажником, который находится за спиной пассажиров. Заехали в Дом культуры за ударными инструментами. Потом поехали в другой конец города, где жил кофепромышленник Жорик. Шуру смешило, что взрослого человека Павел Иванович называет Жориком, и она с интересом ждала встречи с ним.

Жорик оказался худеньким юношей в дымчатых очках. Он невесомо опустился на сиденье такси, рядом с Шурой, поднял плечи, и лицо его при этом нырнуло вниз, вовнутрь пальто.

— Бу-бу-бу.— Шура не могла разобрать, о чем он говорит, а Павел Иванович понял.

— Перестань бубнить,— сказал он Жорик. — Я слушал сводку, погода такая же, как и здесь.

Но Жорик все бормотал себе что-то под нос, и Павел Иванович рассердился:

— Сейчас высажу. Поедешь трамваем.

Конферансье утих, а Шура подумала: терпенье надо особое с такими Жориками.

У входа на перрон их поджидала бригада. Шура сразу выделила двух немолодых девушек. На одной была яркая шуба из рыжей синтетики, на другой, тонкой, как гвоздь, колыхался длинный, чуть ли не до колен, свитер. Когда Павел Иванович познакомил с ними Шуру, они сразу заулыбались, а стоявшая рядом женщина с собачкой под мышкой подошла поближе, протянула руку и сказала:

— Поздравляю.

Когда погрузили в вагон инструменты и вещи, оказалось, что опаздывает пианист Медведев. Он прибежал за несколько секунд до отправления с чемоданом, из которого торчал угол рубашки. Павел Иванович с облегчением вздохнул, но хорошее настроение к нему уже не вернулось. А Шуре настроение испортил минут за десять до отправления конферансье Жорик. Подбежал, наставил на нее свои дымчатые очки и, оглядываясь по сторонам, сказал:

— Идиотская история. Только что свистнули кошелек. Пожалуйста, дайте десять рублей. Я вам вышлю.

Шура протянула ему десятку, не сомневаясь, что дарит ему эти деньги.

Попрощалась она с Павлом Ивановичем издали. Из вагона вытискивались провожающие, проводница торопила их, потом сказала проходившему мимо железнодорожнику с красной повязкой: «У меня рейсик с барабанами, не заскучаешь». Павел Иванович стоял у окна в проходе вагона и махал Шуре рукой. На лице его застыла виноватая улыбка.

Шура вернулась к себе домой, как из далекого путешествия. На сердце было смутно, беспокойно. Жалко вдруг себя стало: люди поют, танцуют, разъезжают по разным городам, а она, как приговоренная, сидит на одном месте. Не дурак Павел Иванович, жену себе приискал, какую надо для дома, а сам будет ездить — разъезжать со своими артистами. А ей телеграммы будет слать. Конечно, можно посылать телеграммы, если не думать, сколько это стоит. Что-то стронулось у нее в душе, поглядела на шкаф с одеждой, на палас молдавский на стене, прошла на кухню — сверкает кухонька белой мебелью, ни пятнышка, ни царапинки на ней. Но

не радуется, как раньше. Словно глядела она на свое добро глазами Павла Ивановича: не в вещах счастье, не в деньгах. А в чем? В любви? Да не задержится любовь там, где бедность, запустение. И так она себя растравила этими мыслями, что даже страшно стало. Вышла в коридор, позвонила в дверь Маргариты Николаевны. Недели две прошло, как не видела соседку, обиделась, наверное, Маргарита.

— Знаю, знаю ваши новости, — сказала, открывая дверь, Маргарита Николаевна. Она стояла в длинном пушистом халате, губы накрашены, на шее в два ряда старинные коралловые бусы. — Чай пить будем или кофе?

Раньше Шура пошла бы на кухню, приготовила бы хозяйке кофе, себе чай, и уж тогда только бы начался разговор. Но сегодня она и не посмотрела в сторону кухни.

— Ничего не хочется, Маргарита Николаевна, места себе не нахожу.

Раньше Шура ничего не рассказывала соседке, та не умела слушать, любила сама поговорить. И сегодня, едва Шура успела сказать несколько слов о Павле Ивановиче, как Маргарите Николаевне все стало ясно, и она заговорила сама:

— Это один к одному история, которая была у меня двенадцать лет назад. Тоже творческая личность. Художник. Я тогда работала в одном литературном издании, рукописей завал, ну и дома, конечно, сложа руки не сидела. А у него мастерская. Я на работу, он — в мастерскую, я — дома, он — в мастерской. Выходила я замуж по любви, и возникли у меня сомнения, один ли он там, в мастерской? И вот в середине рабочего дня ухожу я из редакции, приезжаю в мастерскую, открываю своим ключом дверь и что вижу? А вижу я, Шурочка, такую картину — спит мой художник, храпит моя творческая личность. В то время за левую страницу мне платили десять копеек, чтобы заработать лишний рубль, надо было напечатать десять страниц...

Сейчас Маргарите платили за страницу тридцать копеек и еще приносили цветы, коробки конфет. Она вовремя избавилась от своего художника.

— Люблю, говорил, ты мое вдохновение. Еще бы не любить женщину, которая и себя, и мужа обеспечивает!

Телеграмму принесли на следующий день. Шура

только вернулась с работы, разделась, стала под душ, а тут звонок. Накинула халат, спросила, не открывая двери:

— Кто там?

— Телеграмма.

Да еще и накричала на нее почтальонша: «Сколько можно ждать?» Развернула Шура телеграмму, прочитала и ничего не поняла: «Купил шляпу. Кепочку подарил Жорику. С пуговицами сложнее, эти мне нравятся. Паша». Пока вспомнила, что за кепочка, что за пуговицы, все губы себе искусала. А вечером еще телеграмма. «Скучаю. Павел Иванович». Почтальонша уже не звонила, сунула телеграмму под дверь. Стыд один. Как он не понимает: эти же телеграммы читают и там, где принимают, и там, где разносят. Знала бы адрес, отбила бы ответ: «Не трать деньги на пустые слова, не смейся людей». Но адреса не было, да и не посмела бы она бросить ему в лицо такие слова.

Легла в постель и почувствовала, как устала. Не от работы. Работы было меньше, чем обычно, всем отказала. Только продавщица Люська никак не отстанет. Утром пришла, принесла стакан паюсной икры. «Хоть зуб у тебя на меня,— сказала,— но я с тобой ссориться не хочу. На. Без наценки, по госцене». Шура икру не взяла, не те времена. И так в последние дни выпустила столько денег: на коньяк, конфеты, когда ходили к Анастасии, занавески зачем-то купила, Жорику десятку пожертвовала.

— И по госцене тоже не копеечная,— сказала она Люське.

— Так без денег же! — объяснила та. — Окна мне за это вымоешь.

Ну, просто завернулась на этих окнах.

В воскресенье Шура не поехала к Анастасии. Занемогла. Весь день пролежала. Ничего не болело, а тоска такая, будто хоронить сама себя собралась: гроб заказала, оплатила, а ложиться в него не хочется. В дверь позвонили, Шура не шелохнулась. Не надо ей никаких телеграмм, ничего не надо. Звонили долго, потом стали бить кулаком, Шура поднялась. Думала, почтальон, а это Анастасия.

Сидели долго.

— Ну, ошиблась, поспешила,— успокаивала Шуру Анастасия. — Я это, между прочим, предчувствовала.

Зачем же так убиваться? Это же не воинская повинность, это целиком твоя личная воля. Не хочешь, не можешь — не надо.

— Но ведь заявление отнесли. — Шура плакала, слезы лились ручьем. — Человек он хороший. Такой хороший, что всю жизнь сидела бы, закрыв глаза, и слушала бы его.

— Тогда выходи. Это судьба, твой единственный шанс на счастье.

Утром Шура сказала:

— Не пойду. Не по силам мне это замужество. Своей жизнью жить буду.

Хоть и не спала она ночь, работа весь день спорилась и пела в ее руках. Сама позвонила в квартиру кандидатов на первом этаже, предложила натереть полы, вымыть окна. И Люське окна вымыла. А вечером перемыла Маргарите Николаевне посуду, подала ей кофе, себе налила в чашку чая. Сидела за журнальным столиком, вдыхала запах дорогих конфет и слушала рассказ Маргариты Николаевны про Италию. И не только в Италии она была, в других странах тоже. Развелась со своим художником, стала хозяйкой своему времени и заработкам, чего не ездить.

Когда Павел Иванович вернулся с гастролей, Шура его не встретила. Ее не было в это время в городе. Взяла отпуск и уехала с семьей из сто третьей квартиры в Крым. В этой семье были ребенок и старушка, инвалид первой группы. Шуре купили путевку в пансионат, оплатили проезд и еще сверх всего назначили плату за месяц — сорок рублей. А когда Шура вернулась, загоровшая под южным солнцем, не уставшая от трудов, то заключила с этой семьей письменный договор: с четырех до восьми она будет работать у них, а в субботу и воскресенье — с десяти до четырех.

С Павлом Ивановичем Шура встретилась только весной. Он шел по двору в знакомом плаще. Пуговицы на плаще были другие, синие, сливающиеся с тканью. Поклонился, отвел глаза и пошагал к своему подъезду. Перешел пуговицы на плаще, а вот занавески с окон снять не догадался. Висят, пылятся. К дармовому люди быстро привыкают. И этот привык, забыл, что занавески Шурины, она за них деньги платила.

ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ...

— Ты дома всего полчаса, а у меня такое ощущение, что ты целых три года без передышки тянешь из меня жилы.

Он отвык от ее голоса, от ее манеры больно ранить словами, сидел обиженный, с ощущением пустоты в груди. Было непонятно, каким образом эта пустота мешала дышать, причиняла физическую боль. Были бы слезы, он бы расплакался, громко, навзрыд, как в детстве. Было бы куда, хлопнул бы дверью и убежал.

— Я мечтал об этом дне, — сказал он глухим голосом, чувствуя, что от слов колет в горле и еще тяжелей дышать. — Я так мечтал, а ты все растоптала. Я забыл, что ты такая, я думал, что ты изменилась. Я думал, что разлука хоть чуть-чуть изменила тебя...

— Перестань пороть чепуху. Это я думала, что в армии ты поумнеешь.

Так они встретились. Он все-таки не выдержал и заплакал. Она придвинула к тахте, на которой он сидел, стул, села и тоже заплакала.

— Ну почему ты такой дурак? — плакала она. — Почему ты не прислал телеграмму?

— Потому что я хотел, чтоб неожиданно, — плакал он. — Я мечтал, чтоб без телеграммы, неожиданно.

— А ты не мечтал о том, что приедешь утром и мне надо будет бежать на работу? Не мечтал, что в холодильнике будет позавчерашний пакет молока и полбанки томатной пасты?

— Какое это имеет значение? — он вытер слезы серым, вастированным платком и стал снимать сапоги. — Ты, мать, должна была обрадоваться, а ты не обрадовалась. Ты отвыкла от меня. Если это кому-нибудь рассказать, никто не поверит.

— Господи, так не рассказывай. Ты бы только послушал себя: я, я, я. А я разве не мечтала? Я разве так мечтала тебя встретить? Почему ты не прислал телеграмму?

— У нас многие не послали, чтоб как снег на голову.

— Я думала, что ты стал взрослым. Видно, этого никогда не будет.

Она пересела на диван, обняла родную, пахнущую

чем-то чужим голову сына и ощутила, как пробивается через это чужое забытый запах его младенчества.

— Люблю тебя,— сказала она.— Ты самое драгоценное, что есть у меня в жизни. И никогда не прощу, что не прислал телеграмму.

Никому, никогда, кроме самых родных людей, не в силах мы причинить самой большой боли. И никто, никогда, кроме самых родных, не прощает друг другу эту боль так светло, без остатка.

— Сколько у тебя денег?

— Тридцать рублей.

— Не транжирь. Я отпрошусь с работы. В виде исключения приberi в квартире. Возможно, я приду не одна.

— Я полы вымою,— крикнул он.— Ты даже представить себе не можешь, что я тут сотворю!

Он был рад. Это был его дом, не похожий ни на чей другой. Это была его мать. Она всю жизнь учила его чему-то, не спускала глаз, но он так до сих пор не понял, чего она от него хотела.

— Помкомвзвода Леша Чистяков в конце первого года службы проводил беседу. Целый час говорил, какие матери были у великих людей. Никто сначала не понимал, к чему он вел. «Первый человек, которого вы увидели на свете, была мать. Первое слово, которые вы сказали, было «мама». Мать самый родной и дорогой человек на свете,— говорил он, заглядывая в конспект.— Относиться к ней с любовью — не только ваш сыновий, но и гражданский долг...» Он спросил у Феди Мамонтова:

— Вот как ты, Мамонтов, относишься к своей матери?

— Хорошо,— поднялся рослый нескладный Федя и задвигал круглыми лопатками, будто разглаживал на спине гимнастерку.

— Подробней.

Федя беспомощно зыркнул по сторонам, увидел улыбки и стушевался.

— Чего подробней... Как положено, так отношусь, не обижал никогда.

— А ты, Яковлев, что скажешь?

Он поднялся и тоже, как Мамонтов, оглянулся на товарищей. Они уже не улыбались. Лица были озадачены.

— Я не понимаю вопроса,— сказал он.— Это неестественный вопрос. Каждый человек относится к матери свято. А подробнее про эти чувства расписано в художественной литературе.

Старший сержант Леша надолго умолк. Глядел в упор на него холодными, потерявшими выражение глазами и молчал.

— Разрешите сесть? — спросил он, чтобы выручить Лешу, и тот сказал:

— Садись.— Сам тоже сел.— Очень ты умный, Яковлев. Но меня не собьешь. В книжках про любовь к матери правильно пишут. Но ведь от некоторых эти писания отскакивают, как горох от стенки. Например, от тебя.— С этими словами взводный Леша достал из кармана письмо.

Женька увидел почерк на конверте, и сердце его тревожно дернулось. Это был почерк его матери. И тут же Леша стал читать письмо вслух. От того, что читал он его с собственными интонациями, запинаясь посреди фраз, путая ударения, письмо казалось нелепым, Яковлеву стыдно было слушать эти наивные строчки.

«Добрый день, глубокоуважаемый товарищ командир полка, в котором служит мой сын.

Не знаю, к сожалению, вашего имени-отчества, но почему-то думаю, что у вас есть свои дети, большие или маленькие, и вы меня поймете...»

Она писала о своем сыне, о нем, Евгении Яковлеве, который проходит настоящую школу воинского мужества, наверняка умнеет и крепнет телом, а вот, что происходит с его сердцем,— это ей неизвестно. Ей даже кажется, что сердце его потихоньку черствеет. И, может быть, не только у него, потому что армейская жизнь строга и трудна, среда мужская, всякое сердечное слово, как ей кажется, в такой молодой, мужской среде не в моде, вот и затихают потихоньку в сердце жалость и любовь, тоска по родным людям и доброта. «Я по письмам Женькиного друга к своей девушке знаю, что сын мой жив-здоров. Не знаю, пишет ли его друг своей матери, но мать вашего солдата Евгения Яковлева уже третий месяц заглядывает в пустой почтовый ящик и врет соседям, что «вам привет от Женьки». Я бы могла ему сама написать и нашла бы слова пронять его. Но это не только обидно, это неправильно.

Надо, чтобы у него была сердечная потребность писать, а не мой приказ».

Потом Яковлева вызвал командир части. Извинился.

— Неловко получилось с письмом. Не надо было его читать всему взводу. Перестарался ваш командир. — И неожиданно улыбнулся: — Будете маме писать, кланяйтесь от меня. Она где работает?

— В театре.

— Я так и подумал.

Женька нашел на антресолях свои синие кеды, порывшись в ящике, в котором хранилось старье, и вытащил джинсы. Прежде всего надо было поставить шкаф на старое место. Стало обидно, что она передвинула его и вообще всю мебель переставила, уничтожив его обжитой угол, который он не раз вспоминал вдали от дома. Вся стена была заклеена яркими картинками из журналов. Это был целый мир: вулканы извергались, красавицы в купальниках стояли на берегу моря, брала барьер белая лошадь, четыре заграничных близнеца сидели на горшках в кружевных кофточках. Ничего не говорила, а только он уехал, все содрала. Он загнал кушетку и шкаф на старое место, убрал со своего стола ее флаконы, вазочки и прочую дребедень и передвинул его на старое место.

Вот теперь он дома. Его не ждали. Его даже очень не ждали. А он вернулся и будет здесь жить, как жил. Конечно, не так он мечтал вернуться, не так встречают в эти минуты его товарищей настоящие матери, но обижаться не приходится. Как верно заметил сержант Чистяков: «Она тебя родила и вырастила».

Джинсы висели на спинке стула. Он мыл пол в трусах по новому, освоенному в армии способу, опрокидывал ведро воды на пол, а потом собирал эту воду тряпкой. Вытирал пол досуха и снова окатывал его водой. После третьего ведра пол светился и благоухал, как луг после дождя. Потом он мыл посуду и пел свою любимую песню: «Опустела без тебя земля». Пел громко, наслаждаясь, что может петь во весь голос и никто не прервет, как бывало: «Женька, заткнись, пожалей песню». А Чистяков однажды сказал, как всегда, самые дурные, оттого и самые обидные слова: «Поешь мотивно, а слушать противно».

Потом он надел джинсы и кеды, лег на кушетку и стал думать о Зине. Вернее, он старался о ней не думать

и поэтому думал. Он давно решил, что целую неделю после приезда не будет ей объявляться. Все ей будут сообщать: «Женька приехал», а он даже не позвонит. Стал перебирать в памяти тех, кто прошел по конкурсу. Они уже на третьем курсе. И вообще весь класс на чем-нибудь уже на третьем. Катя Савина, если не развелась, уже третий год замужем. Через неделю после выпускного вечера побежала со своим очкариком в загс. Он вспомнил, как встретила ему эта парочка, и засмеялся.

— Женька, поздравь нас, мы отнесли заявление.

— Спасибо, что напомнили, мне мать шею пропилила этим заявлением.

— Ты о чем? Куда тебя мать гонит с заявлением?

— В институт.

Они, когда разобрались, хорошо тогда поохотали. Катя сказала:

— Ну, прощай, Женечка, и не огорчай маму, неси свое заявление туда, куда она велит.

Они свое отнесли в загс. А Зина отнесла заявление на фабрику. Он встретил ее, когда она уже работала там, и удивился ее отчужденному виду.

— Ты что, как в пропасть провалилась, — сказал он ей, — и не звонишь даже.

— А зачем? — спросила она, и в ее вопросе был вызов.

— Я двух баллов не добрал, — сказал он.

— Знаю, — так же высокомерно, без капли сочувствия ответила Зина.

— В армию иду.

— И это знаю.

Он хотел ее расспросить, почему она сразу сунулась на фабрику, не попытав счастья на приемных экзаменах, но Зина, хоть и стояла рядом, была уже на каком-то другом, далеком берегу.

— Ты меня уже не любишь? — спросил он. Он бы никогда не спросил ее об этом, ведь спрашивать о таком — это унижаться, почти вымаливать любовь. Но он понимал, что, если не спросит, то эта их встреча будет последней точкой. Точка — и все, как будто ничего не было. Как будто не была Зинка самой красивой девчонкой в их школе и как будто не она была с седьмого класса в него влюблена.

— Ты меня уже не любишь? — спросил он, подавляя гордость, не глядя на нее.

— Не знаю, — ответила она. Сказала четко, как будто понимала, что этими словами задала ему задачу на целых два года.

Он помнил ее домашний телефон. Помнил и свое решение — целую неделю не думать о ней. Если любит — сама объявится. Он не забыл, как она возникала в самых неожиданных местах, когда была в него влюблена. Заячья ушанка, из-под которой, как у Марины Влади, свисали длинные пряди светлых волос, светло-карие, блестящие, как желуди, глаза, портфельчик с оборванной ручкой под мышкой: «Ой, Яковлев, это ты?»

«Это уже не я, — говорил он ей, лежа на кушетке и обдумывая свою жизнь. — Это для матери своей я тот же, тут ничего не переделаешь — закон природы. А для всех остальных нету прежнего Женьки Яковлева. Остались джинсы, кеды, костюм, который купили к выпускному вечеру, остались глаза, ноги, имя и фамилия, а все, что во мне появилось, никому неизвестно, в этом я еще и сам не разобрался».

Он думал, что мать приведет гостей и под этот шум конечно же Никанора, но она пришла с Анечкой, которую нельзя было считать гостьей, потому что в их доме у Анечки был не только халат, но и постоянное место за столом, которое никто не имел права занимать, и даже жизненное пространство на кухне, куда, если она оставалась ночевать, устанавливали раскладушку. Они явились с сумками, переполненными покупками, и с огромным букетом гладиолусов. Анечка ставила свою сумку у порога, сунула ему в руки букет, и он вдруг вспомнил, что теперь весь вечер она будет верещать своим тоненьким голоском, и так как он виновник торжества, то смыться из дома не представится возможности.

— Евгений, ты возмужал! — Анечка оглядывала его со всех сторон, а он стоял посреди комнаты с букетом и улыбался. — Туся, он стал настоящим мужчиной. Туся, ты погляди, какой волевой у него профиль.

Их вдвоем он ни разу не вспоминал. Анечка была лет на десять, а то и больше старше матери. У нее была манера, как он установил это еще в девятом классе, оглуплять все, к чему она прикасалась. Хорошее маминимя Наташа в ее устах превращалось в Тусю, новый серьезный фильм — «это, знаете, про то, как один впол-

не приличный человек оказался решительно не тем, за кого себя выдавал». Когда-то в молодости ее бросил муж, и она, когда что-нибудь вспоминала и хотела сказать, что дело было давно, в ее молодости, изрекала: «Это было до моей катастрофы». Он сердился на мать, что та жить не может без Анечки, и, когда хотел обидеть ее, говорил: «Вот теперь ты вылитая Анечка».

Мать работала в театре заведующей реквизиторским цехом, была председателем месткома, а Анечку за беспотолковость, не дожидаясь ее пенсионного возраста, перевели из гримеров сначала в костюмерную, а потом к дверям в зрительный зал. И даже там, у дверей, где зритель сует за программку гривенник вместо двух копеек, она время от времени умудрялась совершать растраты и докладывать рубли из своей полочки.

— Евгений, — поднялась Анечка, когда они собрались за столом и общими усилиями открыли бутылку шампанского, — я хочу объявить тост. Ты извини меня, но в этот торжественный час я хочу пригубить этот божеественный напиток не за тебя, а за Тусю, за необыкновенного человека, который волей таинственных свершений природы оказался твоей матерью...

— Все-таки «оказался» или «оказалась»? — перебил ее Женька.

Анечка собрала лоб гармошкой, подняла вверх нарисованные дужки бровей и умолкла. Мать ущипнула его за ногу выше колена и кивнула Анечке:

— Он потом разберется, продолжай.

Она знала, что она «необыкновенный человек», но одно дело знать, а другое — убеждаться, что это знают другие. Женька потерял ладонью место, куда она ущипнула. Не дождавшись конца Анечкиной речи, отхлебнул из бокала и стал смотреть в угол.

— Я, Анечка, хотела всегда, чтобы он вырос добрым и чутким человеком. Если бы мне предложили выбор: твой сын будет великим талантом, но жестоким, или бездарностью, но с добрым, любящим сердцем, я бы выбрала второе.

Ничего этого она не хотела. Она хотела всегда его мучить. И так, как это у нее получалось, он тоже научился этому. Самые трудные дни у них бывали после разлуки. Соскучившись, они не знали, как подойти друг к другу. Он приезжал из пионерского лагеря, и они ссорились. Она возвращалась из отпуска, и день-другой

их разделяло отчуждение. Сегодня был такой день. Чтобы показать им, что за столом с ними сидит не прежний мальчик Женя, что этот новый Женя еще мало знаком им, он собрал в себе отвагу и спокойным, незаинтересованным голосом влез в разговор:

— А как поживает Никанор? Даже странно, что никто о нем ни слова.

Анечка поперхнулась, мать бросила в его сторону испуганный взгляд, но быстро взяла себя в руки. Ответила неспеша, обдумывая каждое слово:

— Никанор Васильевич живет теперь с нами в одном доме. Удалось обменять квартиры. Что тебя еще интересует?

— Меня он, как известно, никогда не интересовал. Но просто странно, что вы не говорите о нем.

— Мы поженились с Никанором Васильевичем полгода назад,— голос матери звучал ровно.— Зная, что это тебе неинтересно, я не писала.

После этих слов должен был рухнуть потолок или взорваться на кухне газовая плита. Он должен был выскочить из дома, хлопнуть дверь, но ничего такого не случилось. Он откинулся на спинку стула и обиженно произнес:

— Видишь, как славно вы тут без меня устроились.

Анечка очнулась, подняла вверх брови, теперь они придавали лицу отрешенное, смиренное выражение:

— Послушай, Евгений, ты, как все молодые люди, относишься к старшим с предубеждением. Матери твоей всего сорок один год. Это по нынешним временам даже не третья, а всего вторая молодость...

Не надо его утешать, не надо обманывать. Вот почему она так расстроилась, что он заявился без телеграммы. «Люблю тебя. Ты самое драгоценное, что есть у меня в жизни». А этот Никанор, он не драгоценное?

Назавтра он не мог вспомнить, как очутился в тот вечер на другом конце города в квартире Аркадия Головина. Наверное, мать и Анечка ушли в театр, иначе они бы его не выпустили. Аркадий спал. За длинным столом сидело несколько мужчин. Бабушка и мать Аркадия мыли на кухне посуду. Мать ворчала:

— Полсотни кинули, как коту под хвост. Нет, чтобы благородно поговорить, расспросить человека, как служилось, совет дать для настоящей жизни. Глаза налились, и каждый про свое, кто в лес, кто по дрова.— Она

скосила глаз в комнату, достала из мешка с картошкой бутылку, налила в стакан и поставила перед ним. — С возвращеньцем, что-то ты грустный, не догулял, видать.

Женьку развезло от водки, он смеялся, слушая, как Аркашкина мать ругает засидевшихся гостей, потом разговорился.

— Мы с Аркашкой хотели в Чебоксары на стройку тракторного завода поехать. Наших шесть человек поехало.

— Как же это они поехали? Матери все глаза проплакали, дожидаясь, а они, что же, на эту стройку мимо дома сиганули?

— Вы про всех матерей одинаково не судите. Моя, например, пока я служил, замуж вышла.

Аркашкина мать покачала головой, но это был жест не осуждения, это означало: бывает же.

— И хороший человек?

— Хороший... Она из-за него всю жизнь страдала. Я еще маленький был, когда он появился. Автомобили дарил. Я его с детства возненавидел.

— Что же, он семейный был?

— В том-то и дело. Жена три года назад умерла. Я в армию ушел, а они, значит, в загс, не теряя момента.

Аркашкина мать, забыв про посуду, опустилась на табуретку и задумалась. Потом очнувшись, выскочила к гостям и закричала там так, что Женька вмиг отрезвел. Она кричала, что надо бы им пить не в порядочном доме, а прямо в вытрезвителе, чтобы не доставлять милиции хлопот. Что жизнь ее пропала через эту проклятую водку, что они ей всю душу выели и ни одного светлого дня у нее не было. А если Аркашка не будет дураком и уедет на стройку, то она в тот же день соберет вещи, слава богу, груз будет — в одной руке унести, и уедет с сыном, и не вспомнит их поганые рожи.

За столом осталась, видимо, близкая родня, потому что никто не обиделся. В ответ нестройные голоса заплели: «На побывку едет молодой моряк...» Аркашкина мать вернулась на кухню обессиленная, но с чувством выполненного важного дела, села напротив Женьки и сказала:

— Ну, досказывай.

Он не знал, что досказывать, он все сказал.

— Так он женился на матери и занял, выходит, твое место?

Случайно она попала в яблочко, хоть имела в виду совсем другое.

— У него своя квартира. Поменялся, теперь живет в нашем доме.

Аркашкина мать удивилась:

— Так ты радуйся. Мать-то свою жилплощадь тебе оставит.

И тут Аркашкина бабка, которая за все это время не проронила ни слова, тихонько, как мышь, скребла сковородки, вдруг подала голос:

— Выродится такой ублюдок и потом ходит по квартирам, судит мать.

Женька дернулся, как от удара. Бабка была сгорбленная, вокруг головы у нее лежала искусственная коса, сплетенная из желтых ниток. Она была матерью Аркашкиного отца, и поэтому Аркашкина мать называла ее на «вы»:

— Не лезьте не в свое дело, мамаша.

Но старуха сделала вид, что не слышит.

— Вот народи своих детей,— она подошла к Женьке, и он испугался, что она схватит его своими салынными, в черных крапинках после сковородок руками,— народи их, купи им штаны, ботиночки. Себе не купи, а им купи. Кусок из своего рта вырви и им сунь. А потом скажи им: идите, дети, по чужим дворам, славьте родителей, расскажите, каков он дурак.— Она вдруг заплакала, провела ладонью по щеке и оставила на ней черный след, повернула голову к невестке, и тут Женька услышал такое, о чем никогда не задумывался.— Они из армии явились! А мы что, разве не явились? Мы тоже на этот свет, как они явились, тоже люди...

Они повидали почти всех своих одноклассников. Ходили вместе, устало улыбались, слушая, кто, где и как устроился. Про себя считали: одни устроились, другие пристроились. Аркашка долбил: «Я, Женька, не буду отпуск догуливать. Поеду в Чебоксары. Как только ребята письмо пришлют, что общежитие есть, сразу еду». Женьке тоже хотелось в Чебоксары. Но в нем жила еще армия, помнилась тоска по дому, и он боялся, что в Чебоксарах вновь вспыхнет эта тоска. И еще была Зина.

Семь дней еще не прошло. Он не звонил ей и не виделся. Узнал, что она давно ушла с фабрики, поступила в технологический институт.

Катя Савина не развелась со своим очкариком. Женька встретил ее в сквере на скамейке, рядом с детской коляской. Катя читала журнал, в коляске спал щекастый ребенок, из-под одеяла торчали ноги в ботинках, на подошвах налипла земля.

— Год и два месяца,— сказала Катя,— зовут Пашкой. Павел. Редкое имя, правда?

Он хотел спросить, а как зовут очкарика, но спросил другое:

— Ну и что дальше?

— Ты про жизнь? А кто это когда знал или знает?

— Учишься?

— И учусь, и работаю, и еще вот этого деспота выращиваю. На тебя, Женька, хорошо армия повлияла. Ты каким-то другим стал.

— Каким же?

— Не знаю. Менее гордым, что ли.

Ему не понравились ее слова.

— А ты не изменилась. Очкарика, наверное, своего затерзала разговорами.

— Очкарика своего я люблю. Слыхал про такое? Про любовь.

— Слыхал. Ты мне вот что скажи: еще детей рождать будешь?

— Нет.

— Почему?

— Мать жалко. Ведь на ней еду.

После разговора с Катей осталось хорошее чувство. Хорошо, когда человек откровенен, не выпендривается, и еще хорошо, что ты имеешь право говорить с ним, как с другом, потому что знаешь его с первого класса. И еще он подумал о том, что молодость самое странное время. Вот Катька родила Пашку. Полюбила, вышла замуж и родила. А могла бы и не выйти замуж. Герка Родин работает на заводе, говорит: надо было после восьмого идти, протирал штаны на этой парте самых прекрасных два года. Сашка Югов где-то с экспедицией на Севере. Всех по своим местам растыкала жизнь. А может, не по своим? Странно и страшно то, что жизнь твоя зависит иногда от тебя. Поеду с Аркашкой в Чебоксары — и будет у меня одна жизнь. засяду за

книги, поступлю в институт — другая жизнь. Женюсь на Зинке — третья. Так что же из трех? А может, из ста? А есть одно-единственное?

— Мне так горько, — говорила она, — что ты от меня сейчас дальше, чем тогда, когда действительно был далеко. Я всю жизнь хотела быть тебе другом, а потом матерью. Может быть, в этом была моя ошибка. Я слишком была современной. А любовь матерей и эгоизм детей — старинные чувства, их формировали тысячелетия.

— Что ты от меня хочешь?

— Это тоже извечный вопрос. Все матери хотят, чтобы их дети были хорошими, добрыми, умными, чтобы они были лучше их.

— Почему же ты не сделала меня таким?

— Если бы ты сам себя слышал! Я старалась. Видимо, тот человек, которого ты ненавидишь, помешал мне. Мне надо было посвятить тебе всю свою жизнь.

— Но ты не посвятила. А если бы посвятила, я бы, наверное, просто не выжил. Ты и так много лет жила моей жизнью.

— И ты в этом упрекаешь меня?

— Да. Ты учила со мной уроки, была всегда третьей в моей дружбе, ты даже в армии воспитывала во мне любовь к себе, писала письма командиру части. И в результате всего во мне произошло вот что: если моя жизнь принадлежит целиком тебе, то взамен подавай свою. А ты всю не отдавала. Вот поэтому я ненавидел твоего Никанора.

Она поднялась, подошла к зеркалу, расчесала густые каштановые волосы и сказала не зло, как от чего-то освобождаясь:

— Пошел ты к черту. Мне надоел этот бесплодный разговор. У тебя действительно своя жизнь. Что будешь делать?

— Я поеду в Чебоксары. Там стройка. Строят завод промышленных тракторов. Мы с Аркашкой ждем вызова. Кстати, я бы хотел об этом поговорить с Никанором.

Она подошла к нему: он был выше ее на голову и смотрел на нее сверху вниз.

— Произошло одно непредвиденное обстоятельство: Никанор не хочет тебя видеть. Он не жил твоей

жизнью, у него нет к тебе родительских чувств, и обида у него на тебя по этим причинам железная.

— Ты как будто даже рада?

— Нет. Сколько я буду жить, сердце мое самой большой болью будет болеть только по тебе. И прощать и оправдывать тебя самой щедрой мерой буду на этом свете тоже только я.

— Ты так красиво и складно говоришь, даже обидно, что у меня с детства иммунитет к твоим словам.

— Никанор говорит: даже у самых великих педагогов собственная практика не всегда совпадала с теорией.

— Ну, если говорит Никанор...

— Алло! Зина?

— Да.

— Это я, Женька. Здравствуй. Ты слыхала, что я вернулся?

— Да.

— Давай встретимся. Где?

— А зачем?

— Опять «зачем»? Повидаться.

— Зачем нам видаться?

— Ну, ладно. Один вопрос: у тебя кто-нибудь есть?

— Поняла. Нет.

— Ты меня еще любишь?

Зина положила трубку.

Он пошел к ней домой. Увидел подъезд, который столько раз спасал их от холода, и заволновался. В подъезде был телефон-автомат, он позвонил и сказал, что пришел к ней, стоит в подъезде. Она ответила: «Сейчас спущусь». И она действительно спустилась, снизошла. Накрашенные густо ресницы, модное пальто с двумя рядами мелких пуговиц. Прошли по двору, вышли на улицу.

— Зина, я бы, конечно, так не унижался, но дело в том, что я уезжаю. Хочу разобраться, что у нас произошло. Мы ведь не ссорились.

— Я с тобой поссорилась, — сказала Зина, — навсегда.

— Почему?

— Обиделась.

— На что?

— На все. Начну перечислять, до конца жизни не закончу.

— Ну, хоть что-нибудь?

— За два года ты не прислал ни одного письма.

— Я не люблю писать. Есть такие люди. И потом у нас все расклеилось сразу после выпускного вечера. Там что-нибудь произошло?

— Нет. Это очень трудно объяснить.

— Жаль, я считал, что ты моя первая любовь.

— Это ты моя первая любовь, а у тебя ее не было. У тебя будет сразу шестая.

— Почему шестая?

— Потому что очень не скоро жизнь из тебя сделает человека.

— Армию прошел, на стройку еду, а подруга дней моих суровых считает меня подонком. Ты даже не спросила, куда я еду.

Зина остановилась, засунула руки в карманы пальто, подняла голову:

— А ты меня о чем-нибудь спрашивал? Почему после выпускного я пошла на фабрику? Что у меня дома тогда было? Как я жила? Вот и мне совсем неинтересно, куда ты едешь и что с тобой будет. И еще этот вопрос: «Ты меня еще любишь?» Меня, меня... Я вообще таких не люблю. И больше не смей, первая любовь, передо мной появляться.

Она пошла от него быстрым шагом, он смотрел ей вслед и увидел, как она вытащила из карманов руки и побежала. Может быть, ей показалось, что он догоняет.

Стоило отлучиться на два года, как все корабли поплыли своим собственным курсом. Можно, конечно, об этом не думать, утешаться лихой фразой: «Я сжег свои корабли». В конце концов, кто проверит, сжег ли ты их, или они сами умчались на всех парусах от твоего берега.

Добили ребята. Пришло долгожданное письмо. «Ты, Аркадий, пока не говори Женьке, с общепитом плохо. Нам дали только потому, что явились мы в полной исправке, пригрозили, что пойдем в райком. Но через два месяца гарантируют. Так что пусть Женька пока не спешит. А ты приезжай, перебьемся».

— Не понимаю,— сказал Женька,— почему же ты перебьешься, а я нет?

— Одного все-таки легче пристроить, чем двоих.

Он не знал, зачем поехал к Анечке. Увидел знакомый номер трамвая, влез в него, а потом уже понял, что едет к ней. Анечка обрадовалась: «Евгений, Евгений...» Под столом посреди комнаты лежала собака, белая, в рыжих подпалинах. Смотрела в сторону, а хвост ходил ходуном, отбивая дробь на паркете.

— Она тебя полюбила,— сказала Анечка,— видишь, как хвостом молотит.

Он не зря пришел. Есть все-таки на свете живые существа, которые любят, не выясняя, хорош ты или плох, любят просто потому, что полюбили.

— Чья? — спросил Женька.

— Скальский оставил. Совершенно неожиданно вызвали на съемки в Казань.— Анечка вздохнула, это был вздох отчаяния.— Евгений, с этой собакой у меня с утра до вечера сплошной тихий ужас. Щенком она стоила сто рублей, а теперь и представить невозможно сколько. Самое ужасное то, что у нас с ней разные скорости. Боюсь, что она мне все-таки выдернет руку вместе с поводком и убежит. И потом ей надо отдельно варить. Она ест вареное мясо. Я варю через день полкило...

Анечка жаловалась, и конца этому не было видно.

— Деньги он хоть оставил, ваш Скальский? — перебил Женька.

В Анечкиных глазах мелькнул страх, как будто Скальский там, в своей Казани, услышал его безобразный вопрос.

— Евгений...

Он понял, что Скальский оставил деньги.

— Анечка,— сказал он,— что мне делать? Как жить дальше?

Анечка не удивилась. С такими вопросами к ней уже обращались. И у нее был поэтому ответ, в который она сама верила, и не понимала, почему его сразу не берут на веру другие.

— Как жить? Надо стараться быть кому-нибудь нужным.

Женька ей тоже не поверил.

— Стараться... Я согласен, что человек должен быть

нужен другим. Но стараться... Что ж получается: разрешите, уважьте, сделайте милость, разрешите мне вам быть полезным?

...Пройдет не день и не два, прежде чем Женька поймет, что для счастливой жизни перво-наперво надо быть кому-нибудь нужным. И не вспомнит, что эту мудрость подарила ему когда-то Анечка. Мудрость нельзя подарить. Ее каждый добывает сам.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК ЗОЙКА

Близнецы послали первую в своей жизни телеграмму: «Сегодня вывесили списки там дважды наша фамилия мама валерьянка в кухне на полке шлите телеграфом пятьдесят поздравления почтой».

— Дураки,— огорчилась Таня,— такие молодые идиоты — денег нет, а они столько слов намотали.

Дмитрий Алексеевич взял у жены телеграмму, нахмурившись, перечитал и спрятал в боковой карман пиджака. «Будет хвастаться,— подумала Таня,— вот так же нахмурился, вытащил из кармана и будет совать каждому к стати и не к стати. Очень счастлив».

— Валерьянка в кухне на полке,— сказала она ему и обиделась: хоть бы улыбнулся в ответ. Спросила, сдерживая раздражение: — Ты нездоров?

— Устал.

Он по природе своей был молчуном, по за двадцать лет Таня так и не привыкла к его односложным вопросам и ответам. Всякий раз ощущала обиду, слушая, как он охотно говорит о своих делах по телефону или вдруг дома, в застолье, ударится в воспоминания; тогда откуда что в нем берется, люди стонут от смеха и машут руками, взглядами говорят Тане: «Мы бы и рады вести себя подостойней, но сами видите...»

С отъездом близнецов квартира померкла. Таня заходила в комнату сыновей, смахивала тряпкой пыль с их письменных столиков, читала надписи на обоях: «В четверг — вместо литературы физика», «Сейсмология — наука о землетрясениях», «Павел, узнай и напиши внизу — может ли плавать слон?». Она разрешала им писать на стенах, спать на полу, не волновалась,

когда в темном коридоре почти до утра желтела полоска света: она сама могла до петухов просидеть за книгой, и кого винить, если это запойное чтение досталось им по наследству. Знакомым она говорила: «Там, где в мозгу у женщины чадолюбивые центры, у меня слепое место». Близнецы до десятого класса ходили в лыжных байковых куртках, только перед отъездом в институт им были куплены одни часы на двоих.

Зойка позвонила в субботу:

— Завтра утром приеду.

Таня обрадовалась. Наступил сентябрь, Дмитрий редко почевал дома, район завершал уборку хлеба; ночью звонил, чужим далеким голосом диктовал ей цифры и поручения, как от школьницы, требовал: «Повтори». Каждый год в это время она чувствовала себя несчастной: отправив близнецов в школу, разворачивала районную газету, вглядывалась в колонки цифр уборочной сводки и сравнивала с теми, которые называл в телефонных разговорах Дмитрий. Если день выдавался пасмурный, она ходила и шептала: «Нет, не будет дождя, не будет». Сыновья смеялись: «Мама в роли Ильи-пророка». Дмитрий, когда возвращался из района, морщился от расспросов: «Я дома или на совещании бригадиров?» Одна только Зойка понимала ее.

— Не переживай, — говорила Зойка, — что посеяли, то и пожнут. А Димка у меня достучается. Хочешь, я о нем фельетон напишу?

Таня смеялась, Зойка всегда что-нибудь ляпнет. Говорила вечером мужу:

— Зойка приехала. Будет писать о тебе фельетон.

Дмитрий Алексеевич, пропустив мимо ушей «фельетон», спрашивал:

— На сколько дней приехала? — Хмурился. — Как будто других районов нет, недавно ведь была.

Таня обрывала его:

— Опомнись! Это же Зойка.

Их с Зойкой свел вместе первый послевоенный год, узенькая скамейка в сквере возле педагогического института. Сдавали вступительные экзамены. Незнакомые друг другу Таня и Зойка сидели на скамейке, уткнувшись в учебники, Дмитрий ходил по дорожке туда и обратно, руки за спину, голова опущена вниз.

— Этот поступит, — сказала Таня Зойке и крикну-

ла маячившему на дорожке военному: — Зря волнуешься, с вашими регалиями можно не волноваться.

Он остановился, сказал, как отрубил:

— Это не регалии, а награды.

Таня не смутилась:

— Между прочим, регалии и награды — одно и то же.

Зойка добавила:

— Такой серьезный и, наверное, женатый.

Военный взглянул на Зойку, рассмеялся и присел рядом с ними.

В тот год Зойка многих смешила своими словами, деревенскими повадками. На первой лекции она превратила старого профессора:

— Не молоти, люди за тобой писать не поспевают.

Аудитория грохнула смехом, профессор поглядел на Зойку с испугом: «Виноват». И стал читать медленней.

Она была родом из белорусской деревни, но вспоминала о ней редко. Таня очень удивилась, когда 23 февраля увидела на Зойкиной груди партизанскую медаль и орден Отечественной войны.

— А что вспоминать, — говорила Зойка, — деревня была, дом новый перед войной поставили, а теперь одни трубы. Век бы этого не вспоминать и не помнить.

Городская жизнь захватила ее и понесла, как лавина: после лекций Зойка развивала такую бурную деятельность, что скоро стала легендарной личностью на всех факультетах. Волейбольная секция, хор, кружок бальных танцев — Зойка не могла этого упустить, вечно она ходила с какими-то списками, сидела под дверями декана, дожидаясь приема. В студенческой толпе ей радостно кто-нибудь кричал: «Зойка!» Только вечером в комнате общежития Зойкины глаза гасли, она присаживалась на Танину кровать и, глядя в сторону, спрашивала:

— Виделись?

Таня ждала этой минуты, каждый вечер она исповедовалась Зойке в своих сердечных делах, не замечая, как темнеет лицо подруги, как жалко дрожат ее губы в улыбке. Дмитрий спрашивал Таню:

— Почему твоя Зойка избегает меня?

— Боится стать соперницей, — шутила Таня, не подзревая, как близка к истине.

На втором курсе Таня и Дмитрий поженились.

Свадьбу справили скромно, втроем пошли в ресторан. Зойка произнесла тост:

— Желаю вам быть счастливыми и до самой смерти любить друг друга.

Дмитрий пригласил ее танцевать, Зойка покраснела от вина, шепнула ему на ухо:

— У меня тоже жених есть. Руку и сердце предлагает.

Когда Дмитрий сказал об этом Тане, та махнула рукой:

— Выдумывает. Никого у нее нет.

Жениха у Зойки не было. Был один малознакомый морячок по имени Влас, который присылал с Балтики письма. Зойка ездила после первого курса со студенческой делегацией на подшефный военный корабль, там с ним и встретилась. Он писал ей нежные письма: «Жму ручонку, стремлюсь с мечтой о встрече». Таня сердилась: «Развела канитель. Сочини что-нибудь, например, что любишь другого, он и отстанет». Зойка не могла так написать. Ни в чем не был виноват этот Влас, за что же его таким обухом.

По-настоящему они оценили Зойку, когда родились близнецы. Комнатка в общежитии была не приспособлена к семейной жизни. Еду варили в коридоре на электрической плитке. Младенцы спали валетом в деревянном корыте, которое Зойка притащила с рынка. Она прибегала после лекций, заглядывала в кастрюльки с засохшей кашей, срывала с веревки пеленки:

— Видеть вас не могу. Родили два ребеночка, а зашились, как с дюжиной.

Выпроваживала их из дома. Таня до сих пор помнит ту необыкновенную легкость, почти материальное ощущение свободы, которое наполняло ее сразу же на улице, когда они с Дмитрием выбегали из общежития. Мир представал в звуках и красках, можно было пойти в кино, куда угодно. «Давай подарим Зойке близнецов насовсем», — говорила она Дмитрию. Тот вздыхал и отвечал серьезно: «Не имеем права».

Домой возвращались виноватые перед Зойкой, радовались покою и чистоте своего маленького жилья, пили чай, Таня ревниво поглядывала на спящих малышей: слово, что ли, Зойка знает какое, что они при ней не пискнут.

— Эти мракобесы подрастут, — говорила она подру-

ге, — ты получишь диплом педагога, если не заломить большую цену и мы к тому времени не передумаем, то возьмем тебя в гувернантки.

Зойка почему-то не смеялась и, смущая их обоих, отвечала:

— А я бы пошла.

Они мечтали после выпуска работать вместе, но их направили в разные концы: Зойку — в поволжский городок, Таню и Дмитрия — в сибирское село. Через три года в ночь под Новый год в их промерзшее стекло постучала Зойка. Это была фантастическая ночь. Зойка ввалилась, как снежная гора — шестнадцать километров шла лесом. Стояла на коленях у пылающей печки, растирала замерзшее лицо, смеялась и плакала. Потом они сидели на диване перед елкой, Зойка рассказывала о своей жизни, время от времени выбегая в комнату посмотреть на спящих близнецов: «Так выросли, что вроде уже и не мои».

Через несколько дней, когда Зойка засобиравалась в дорогу, Таня впервые почувствовала неладное. Укладывая в чемодан вещи, Зойка вдруг спросила:

— У Димы какие-нибудь неприятности?

Таня задумалась:

— Да вроде бы нет.

— Он такой хмурый, молчаливый. Не болен?

— Ты что, забыла Димку? Когда это он со мной был красноречив?

Вот тогда Зойка и сказала те слова, которые никогда уже не могла забыть Таня.

— Смотри, чтобы не влюбился он тут в какую-нибудь молодку. Если вы расстанетесь, я тебе этого не прощу.

Тане удалось взять себя в руки, она ответила насмешливо и легко:

— Ты мне не простишь? Интересная получилась бы ситуация.

Зойка ничего больше не сказала, но они поняли друг друга.

В их жизни было еще немало встреч: однажды отпуск провели вместе, путешествуя по Енисею на туристском пароходе. В то время Дмитрий работал вторым секретарем райкома партии, и Зойка пасмешничала по этому поводу: «Подумать только, отец такая светлая личность, а дети растут догматиками». Близ-

нецы улыбались, отзывались на «догматиков», не чуя никакого подвоха в новом имени. Они любили Зойку тихо и преданно. Стояли с двух сторон, воткнувшись в нее лбами, когда она читала им на палубе книжку, каждую ее просьбу выполняли наперегонки. «Куль тети Зои,— говорил Дмитрий,— с возрастом это пройдет». Но не прошло. И в пятом, и в седьмом классе близнецы писали Зойке подробные письма, каждый в отдельности, в разные дни.

Когда близнецы пошли во второй класс, в семье случилось непредвиденное событие — Дмитрия направили на партучебу в Москву, на два года. Таня быстро приняла решение: «Я еду с тобой. Первые полгода близнецы проживут у Зойки. Устроимся и заберем». Она написала подруге письмо, но, видимо, богат был тот год на перемены не только в их жизни, ответ пришел с отказом: «Не могу, Танюша, и не спрашивай сейчас — почему. Сама ничего не знаю, не понимаю».

Дмитрий уехал в Москву. Таня оставила близнецов с соседкой и помчалась к Зойке. Торопилась, будто знала, что через день-другой не застанет ее на старом месте.

Встретила ее Зойка враждебно: «Ну и любопытная ты Варвара. Так на похороны не скачут, как ты на мою тайну. Ничего тебе не скажу, кроме того, что уезжаю». Зойка никогда не была скрытной и тут долго не продержалась. Таня слушала и ахала: «Зойка, я за тебя боюсь. Зочка, что же с тобой будет?»

Зойка тоже боялась, но храбрилась: «Ну и пусть — двум смертям не бывать. Надоело мне сидеть около жизни. Пусть щепки от меня полетят, пусть сгорю синим огнем — хоть что-то, да будет».

Ничего такого страшного, к чему она приготовилась, не случилось. Человек, к которому она поехала, встретил ее на станции, взял из рук чемодан и сказал: «Молодец. Все-таки отважилась».

Таня послала мужу в Москву письмо: «Кто бы мог подумать, что наша Зойка — литературный талант. Она тут потихоньку от нас писала в областную газету разные произведения и дописалась до того, что к ней специально послали корреспондента по имени Володя. Корреспондент удостоверился, что талант обитает в образе человеческого. И тут, Димочка, случилось то, что на этом свете иногда случается: они решили поже-

ниться. Меня в этой истории смущает только одно: Зойка ринулась в эту новую жизнь с какого-то отчаяния. По-моему, она его не любит». Дмитрий ответил: «К Зойкиной перемене в жизни я отношусь положительно. Поздравь ее от меня. Я бы это сделал сам, но у меня нет адреса. Насчет того, что она его не любит, то, мой совет, брось свои домыслы. Это в ранней молодости по песням да по книжкам каждый знает, что такое любовь. А если здраво о ней судить, то ничего о ней никто не знает».

* *
*

Таня никогда не встречала Зойку. Она приезжала утром, останавливалась в гостинице, где ей накануне заказывали место, шла в райком и уже оттуда звонила Тане. Но этот ее приезд был необычный — в воскресенье — райком закрыт, Дмитрий в колхозе, и Таня в шесть утра отправилась на станцию. Шла тихими пустынными улицами, как в детстве, заглядывала в щели заборов, разглядывала ветви в тяжелых желтых яблоках, вслушивалась — не упадет ли. Когда одно упало, она вздрогнула, так, наверное, падает сердце. Женщина с коромыслом, шедшая навстречу, остановилась, уступая дорогу. Таня сказала «спасибо», ведра были полными.

Она давно не была на этих тихих окраинных улочках и сейчас с особым удовольствием вдыхала их утренние запахи — покрытых росой фруктовых деревьев, парного молока и еще чего-то колюче-свежего, чем пахнут в сентябрьском прохладном утре деревянные тротуары.

Вокзальчик был каменный, красного кирпича. Из поездов дальнего следования останавливался только этот, на котором прибывала Зойка. Таня присела на скамейку у бочки, врытой в землю. Бочка была с водой, в ней плавали окурки. Таня подумала о том, что Зойка, когда приезжает, наверное, курит у этой бочки и на нее с неодобрением смотрят прохожие.

Поезд стоял три минуты. Таня сразу увидела Зойку. Она соскочила с подножки, оглянулась назад, помахала рукой и с улыбкой, предназначенной кому-то в вагоне, чуть не прошла мимо. Потом увидела, подняла брови и, не здороваясь, сказала на ходу:

— Ну пошли, раз пришла.

Таня не обиделась: от Зойки никогда не знаешь, чего ждать.

— Ты послала близнецам деньги? — спросила Зойка, когда они молча прошагали полдороги.

— Боже, какая работа!

Зойка остановилась, очнувшись от своих мыслей и засмеялась:

— Не сердись. У меня сейчас хорошая встреча была в вагоне.

Час спустя, когда они сидели за столом у самовара, Зойка рассказала об этой встрече. О девушке, которая прислала письмо в редакцию: «Если есть на свете такой обман, то зачем тогда жить?» Зойка помчалась к ней. Отчаяние в письме оказалось подлинным, девчонка была в шаге от беды. Не такая уж редкая история: он ушел в армию, она написала ему, что будет ребенок. Ответ: «Откуда я знаю, что это мой».

— И что ты сделала? — спросила Таня.

— Написала письмо командиру части. Попросила представить, что брошенная девчонка его дочь. И вот в вагоне, представляешь, сидит моя девчонка — толстощекая, белозубая, держит на коленях в капюшончике другую девчонку, и муж рядом, такой же толстощекий дурачок. Все у них в порядке, и никого они не замечают.

Таня слушала внимательно и печально.

— Я на месте этой девчонки никогда бы его до конца не простила.

— А она, возможно, и не простила... Я первая ее узнала, говорю: «Здравствуй, Леночка». Она вгляделась в меня, ребенка прижала к себе и как заплачет. Я даже испугалась. Потом успокоилась, мужу говорит: «Это та самая Зоя Николаевна». Девочка проснулась, она ей: «Познакомься, Наташенька, это тетя Зоя...»

Зойка вдруг заплакала, закрыв лицо ладонями. Таня растерялась:

— Устала ты, Зойка. Мотаешься, едешь, а своей жизни как не было, так и нет.

Зойка подняла мокрое от слез лицо:

— Какой жизни?

— Обыкновенной. Семейной.

— Зачем ты так? Чего нет — того нет.

Таня не умела быть жестокой, но что-то дернуло за язык.

— Была, а ты ее пустила по ветру. Помнишь, мне говорила, если сманит Диму какая-нибудь молодка, ты мне этого не простишь. Что ж своего отпустила?

— Володю, что ли? Брось, Танька, не знаешь ничего и не знай.

Они посмотрели друг на друга с изумлением: что это мы сегодня так недобро? Зойка первая догадалась:

— Пусто у тебя стало, непривычно. То, бывало, близнецы, как телята, головы тянут, Димка что-нибудь веселое изрекает. А сейчас мы одни с тобой сидим вот и жизненные бабки подбиваем. — Зойка жалко улыбнулась, достала сигарету. — Вот так-то, подруга...

В обед пришел Дмитрий. Таня побежала растапливать колонку в ванной. Дмитрий в носках, в клетчатой мягкой рубашке прошел в столовую.

— Давненько не была. Заждались, — он протянул Зойке руку. — Сама, что ли, жалобы сочиняешь, чтобы лишний раз сюда наведаться?

— На тебя, что ли, посмотреть?

— А что, и посмотреть не на что?

— В зеркало погляди, и вопрос сам собой, как у вас на бюро говорят, исчерпается.

Раздался Танин голос:

— Вы же вроде интеллигентные люди, и даже с высшим образованием, а встретитесь и ругаетесь, как тракторист с учетчиком.

— Слыхала? — Дмитрий кивнул в Танину сторону. — Голос из гущи сельской жизни. И откуда бы ей знать про тракториста и учетчика?

— Очень уж ты зазнался! — сказала Зойка. — Так пышно зазнался, с чего бы?

— А вот сейчас узнаешь с чего, — Дмитрий выскочил в коридор, вернулся с пиджаком, вытащил телеграмму. — Читай вслух.

— Да мне Таня по телефону читала.

— Ну и какие выводы?

— Правильные.

— Водочку?

— Зойка, не поддавайся, у него коньяк есть, — снова послышался Танин голос.

— Ах какой жмот! — возмутилась Зойка. — Дети у него студентами стали, а он жмотится.



В понедельник на рассвете они уехали. Таня закрыла за ними дверь и пошла досыпать. Машина, вспугнув дворовых кур, выскочила на шоссе и понеслась по ровной бетонной дороге, мимо прудов и березовых рощиц. Дмитрий сидел рядом с шофером, вполоборота к Зойке, его четкий, с крутым подбородком профиль сливался с голубым смотровым стеклом и казался на нем нарисованным.

— Не спишь? — спросил он Зойку. — Ты, когда вернешься, поговори серьезно с Таней. Надо ей подумать о работе. Не хочет в школу — можно в детский сад. Трудно ей сейчас без мальчишек.

— И тебе трудно без близнецов, — сказала Зойка, — тебе и на работе, наверное, часто бывает трудно...

— Как всем, — ответил он и замолчал.

Они ехали в два дальних колхоза. Зойка с редакционным письмом — в один, Дмитрий — в другой.

— Когда-нибудь, когда тебе надоест молиться по дорогам, — сказал Дмитрий, — ты приедешь к нам в район, и мы сосватаем тебя в бригадиры.

— Когда-нибудь я буду уже такая старая, что, когда приеду сюда, заведу козу и малывы под окном. Близнецы привезут мне своих детей, я буду укачивать их и сочинять сказки.

До колхоза, в который надо было Зойке, оставалось шесть километров.

— Дальше не надо, — попросила она шофера. — Хочу пройти по этой лесополосе, я ведь когда-то о ней писала.

Дмитрий сказал:

— Мы вернемся другой дорогой. Ты уж там от моего имени попроси председателя, чтобы доставил обратно.

— Хорошо, — ответила Зойка. — Председатель меня, наверное, помнит.

Она свернула с дороги и вошла в лесополосу. Пожелтевшие остролистые клены накрыли ее своими шатрами, колючие ветки кустарников иногда цеплялись за плащ. Зойка шла не спеша и жалела о том, что не вышла из машины раньше, так хорошо было идти по осенней, в солнечных пятнах тропке, загороженной

от дороги большими деревьями. Было одиноко, легко и не страшно. Зойка все шла и шла, а лесополоса все рядом, рядом...

ПРОВЕРОЧКА

Ирина отвыкла от поездов — в последние годы пересекала пространства самолетом, и этот вагон был, как воспоминание о прошлом. О молодости, когда стук колес вторил стуку сердца, когда за каждой елкой, оторвавшейся от леса и выбежавшей на опушку к железнодорожному полотну, скрывалась сказка и тайна. Теперь же вдоль дороги тянулись в основном лесополосы, темные, под одну гребенку подстриженные деревья. Глядя на них, Ирина думала, что поезда мчатся мимо всего: мимо лесополос и лесов, полей и полян. Так и жизнь в вагоне катится мимо самой жизни, оторвавшаяся от одного берега и не прибывшая к другому.

— Ирина Сергеевна, — раздался за спиной голос, — мы вас выжили? Да оторвитесь вы от этого окна, идите домой.

Хорошо сказал «домой», а сам в свой дом не спешит. Дверь в его купе открыта, там два почтенных соседа играют в шахматы. Третий так же, как она, томится у окна в коридоре. Она стеснялась рассматривать незнакомых мужчин, и этот толстяк у окна мерцал невнятным пятном в полосках пижамы. В купе, где играли в шахматы, было накурено, дым выползал из двери и сразу начинал клубиться в солнечном луче, обволакивая с двух сторон пятно в пижаме. Этот пассажир, видимо, был некурящий, вот и терпел, вглядываясь в бегущие за окном пейзажи.

— Ирина Сергеевна! — Голос коснулся затылка. — О мадонна! О эти женщины! В самом деле, Ирочка, почему вы с нами так высокомерны?

Это Валерий — четвертый пассажир из купе, в котором играют в шахматы. Бросил свою мужскую компанию и прибил к ним, к женщинам. Дорожный сердцеед, одни усики чего стоят. Не усики — визитная карточка. Сидит все утро, закатив глаза, вздыхает, погибает во цвете лет. А та, что пронзила его сердце, по малкивает и не отвергает его пошлые ухаживания. Едет с ребенком. Бедный ребенок.

— Ирина Сергеевна, у нас, между прочим, приятная новость. В этом замкнутом пространстве нашелся кипяток и растворимый кофе. Представляете, что сейчас будет? Сейчас мы будем пить самый лучший в мире напиток!

Она должна была крикнуть «ах» и упасть в глубокий обморок, таким он это сказал тоном. Но всему прочему, кажется, еще и глуп.

Из купе выскочила Каролина, вцепилась пальцами в палку с зелеными занавесками, подтянулась и вошла на узкий выступ под окном. Любопытство — вторая натура: вытаращилась, вцепила нос в стекло окошка, а смотреть-то не на что. Ну, бегут назад елки, коровы вдали на лугу пасутся.

— Тетя Ира, вы нас не любите?

Считается, что детям все можно. Некоторые дети в этом уверены. Каролина из их числа. Живет в вагоне, как у родной бабки в деревне. Таскается по чужим купе, расставляя руки, заигрывает в коридоре с проводницей: «А я вас не пропущу», лезет ко всем с вопросами, которые нормальным детям не придут в голову. Вот и сейчас: «Тетя Ира, вы нас не любите?» Это еще что такое? Шесть лет, а никакой робости перед старшими. Я тебе сейчас отвечу.

— А за что вас любить?

— Мы хорошие.

— Кто это вам сказал?

Глаз Каролины стал круглым, оторвалась от стекла, перестала плющить нос. Валерий в дверях купе заулыбался улыбкой интригана. Ирина не видела его улыбки, но другой у него быть не могло.

— Тетя Ира никого не любит. Иди, Каролинка, к маме.

Девочка пошла в купе, ее место занял этот хлыщ со спортивным торсом, обтянутым черной рубашкой с голубой вышивкой на груди: голубые розочки и голубые ромашки или что-то вроде ромашек.

— Ирина Сергеевна, я вам не верю. Вы добрая, а стараетесь быть злой. Зачем?

— Отвечать обязательно?

— Не обязательно. Я сам отвечу. Только, пожалуйста, сбросьте эту дурацкую строгую маску. Будьте такой, как вчера. Вчера вы мне очень понравились и се-

годня еще немножко нравитесь. Если у вас на этот счет сомнения — не сомневайтесь.

Убить бы его сразу, а приходится отвечать.

— Никогда не думала, что можно оскорбить человека, а ему и защититься нечем.

— Бросьте, Ирина Сергеевна, — он стоял рядом, смотрел искоса, самовлюбленный и красивый до безобразия. — Все дело в том, что я вам тоже нравлюсь. Потому и взглянуть на меня боитесь.

Чего больше всего боишься, на то непременно напорешься. Боялась глядеть на мужчин. В восьмом классе один дурак-одноклассник сказал: «У тебя, Ирка, такой взгляд, будто ты увидела, влюбилась и остолбенела. Пока не установили, что это свойство твоих глаз, чуть все не перессорились: в кого ты влюблена?» С тех пор она боялась своего взгляда, не думая о том, что, когда прячешь его, это тоже может что-нибудь кому-нибудь говорить.

— Шли бы вы в свое купе, Валерий, не знаю вашего отчества. Глупо все это, ей-богу.

Можно было попросить проводницу поменять место, но ведь он не успокоится. Он уже втянулся в эту игру — одна любит его, другая ревнует, — и что ни сделай, хоть пощечину ему влепи, внесешь только яркий штрих в эту подлую игру.

Она вернулась в свое купе, раздвинула лесенку и забралась на свою полку. На другой верхней полке лежала на спине и читала, поставив книгу на грудь, суровая молоденькая девушка. Длинная темная прядь выбилась из прически, шелковой ступенькой обогнула подушку и свесилась ленточкой с колечком на конце вниз. «Этот красавчик дернет за колечко, а девчонка сверху со всего маху огреет его книжкой по голове», — думала Ирина, со злорадством глядя на тяжелую, килограмма в полтора, книгу. Когда оскорблен, жаждешь мести, особенно, когда оскорбляет неуязвимый человек.

Мать Каролины сидела внизу за столиком и смотрела в окно. Сверху был виден ровненький пробор и поблескивающий, красиво уложенный узел волос на затылке. Не голова, а головка, такое пасхальное яйцо, аккуратно разрисованное усердным художником: две акварельные серые полосы в черной рамочке —

глаза, розовое сердечко — губы. И дитя художественно продумано: бант на русых невесомых кудрях из той же ткани, что и летние брючки, на ногах норвежские сабо на толстой деревянной подошве. Каролина сидела на своей постели, напротив матери, и глядела вверх, на Ирину. Взгляд был чистый и ждущий. Ждала своей порции любви. Надо быть очень уверенным в том, что тебя любят, чтобы спросить: за что вы нас не любите? Вчера вечером эта девочка сразу распознала, что мужчина, присевший у ее ног на полке, полюбил их с первого взгляда. Принес конфет, бутылку вина, сказал маме и тете Ире: вагон — это дом, люди в одном доме должны жить дружной семьей. Потом она уснула. И девушка на верхней полке спала, когда мать Каролины, Ирина и этот Валерий потащились в вагон-ресторан. Там Валерий разошелся, признавался в любви им обоим, просил официантку достать гитару, гитары не было, но это его не остановило — запел. Господи, что за ужас были его песни, какой-то допотопный репертуар. «...Отращу я для красоты, как у Гришки-дворника, усы...» Мать Каролины помалкивала, а Ирина все пыталась доказать этому Валерию, что жизнь в поезде несется мимо всего того, что стоит на одном месте, мимо домов, деревьев и даже мимо самой жизни, потому что жизнь у каждого пассажира остановилась, выпала из привычной колеи. Валерий не соглашался: жизнь не терпит застоя, и, когда несешься даже в поезде, жизнь продолжается, в любую секунду она может преподнести сюрприз. Мать Каролины улыбнулась. Ирина разгадала ее улыбку: пусть эта еще молодая и довольно интересная женщина умничает, а сюрприз — я, каждому свое.

— Тетя Ира, а почему вы лежите и не спите? — Каролина все еще ждала своей порции, мысли в ее голове не рождались, только вопросы.

— Буду почью спать. Тебя это устраивает?

— Каролина, оставь тетю Иру в покое. — Пасхальное яичко качнулось, серые акварельки оторвались от окна и обратились к дочери. — Займись чем-нибудь, порисуй или подай книжку, я тебе прочитаю.

«Подай», вся она такая — подай, и все ей подается. Вряд ли где-нибудь работает, слишком уж ухожена вместе со своим дитем. А может быть, не такой уж редкий женский талант у нее: и дело свое знать, и

езде — на кухне, в поезде, под дождем — сверкать ровненьким проборчиком, белоснежным воротничком, без единой царапинки туфлями.

— Я в коридор хочу, — сказала Каролина, отвергнув рисование и книжку. Слезла с полки, плечом налегла на ручку двери, та отъехала в сторону, Каролина вырвалась на простор.

— Почему вы ей имя такое дали?

Прядь с колечком на конце коснулась столика, девушка свесила голову, заглядывая в лицо матери Каролины.

— Очень многие спрашивают. Редкое имя.

Девушка подобрала прядь, легла на спину, опять придавила себя книгой, только после этого громко, на все купе произнесла:

— У президента Кеннеди, которого убили, девочку точно так звали. А ваш муж кто?

— Отец Каролины — инженер.

— Развелись вы с ним, что ли?

— Нет. А почему вы об этом спрашиваете?

— Просто так спросилось, не обижайтесь.

Мать Каролины больше ничего не сказала, и та, наверху, потеряла интерес к разговору, перелистнула страницу, уплыла на своей полке к другим людям, в другое время.

Мать Каролины оторвала свой взгляд от окна, поднялась и задвинула дверь купе. Ирина увидела в зеркале на этой двери кисть руки, приглаживающую волосы у висков, потом плотно сжатые пальцы прошлись по лбу и щекам, словно стерли с них следы ненужного выражения. В зеркале отразилось прекрасное лицо, знающее, что оно прекрасно, каждой клеткой мобилизованное на эту красоту. Потом она вышла, оставив дверь открытой. Спасибо, что не закрыла. Ирина увидела, как Каролина, стоявшая у окна, оторвала руку от палки с коротенькими шторками и вытянула ее поперек коридора, загрозила дорогу маленькому с большим портфелем японцу. Японец шел из другого вагона.

— А я вас не пушу.

— Тогда я опоздаю в ресторан и останусь голодный.

— А почему ваши дети с вами в ресторан не пошли?

— Они далеко. Очень далеко. Дома. В Японии.

— Вы из Японии? Вы японец? А по-русски вы умеете говорить?

— Да. Я учился этому четыре года и продолжаю учиться.

— А как по-русски будет «здравствуйте»?

Японский отец показал в улыбке тридцать два замечательных зуба и ответил:

— Здравствуйте.

— А «хлеб»?

— Хлеб.

— А «кошка»?

— Кошка.

Каролина одобрительно кивнула:

— Вы очень хорошо говорите по-русски.

Японец глянул в открытое купе, встретился с глазами Ирины и послал ей тоже свою замечательную улыбку. Его улыбка и экзамен, который учинила ему Каролина, словно смыли с души неприязнь к этой ни в чем не виноватой девочке. Ребенка нельзя винить за то, что он родился у этих, а не у тех родителей.

Девушка, наконец, отложила книгу, полка заскрипела, спортивные крепкие ноги мягко спружинили на ковровой дорожке пола. Плотная, сверх женской меры рослая, она стояла посреди купе, и в нем уже больше не было места. Со всего маху дернула дверь вправо, с такой силой, что та, на мгновенье закрывшись, вновь отъехала назад. Пришлось укрощать свой размахистый характер, обращаться с дверью повежливей. Вытащила шпильки, и волосы рухнули на спину тяжелой зыбкой волной. Глаза в зеркале глядели хмуро, еще не отошли от войны или любви, или от другой какой беды, с которой повстречались в книге. Расческа зеленая, такая же большая и несуразная, как и янтарный кулон, грушей повисший на проволочной цепочке поверх свитера. Она расчесала волосы, заплела их в косу и закинула ее, прямую и пышную, с колечком-завитком на конце, на спину. Взяла полотенце и вышла из купе. Ирина представила, как в коридоре все поглядывают на нее, как мать Каролины еще больше наполняется превосходством, а эта, с косой и кулоном, в свою очередь глядит на нее с недоумением, как молодая сильная ворона на канарейку.

— Ирина Сергеевна,— в купе вошел Валерий,—

как насчет того, чтобы пообедать? Ресторан открыт, стол накрыт, кто войдет, будет сыт.

Она вспомнила, что не вернула ему деньги за вчерашний ужин. Десятка-долг лежит в кармане кофты, кофта висит внизу на крючке, хотела попросить его подать кофту, но не успела, в купе вошла девушка в спортивном костюме, и Валерий ринулся к ней.

— Непорядок! — крикнул он и сделал шаг назад, чтобы девушка смогла рассмотреть не только его голубые цветы на груди, но и всю его роковую красоту. — Мы не знакомы. Как вы насчет этого?

— Насчет чего?

Она глядела на него во все глаза, счастливая, не знаящая никаких комплексов натура.

— Насчет того, чтобы познакомиться.

— Ничего не имею против, — она протянула ему руку, — Наташа.

— А я — Валерий, очаровательная Наташа, а ваша строгая соседка — Ирина Васильевна.

Он сел рядом с Наташей, склонил к плечу голову, убит, сражен наповал, пропал до конца, на всю жизнь.

— В какие края, милая Наташа, к бабушке в гости?

— К какой еще бабушке? — Наташа дернула плечом, мол, тоже мне, нашел внучку. — К подруге на свадьбу.

— Вай, вай, что же это делается, только соберешься, а всех лучших девушек уже порасхватили. И вас я прозевал, Наташа. Правда, прозевал? Была уже свадьба?

Наташа постучала себя указательным пальцем по виску: ненормальный, да?

— Если бы была свадьба, чего бы я одна ехала? — положила кулон на ладонь, протянула его вверх, Ирине. — Вот подарок купила. Ничего?

— Симпатичный, — ответила та. — Янтарь всегда в моде.

— Вы мне не ответили, Наташа, когда же ваша свадьба?

— А никогда!

Она сказала это так бесшабашно искренно, что Валерий принял ее слова за шутку и рассмеялся.

— Почему?

— Потому. Никто не берет.

Валерий хохотал, упал на бок, голова скрылась за широкой спиной Наташи. Смех был неприятный, будто его кто слегка душил. Отсмеялся, отодвинулся от Наташи, кинул вверх взгляд на Ирину.

— Наташа, а что, если мы удивим вашу подругу: вот и мы, пока вы тут со свадьбой канителитесь, мы раз-два и поженились.

— Валерий, я вас очень прошу...— Ирина крикнула и почувствовала, как щеки ее покраснели от ярости.

— Да он же дурака валяет,— Наташа, похоже, вступилась за него.— Делать нечего, вот он язык и тренирует.

— Грубо, Наташа,— обиделся Валерий,— такая красивая молодая девушка, а разговариваете со старшими грубо.

Наташа потупилась. Этот негодяй знает, что сказать. Молодость для нее пока еще не комплимент, а «красивую», может, впервые в жизни схлопотала и теперь сидит, соображает: вообще красивая или это только ему одному кажется?

Каролина в купе не заглядывала, ждет с матерью, когда дядя Валера поведет их в ресторан.

— Вас ждут, Валерий, а вы теряете здесь время.

Валерий поднялся, голубые цветочки на груди выпрямились.

— Меня совсем не там ждут, Ирина Сергеевна. А там, где ждут, вряд ли дождутся.

Он ушел, озадачив ее последними словами. Наташу не пригласил в ресторан, побоялся, что смешно будет выглядеть рядом с такими разными птицами. Где же его на самом деле могут ждать?

— Наташа, что он тут бормотал под конец? Где его могут ждать?

— Семья его ждет, жена и двое детей,— ответила Наташа.— Холостые так себя не ведут, только некоторые женатые.

Вот такая, похожая сама на себя девочка. «Обрыв» Гончарова читает, подарок на шее везет подружке, коса на спине — таких кос уже не осталось.

— Наташа, а что у него с нашей соседкой? Влюбился?

— Наоборот. Хочет, чтобы она в него влюбилась.

Вы в коридоре были, а он тут возле нее сидел, поднял на меня глаза, а в глазах тоска.

Наташа, конечно, прочная девушка, с верным взглядом, но что она может знать о тоске. Разбазаренная душа выглядит своей пустотой, а ей кажется, что тоскует. А поезд все бежит себе и бежит, мимо деревьев, полей; пересекая речки. Ирина повернулась к стенке и уснула.

Когда проснулась, в купе никого не было, поезд стоял на какой-то большой станции. Вошла проводница, собрала стаканы в подстаканниках и унесла их на круглом подносе. Ирина хотела спросить, что за станция, но не успела. Книга на другой верхней полке по-прежнему лежала на смятом одеяле, значит, Наташа еще не прибыла на свадьбу. В коридоре затопали, и тут же голос по радио объявил, что поезд отправляется через пять минут. В купе вошла Каролина.

— Тетя Ира, вы уже не спите?

— Уже не сплю. Подними, пожалуйста, лесенку, я слезу.

Каролина опустила на колени, лесенка не поддавалась, что-то там заело. Ирина своим ходом спустилась вниз, присела на корточки рядом с девочкой. Та вдруг вздрогнула.

— Ты что, Каролина?

— Поезд поехал. Они остались. А я?

— А ты со мной.

— С вами я не хочу,— Каролина сморщила нос, но заплакать не успела. В коридоре послышался голос Валерия:

— В этом вагоне ехала девочка Каролина шести лет! Где она? Пусть скорей бежит и смотрит, что мы ей купили!

Каролина взвизгнула и кинулась на этот призыв. Они все вернулись с покупками. Каролине принесли желтый пластмассовый грузовик с полным кузовом конфет. Наташа купила в киоске на перроне красную кофточку-«лапшу». Развернула ее на полке, сказала, вздыхая:

— Придется тоже подарить. Кофта просто просит на себя кулон.

— Зато подружке и не снится такой богатый подарок,— сказала Ирина, выходя из купе.

Пассажир в пижаме по-прежнему стоял у окна в

коридоре, подтянул живот и подался вперед грудью, пропустил Ирину. Когда она поравнялась с ним, сказал тихо, не поворачивая головы:

— У меня необходимость поговорить с вами.

— Хорошо,— она остановилась, унимая внезапную тревогу, и повторила,— хорошо.

Чистила зубы, умывалась, а тревога не отпускала, росла. Разговор будет о Валерии. Пассажир в пижаме едет с ним в одном купе и что-то о нем знает.

— Здесь разговаривать не совсем удобно,— сказал пассажир в пижаме, когда она подошла к нему.— Мое купе занято, ваше тоже. Может быть, пройдем в другой вагон?

Нет, она не пойдет с ним в другой вагон, она уже пришла в себя, любопытство ее не мучает, если ему необходимо что-то сказать, пусть говорит здесь.

— Я не пойду в другой вагон.

— Тогда, может быть, у проводницы? Я попрошу у нее разрешение минут на пять занять ее купе.

Проводница впустила их в свою каморку. Пассажир волновался, даже полоски его пижамы источали волнение. Сел на полку и тут же вскочил.

— Через полчаса моя станция. Надо еще переодеться, побриться.

У него действительно не было времени, а он тратил его на свою трусость. Волноваться можно по разным поводам. Этот ходил ходуном от трусости.

— Так что же случилось? Смелей, я вас слушаю.

Мужчина опустился на полку, закрыл лицо руками.

— Надо предотвратить преступление.

Хорошо устроился. Сейчас сойдет на своей станции, а она будет предотвращать преступление. Мужчины пошли, не заскучаешь.

— Почему вы мне это решили сказать? Для этого есть милиция, дежурный по поезду.

Мужчина снял ладони с лица. Нет, он не трусил. Волнение было другого рода: он стыдился того, что ему предстояло поведать.

— Я прошу прощения, но это преступление можете предотвратить только вы.

Сбиваясь, вздыхая, поглядывая на дверь, будто она вот-вот откроется и его самого уличат в преступлении, мужчина рассказал о том, что случилось вчера

поздно вечером в его купе. Они не спали, когда вернулся Валерий. Ну и возник не совсем хороший мужской разговор. Соседи стали подшучивать над Валерием, как это он, не успев оглядеться, ринулся в любовное приключение. И даму сердца, дескать, выбрал себе не очень осмотрительно. Ребенок в таких амурных делах ненужное приложение. Потом стали еще хуже шутить, что ребенок, мол, на конечной остановке, не отходя от ступенек вагона, разоблачит Валерия перед папочкой, и Валерию заранее надо принять меры, так как папочка вполне может оказаться мастером спорта по боксу или самбо.

— Так они некрасиво шутили довольно долго, пока Валерий не признался в преступлении.— Мужчина поблудил, вскочил, засунул кулачки в карманы пижамной куртки. Ирина глядела на него холодно, без всякого сочувствия.— Тогда этот Валерий признался, что покаутировали они сами себя. Муж этой женщины его приятель. Узнав, что Валерий поедет в одном вагоне с его женой, этот, с позволения сказать, муж попросил его прикинуться влюбленным, устроить его жене, как он выразился, проверочку. Муж будет встречать их в Симферополе. Так что надо этого Валерия каким-то образом нейтрализовать.

Он поглядел на часы, тихонько открыл дверь и, не оглядываясь на Ирину, вышел. Очистил совесть, переложил тяжесть на чужие плечи и пошел бриться, снимать пижаму и надевать костюм.

В коридоре Каролина, ее мать и Валерий глядели в окно. Такая безмятежность на краю бездны. Каролина стоит на выступе почти вровень с ними, одной рукой держится за палку с занавесками, другую положила на плечо Валерия. Профиль пасхального яичка непроницаем, как прежде. Какая бы буря ни громыхала в душе против них, а делать что-то надо. Увести мать Каролины в другой вагон и там раскрыть ей глаза? А она в ответ скажет: «Ну, что вы! Быть не может». И позовет Валерия. Тот улыбнется улыбкой интригана: «Ревность — страшная штука. Ревнивый Отелло руками задушил бедную Дездемону, вы же, Ирина, решили нас задушить своей порядочностью».

Наташа сидела одна в купе, готовая к выходу. У ног чемоданчик. Вместо косы — пышный узел, вместо спортивного костюма — розовое шелковое платье.

Затмит в этом платье невесту на свадьбе. Кулон сняла, лицо переполнено ожиданием и торжеством: не только сама приехала, а какие подарки привезла! Вот кто перед выходом из вагона мог бы им бросить в лицо гордо и смело: «А ну-ка немедленно извиняйтесь друг перед другом. Повторяйте за мной: жить будем честно, правильно и достойно». Не скажет такого Наташа, растеряется, разобьется душой. Невеста с женихом, к которым спешит на свадьбу, померкнут в ее глазах. «Не верю я вам,— будет думать, глядя на них, Наташа,— еще неизвестно, какой подлостью обернется и ваша любовь...» Нельзя подвергать молодую хорошую Наташу такой проверочке.

Поезд замедлил бег. Наташа поднялась, взяла чемоданчик, наклонилась и по-родственному поцеловала Ирину.

— Вы, Ирина Сергеевна, очень серьезная. Вы повеселей будьте. Всем свой ум все равно не вставите.

Ирина пошла ее провожать. И Валерий следом пошел в тамбур. Наташа снизу, с вокзальной платформы, крикнула ему:

— Ой, не завидую вашей жене!

Поезд двинулся, Наташа широким шагом пошла по ходу движения, успела пожелать всем счастливого пути и неожиданной встречи где-нибудь. Проводница закрыла дверь, покосилась на Ирину и Валерия, но, ничего не сказав, прошла в вагон. Само собой так вышло, что они остались вдвоем.

Глядя в лицо Валерия, стараясь, чтобы собственное лицо было непроницаемым, Ирина сказала:

— Сию минуту или через час, или ночью вы возьмете свои вещи и сойдете с поезда.

В глазах Валерия что-то дрогнуло, может, это был страх, но ответил подчеркнуто спокойно:

— Зачем? Не понимаю.

— Отлично понимаете.

— Честное слово, не понимаю.

— «Честное слово»... Тогда придется объяснить: чтобы избежать скандала, милиции и, может быть, фельетона в газете.

— Вы работаете в газете? — спросил он.

— Это не имеет отношения к моей просьбе.

Опять эта Каролина. Вошла в тамбур, устремила свой взгляд на Ирину:

— Тетя Ира, вы меня совсем-совсем не любите? Всем людям надо, чтобы их любили. Все в этом пуждаются, даже дети.

— Я люблю тебя, Каролина, ты больше в этом не сомневайся.

— А дядю Валерия?

— Тетя Ира, — сказал Валерий, — любит людей не просто, а за что-нибудь: за принципиальность, за смелость, за хорошее поведение. — Говорил вроде бы Каролине, но смотрел на Ирину. — Тетя Ира явилась в этот мир исправлять людей, наставлять их на путь истинный.

Глаза у него стали обиженными и печальными, но пусть не ждет жалости, не жалко.

— Тетя Ира, — продолжал Валерий, — следовательно, прокурор и судья в одном лице. Она выносит приговоры всем, кого не любит. Тебе, Каролина, хорошо, тебя она любит. Тетя Ира, ну что вам стоит полюбить бедного Валерия?

— Перестаньте паясничать и не забудьте, пожалуйста, мою просьбу. — Она взяла Каролину за руку и пошла с ней в вагон. Валерий — за ними.

— Тетя Ира, — бубнил он сзади, — может, помилюете, я исправлюсь. Я не такой уж пропащий, как вам показалось. Я наивный.

Она ничего не ответила. Возможно, он подлый от того, что наивный, но это не оправдание.

* * *

В половине седьмого утра проводница постучала в дверь и оповестила:

— Через сорок минут — Симферополь.

В коридоре уже толпились готовые к высадке пассажиры. Ирина взяла полотенце и вышла в коридор. Купе, в котором ехал Валерий, было открыто. Шахматисты сидели в пиджаках и шляпах, заметили в проеме двери Ирину и дружно отвернулись к окну. Полка Валерия была поднята вверх, сошел все-таки с поезда или перешел в другой вагон.

— А где ваш сосед по имени Валерий? — громко, чувствуя неприязнь шахматистов, спросила Ирина.

— Не имеем чести знать, — не поворачивая головы, ответил один из них.

Когда она вернулась в свое купе, до вокзала оставалось минут пять. Каролина, подгоняемая матерью, допивала чай. Увидела вошедшую Ирину, сообщила новость:

— А дядя Валерий уже приехал. Он ночью приехал, поэтому не попрощался.

— Никуда он не приехал,— сказала Ирина. Ответила вроде Каролине, но смотрела на ее мать. Вчера в тамбуре Валерий точно так смотрел на Каролину, а отвечал ей, Ирине.— Плохой человек ваш дядя Валерий. Оттого и не доехал до своей станции.

— Каролина, отнеси проводнице стаканы,— «пасхальное яичко» повернулось к Ирине, два серых глаза внимательно уставились на нее: — Вы уверены, что он плохой человек?

— Хуже не бывает. Неужели вас не насторожило его поведение? Неужели вы на самом деле поверили, что он влюблен в вас? Неужели вы все принимали за чистую монету и не разу не подумали о том, что этот человек лжет?

Щеки «пасхального яичка» стали ярко-розовыми.

— Вы правы, он не всегда говорил правду. Рассказывал, что работает на какой-то фантастической электронной машине. Не знал, что я инженер-программист.

— Почему же вы слушали это вранье? Почему не схватили за руку и не вывели на чистую воду?

— Не смогла. К тому же я не знаю причины, почему он врал. Есть же какая-то причина.

— Вот-вот, причины, оправдания... Вы так говорите, потому что не знаете самого страшного.

И опять эта Каролина:

— Мама, уже все приехали!

Поезд остановился, они и не заметили. Но после слов Каролины мать ее не сдвинулась с места.

— Не будем спешить, Каролина, пусть сначала выйдут те, кого встречают.

— А вас разве никто не встречает?

Мать Каролины с удивлением посмотрела на свою спутницу, так изменилось лицо Ирины и таким странным голосом она произнесла эти слова.

Ответила Каролина:

— Мы когда домой обратно поедem, там нас будут встречать. А здесь мы будем жить в пансионате. У нас две путевки.

Ирина сняла с крючка кофту, надела ее, подняла чемодан. Сунула руку в карман кофты, палец кольнул уголок сложенной квадратиком новенькой десятки.

— Простите,— сказала мать Каролины,— чего я не знаю самого страшного?

Ирина растерялась. Хотела сказать, что самое страшное — это то, что не успела она отдать Валерию долг, положила деньги в карман кофты и забыла. Хотела так сказать и не смогла. Врать она не умела.

ИГНАТ

Игнат пришел под вечер. Во дворе сгущались сумерки — самое время нашей беготни, дурных криков и смеха. Что-то вселялось в каждого из нас в этот предвечерний час, какая-то сила подхватывала, подстегивала, и мы не сопротивлялись ей, а только визжали и вскрикивали, и неслись от сарая к воротам, от ворот — обратно к кирпичному забору, возле которого росли лопухи, пыльные, побитые нашими ногами. В один из таких вечеров я столкнулась с Осей, он упал и выбил себе зуб. В другой раз Лидка растянулась в лопухах и содрала до крови колени. Миша-маленький только и делал, что падал. Отставал от нас, сидел темным пятном во дворе, дожидался, когда мы, завернув у сарая, с гиком приблизимся к нему. Поднимался, пристраивался, старательно бежал и снова падал, и снова ждал.

Иногда чья-нибудь мать или бабка врывалась в этот шабаш, хватала за шиворот свое чадо и без слов, взмахивая рукой, как жгутом, била по спине, голове, по чему попало. Мы останавливались, окружая жертву, но не делали никаких попыток выручить. Мы сразу спускали, становились хилыми, тихими детьми, почти пад каждым из нас висел такой жгут. Но, несмотря ни на что, раз или два в неделю мы подхватывались и носились по двору, не думая о расплате.

Игнат появился, когда вся эта круговерть только начиналась. Мы с рыжей Лидкой еще смиренно стояли у ворот, глядя, как Ося, расставив руки и выставив вперед голову, кружится на одном месте. Нас уже подмывало тоже вот так вытянуть в стороны руки и закружиться, чтобы потом выскочить из этого штопора на середину двора, но тут из ворот вышел Игнат.

Он шел не один. Рядом с ним катился велосипед, повенкий, с высоким седлом и пикелированным звоном на руле. Велосипед клонило в сторону, Игнат оставливал его, поднимал обеими руками и, тряхнув, со звоном ставил на землю. Никто из нас не понял, что Игнат пьян.

— Садись, — сказал он мне, показывая на раму. Я почувствовала, как в удивлении, опередившем зависть, замерли Лидка, Ося, Колька и Миша-маленький.

Рама была на уровне лба. Я в отчаянии, что не осия подъем, схватилась за нее руками. Но тут Игнат занес ногу над седлом, одной рукой подхватил меня и посадил впереди себя.

Мы поехали. Переднее колесо вихляло, но мы ехали, а дворовая, изнывающая от зависти рать бежала следом.

У сарая, на повороте, велосипед покосился, поплыл, и мы с Игнатом шмякнулись на землю.

— Цела? — спросил Игнат и снова посадил меня на раму и закрутил педалями в сторону ворот.

Мы еще не раз падали, поднимались и катили туда-обратно, пока Лидка не оттянула меня от велосипеда. Она сама взобралась на раму, Игнату уже было все равно, кого везти, с кем падать, и они помчались в темноте по накатанному маршруту. Потом на раме сидел Ося, потом опять Лидка, я, Коля и даже Миша-маленький раза два упал вместе с велосипедом, по выпуская из пальцев руль. После войны, в разные годы своей жизни, я мечтала, как случайно, на улице встречу вдруг кого-нибудь из них. Чаще других представлялся Ося. Высокий аккуратный мужчина, в очках и с плащом на левой руке. Он смотрит на меня и боится поверить, что это я, волнуется, снимает очки, улыбается, в нижнем ряду посредине — золотой зуб, память от нашего двора и от меня.

— Ося, — говорю я ему, — почему мы лезли на эту раму, падали и снова лезли? Понятно, почему Игнат возил нас, не боясь изувечить, он был пьян. Но мы-то почему лезли?

Ося, Лидка и Коля ничего не отвечали на этот вопрос, а Миша-маленький, круглый, добродушный, объяснил:

— Он мать твою любил. В нашем дворе у него го-

лова шла кругом. Я не уверен, что в тот вечер он был пьяным. Помнишь, когда появилась твоя мать и стала ругать его, как тихо, твердыми ногами пошел он за ней со своим велосипедом.

Я все помнила. Игнат появлялся обычно перед приходом матери. Выдвигал на середину комнаты стол, ставил бутылку с красным вином, нарезал сала, базарной колбасы, затапливал печь, которую сам в начале лета переделал в плиту. Чайник закипал, и тут приходила мать.

Она с порога строгими глазами глядела на стол и на Игната, снимала берет, плащ и, словно она тут не была хозяйкой, не спешила присаживаться к столу.

За столом Игнат как-то заговорил обо мне:

— Отправь ее к родным в деревню. Что ей тут летом болтаться? Там воздух чистый, простор.

— Я бы тебя куда-нибудь отправила,— ответила мать.— И чего ты только ко мне привязался. Ты мне всю жизнь перепутал.

Она всегда держала верх в их постоянном недобром споре, я сжималась, страдая за Игната. Он сидел за столом лицом к дверям, когда задумывался, то постукивал косточками согнутых пальцев по клеенке. Когда за этим занятием вдруг ловил мой взгляд, то смущался, убирал руку со стола и о чем-нибудь спрашивал. Однажды спросил:

— Хочешь поехать на море?

Я тогда совсем не представляла, что такое море, и ответила:

— Не хочу.

Мать все время с ним ссорилась, каждое его слово принимала в штыки и однажды довела до того, что он выскочил из-за стола, с размаху ударил ее по щеке и, не закрыв за собой дверь, убежал от нас. Я думала, что мать заплачет или побежит за ним, чтобы дать сдачи, но она закрыла дверь на задвижку, разделась и легла в постель. На улице еще было светло, а она уже спала. Я тоже легла на свою кровать за печкой. Если Игнат вернулся с дороги, то со двора увидел, что нас нет. Свет в этот вечер у нас не горел.

Его долго потом не было. Мать говорила подругам:

— Он меня чуть не убил. Теперь, если придет, я милицию позову.

Подруги были, как и мать, родом из деревни. Одна

старая, незамужняя, по имени Люда. Вторая — сверстница матери, толстая, безалаберная Наталья. Люда считалась у них мудрой и непорочной, а Наталья ветреной и языкатой. Люда работала уборщицей в банке, а Наталья нигде не работала. Веспой нанималась вскапывать и засеивать огороды, а остальное время года ходила по домам стирать, глядеть за детьми. Деньги у нее никогда не задерживались, она их быстро пропивала, как говорили за ее спиной мать и Люда — «с мужиками на базаре».

Два раза на моей памяти Наталья выходила замуж. Один раз венчалась в церкви, а в другой — в нашем дворе устроила карнавал. Мужчины в женских юбках, старухи в вывернутых тулупах пели и плясали, а Наталья, покачиваясь, стояла под деревом в обвисшем белом платье, с накрашенными, пунцовыми щеками. Женихов я не запомнила, ни того, что был с ней в церкви, ни того, что во дворе. Мать после первой свадьбы сказала мне:

— Никогда никому не говори, что была в церкви. Забудь об этом.

Забылись только женихи, а церковь с печальными ликами икон, желтыми огоньками лампад и толпой молчащих людей осталась. На широком каменном крыльце церкви по обе стороны стояли и сидели нищие старухи. Наталья с женихом и все, кто был на их венчаньи, прошли мимо старух и ничего им не дали.

...Игнат пришел как ни в чем не бывало. Поговорил со мной, выдвинул стол на середину, стал выкладывать на него круги колбасы, бруски сала, банки и кульки. Мне даже есть расхотелось от такой прорвы, которую он приволок в чемодане. Растопил печь, поставил на табуретку таз, собрался мыться. Мне приказал:

— Беги за Натальей и Людой!

Стол ломился от еды, когда я привела Наталью и Люду. Игнат все приготовил щедрой рукой: что сало, что колбаса, что хлеб — все в толстенный палец, все горой над тарелками. Наталья и Люда, смущенные тем, что матери нет дома, чинно поздоровались с Игнатом, оглушенные неожиданным угощением, как неживые, присели к столу. Мы брали всего по крошечке, не ели, а пробовали, чтобы не разрушить всю эту красоту до прихода матери. Я к тому же изнывала от страха, что

мать придет и прогонит Игната, а если тот не уйдет, то позовет милицию.

Предчувствие обмануло. Мать выгнала из-за стола меня. С порога поглядела строгими глазами на стол, на меня и первым словом:

— А эта что тут делает?

Наталья скоренько накидала на тарелку еды и дала мне. Я без всякой обиды побрела на свою постель за печкой. Это был уже усвоенный урок в той науке, которую и они постигли когда-то, будучи детьми. У больших и малых не только разные жизни, но и разные права. У меня не было по этой науке права осуждать старших.

За столом в тот вечер они сидели долго. Голоса Игната и матери раздавались редко, больше всех говорила Наталья, упрекала мать, что та счастья своего не понимает, вбила себе в голову слова из газет и живет, как мужик, а не как баба. Люда спорила с ней до крика, кричала, что у матери новая дорога и не надо с этой дороги сворачивать. Это ей, Люде, да Наталье шагать по старой дороге, а мать на своей фабрике по новой дороге может прийти к настоящей жизни. Когда Игнат попробовал ей возразить, Люда, потеряв голову от вина и спора с Натальей, обозвала его мазуриком, стукнула кулаком по столу и, пригрозив матери, что та еще спохватится, вспомнит ее слова, удалилась.

Если бы не этот спор, я бы давно уснула и не услышала бы тихого ласкового голоса Игната:

— Я ей подарок привез. Может, она еще не спит. Можно примерить. Красное бархатное...

— Спит она. Завтра примерит. Никуда твой подарок не убежит.

Больше я их голосов не различала. Красный бархатный, неизвестно каких очертаний, подарок заколыхался, приблизился и накрыл меня своим теплом и покоем.

* *

*

Это было красное плюшевое пальто с белыми пуговицами. Не совсем красное, а темно-вишневое, с переливами, легкое и драгоценное, как перо жар-птицы. Я надела его и перенеслась в другую жизнь. Мать, наша комната, двор и дворовые дети отделились от меня в

своей бедной обыденности, а я зажила своей отдельной от них, праздничной жизнью.

Пальто ввергло мать в расходы. Она купила мне желтые ботинки и красный берет с червячком посередине.

Я шла по двору в пальто, берете и новых ботинках, задыхаясь от неловкости, чувствуя, как двор не отпускает, цепляется за меня каждым своим окном, каждым человеческим взглядом. Смотрите-ка, как она вырядилась! Разве она лучше всех, чтобы носить такое пальто?!

Улица не осуждала меня. На улице я стала нарядной беспечной девочкой, каких, чем ближе к центру, тем больше было в нашем маленьком городе. Таких девочек старшие вели за руку и спокойными добрыми голосами отвечали на их вопросы. Я запомнила, как одна девочка спросила маму: «А солнце горячее, чем электричество?» Та ответила: «Думаю, что горячее, моя милая». Я шла за ним, не подозревая, что пробьет и мой час, и меня тоже поведут за руку по улице.

Вопросов у меня не было. Вопрос я придумала специально ради новой жизни в плюшевом пальто.

— Скажи, мама, ворона — это имя или фамилия?

Мать остановилась, нахмурилась, не понимая, о чем я спрашиваю.

— Ворону зовут ворона, а фамилия птица, или зовут птица, а фамилия ворона?

Мать ничего не ответила, взяла мою руку, и мы пошли дальше. Когда я в третий раз повторила вопрос, она на ходу буркнула:

— Не придуривайся.

* * *

Эта гроза не оставила в душе раскатов. Хотя главная молния сверкнула над плюшевым пальто. Открылась дверь, и вошла жена Игната с сыном. Мать поднялась со стула, побледнела, глаза заполнились слезами, но она быстро отошла от страха и сказала, скривив губы:

— Что ж, заходите, раз пришли.

Жена Игната, толкая впереди себя сына, передвинулась на середину комнаты и стала разглядывать наше жилье. Стриженный, лет десяти сын глядел безучастными, простоквашными глазами в одну точку.

— Вот он куда ходит, — сказала жена Игната. — Не будет им счастья за нашего папку.

— А вы его держите за руки и ноги, своего папку, чтобы не ходил,— ответила мать,— а то он ходит, теперь вот вы пришли. А я при чем?

Жена Игната все водила глазами по комнате, что-то выискивала и не могла найти.

— Ничего тут вашего нет,— сказала мать,— что принесет, то сам и съест.

Она говорила неправду, мы тоже ели вместе с ним, а то, что оставалось, мать складывала в кастрюлю и уносила в сарай. Там был погреб.

— Можешь мне верить, а можешь не верить,— сказала мать жене Игната,— не нужен он мне. Гоню его, а он все ходит и ходит. Скоро на курсы поеду, тогда, видно, уж избавлюсь.

Жена Игната недоверчивым черным глазом зыркнула на мать. Сын повернул в мою сторону лицо и плюнул на платье. Плюнул вяло, словно выполнил что-то заученное. Ни мать, ни я не рассердились. Мать с сожалением покачала головой.

— И детей впутали. Зачем же он, такая гадость, плюнул? Дите мое что вам плохого сделало?

— Сама бы на моем месте весь свет впутала, волком бы выла, руки на себя наложила бы,— ответила жена Игната.— Нету нам жизни, нету нам счастья,— она закрыла лицо руками и заплакала горько, тоненьким голосом.

Мать растерялась, подняв брови, глядела на меня, словно ждала помощи. Я хотела сделать, как лучше и ей, и плачущей жене Игната, побежала за печку и вынесла плюшевое пальто.

— На! — протянула сыну Игната.

Он не успел взять, мать его вырвала у меня из рук пальто, бросила его на пол и еще горше заплась слезами. Она плакала, а моя мать стояла перед ней, опустив голову, и глядела на красное пальто и на мои в спущенных чулках ноги.

Жена Игната и ее сын не вызвали у меня ни жалости, ни интереса. Пришли и пришли. Их никто не звал. Игната тоже никто не зовет. Мы с матерью ни к кому не ходим, а они к нам идут. Откуда мне было знать, что нет горше для человеческого сердца горя — вот так приходить, как приходил Игнат, его жена и сын.

Когда они ушли, мать подняла пальто, положила на

стул и опять долго стояла посреди комнаты, пока не очнулась.

— Все из-за тебя такие муки. Колбасы ей давай, конфет, пряников. А где я возьму?

— Не надо мне ничего.

— Вот и скажи ему, как придет, что ничего тебе не надо.

Она что-то непосильное перекладывала на мои плечи. Я стала ждать Игната, приготовила слова: «Иди, иди к своей жене и дитенку», но он опять долго не приходил.

* *

*

Мать уехала на курсы, и к нам в комнату перебралась жить Люда. Я раньше по-другому знала Люду, считала ее старой и сердитой, она всегда молчала, когда приходила к нам, и только выпив вина, раскрывала рот, чтобы отругать мать или Наталью. Но вот мы стали жить с ней вдвоем, и в нашу комнату влетел большой светлолицый ангел. Бездетная Люда вылила на меня столько хлопот и тепла, что я чуть не утонула, захлебнувшись в этом море любви и участия. Она каждый вечер стирала мне чулки и платье и вешала на нитку, протянутую в два ряда от дверей к окошку. В сумерках нитка пропадала, и платье с чулками колыхались посреди комнаты, как разделенный надвое человек. Люда присаживалась у меня в ногах на постели и рассказывала свою жизнь. По ее рассказам, была она в молодости первой красавицей, коса была такая, что приходилось подвязывать, чтобы не волочилась по земле. Хозяйка сало ела, пироги с грибами, а как родилась уродиной, так никакая еда ей не помогала. А Люда съест огурец с грядки, попьет воды прямо из ведра у колодца, и красота сама румянцем на лице выступает. Желтое худое Людино лицо преображалось в темноте, я видела ее румяные щеки и даже косу, которая за ее спиной, сделав петлю на постели, чуть-чуть не доставала до пола.

В детском саду, когда мы гуляли во дворе, мне говорили:

— Беги, тебя у калитки тетка спрашивает.

Я бежала к калитке, с разбегу висла на Люде и смеялась от радости, что она пришла. Она приходила просто так, повидать меня. Вытаскивала из головы гребень,

причесывала мои волосы, завязывала шнурок на ботинке и все глядела, глядела, склонив голову набок, будто ничего лучшего, чем я, на свете не видала.

Всю эту новую покойную жизнь смял Игнат. Он явился, когда нас не было дома, снял у порога сапоги, растопил плиту и стал жарить рыбу. Был он очень пьян, бухнулся на кровать и уснул, а рыба сгорела до сажи. Когда мы с Людой открыли дверь, черные хлопья кружились по комнате, а Игнат храпел, и черные ступни его ног казались обгорелыми.

Люда закричала. Игнат проснулся. И только после этого мы увидели, откуда вся эта чернота.

— Ах ты, окаянный, — набросилась на него Люда, — это что же ты наделал? Что же это ты, окаянный, тут нажарил?

Игнат неверными ногами пошел к мешку, который лежал у двери. Достал рыбину, она взметнулась в его руке.

— Живая! — Игнат захохотал страшным смехом. — Людка, она живая!

Пошел в коридор. Мы стояли и слушали, как бьет струя из водопроводного крана. Я думала, он умывается, расхлупывая вокруг воду, навлекая, как уже было не раз, гнев соседей. Но он не мылся. Открыл ногой дверь и внес наполненный до краев таз с водой. Пустил туда рыбину. Та вильнула хвостом и заплавала по кругу.

— Живая! — Игнат опустился на колени перед тазом.

Люда с ужасом глядела на плавающую рыбу и Игната.

— Уходи, — сказала она тихо, — уходи, Игнат. Надел бед, покуражился, и хватит.

Но Игнат не слышал ее, стоял на коленях, глядел на рыбу и больше не хохотал, крупные слезы падали из его глаз в таз с водой.

— Простора ей нет, — плакал он, — помрет она в тазу, ей речка нужна, простор.

— Какой жалельщик, — съехидничала Люда, — по той, что сжег до сажи, надо слезы лить, а не по этой.

— Ей вода свежая нужна, — Игнат вытащил рыбину, положил на пол и понес таз в коридор менять воду.

Рыба то плавала в тазу, то лежала на полу, пока Игнат менял воду. Так было раз шесть. Никто из сосе-

дей не высунул носа, хотя в коридоре уже был потоп. Люда не выдержала. Когда Игнат в очередной раз принес таз и пустил в него рыбину, Люда нехорошо выругалась, схватила рыбу и с размаху лягнула ее об пол. Я подумала, что Игнат сейчас убьет за это Люду, и бросилась к ней, но Игнат даже головы в нашу сторону не повернул, поднял таз и опять пошел мевать воду.

— Собирайся,— сказала мне Люда,— с ума он тронулся. Уходить надо.

Когда мы, забрав с собой кое-что из вещей, подошли к двери и открыли ее, Игнат с полным тазом шагнул нам навстречу. Я оглянулась и увидела, как он поднял оглушенную ударом об пол рыбину и опустил ее в воду. Та поплыла.

Три дня мы жили на темной улочке в Людином доме. Дома тут стояли старые, черные, у многих уже окна вросли в землю. Деревьев не было на этой улице, и трава не росла. Люда в сенях зажигала фонарь, широкое стекло которого было обтянуто проволоочной сеткой, и несла его в комнату. От зыбкого света фонаря предметы в комнате колыхались, двоились, большая комната с земляным полом, лавками, столом, кроватью в углу казалась безбрежной. Я не могла представить себе, что в другие дни Люда здесь живет одна, и все ждала, что придут какие-нибудь люди.

— Что ты все прислушиваешься? Не придет он сюда,— сказала Люда,— он не знает, где я живу, так что ничего не бойся.

Она говорила об Игнате. Я не думала о нем, но после Людиных слов стала думать, ждать его и бояться.

Наверное, Наталья и Люда все прибрали и вычистили в квартире к приезду матери, потому что та никогда не хмурилась, вспоминая историю с рыбой. Наоборот, когда они собирались втроем, мать просила:

— Расскажи, Люда, как Игнат одну рыбу сжег, а вторую полюбил.

Люда рассказывала, я вставляла свое слово, и каждый раз мы тяжело, до слез смеялись.



О том, что моя мать выходит замуж, я узнала во дворе. Рыжая Лидка, возвращаясь из музыкальной школы, задержалась возле нас и сообщила:

— А я что-то знаю.

Надеяться, что она вот так сразу выложит то, что знает, не приходилось. Мы знали Лидку: если она знает что-нибудь стоящее, то уж непременно помуржит столько, сколько ей положено. И в этот раз она сначала отнесла домой свою красную потную папку, вернулась к нам и стала тянуть жилы своей тайной.

— Я такое знаю,— она уставилась на меня,— что ты в обморок упадешь и не встанешь.

Я не знала, что такое «обморок», но Лидкин злобщий вид был лучше всякого объяснения.

— Вы все в обморок упадете,— измывалась Лидка,— я даже не знаю, говорить мне или не говорить.

Расколоть Лидку можно было только одним приемом, не спеша, чувствуя, когда Лидка для этого созреет. Лучше всего этим приемом владел Колька. Он откидывал со лба соломенные стрелки волос, тихонько, с каким-то наглым сапом присвистывал через передние зубы и говорил, глядя на нас:

— А что она когда знала! Врет все и не кособожится.

— Вру? — Лидкино лицо озарилось победной улыбкой.— Ах, вру?! Ее мать,— Лидка воткнула в мою грудь палец,— замуж выходит.

Я помертвела. Ося, Колька и Миша-маленький, не сходя с места, отодвинулись от меня всем своим существом. Я стояла, окруженная плотной стеной стыда и позора. То, что все сразу поверили Лидкиным словам, не давало мне права сомневаться. Так оно все и было, как сказала Лидка. За кого выходит мать замуж, что в том плохого — меня не интересовало, весь ужас исходил от поведения, что должны делать дети, когда их матери выходят замуж.

— Она тебе ребенка от мужа выродит,— сказала Лидка,— нянчить его будешь, пеленки стирать.

Эта угроза кое-что проясняла. На самом дне глубочайшей ямы можно найти силы и посмотреть вверх. Там, паверху, небо и люди, надо только найти силы, чтобы тебя слышали. И не просто докричаться, а объяснить, доказать, вырвать свою правоту из этой ямы и вытолкнуть ее паверх.

— Буду нянчить! — сказала я, в упор глядя на Лидку, да так, видно, сказала, что стена между мной и Осей, Колькой и Мишкой-маленьким рухнула, рассыпалась в

прах.— Всех людей няпчат, когда они маленькие, и в пеленки заворачивают...

В минуту душевных потрясений высшая мудрость иногда постигает всех без разбора: и больших, и малых. Лидка напрасно квакала, изображая, как плачут в пеленках младенцы, ничего в том стыдного и смешного уже не было.

* *

*

Мы уезжали ночью. Во двор въехала грузовая машина. Люда, Наталья и мать погрузили в нее чемодан и узлы, меня посадили в кабину, и машина тронулась. Я проснулась уже на новом месте, на клеенчатом диване, с которого сползла простыня. В комнате, серой от рассвета, пол был застелен газетами, возле высокой кафельной печи стоял зеленый чайник. Он был тяжел, я легла возле него на пол, наклонила и потянула из носика. В чайнике было какао, неизвестный доселе напиток, прекрасный, как начавшаяся новая жизнь.

Во вторую комнату вела большая белая дверь. Она бесшумно распахнулась под моими ладонями, на широкой кровати спали мать и отчим. На стуле у изголовья висела гимнастерка отчима с красными петлицами и двумя темно-красными шпалами на каждой. Я никогда не спала вместе с матерью, когда мы жили вдвоем, но тут бесстрашно взобралась на высокую кровать и легла, не разбудив их, между ними.

Утром мы с матерью отправились пешком из военной части, где был наш новый дом, в город, чтобы подобрать мелкое барахло и вымыть пол. Дорога была длинной, мы шли не спеша, мать учила меня, как вести себя в новой жизни.

— Ты ему не родная, ты должна это понимать. А ты не понимаешь, залезла в постель. Ты должна, особенно первое время, быть, как мышь, чтобы не видно, не слышно. Хочешь, я тебя на пару недель к Люде пожить устрою?

— Хочу.

Мать остановилась:

— Тебе здесь не понравилось? Ты его не любишь?

— Я с Людой в нашей комнате жить хочу.

— А хочешь, я тебя в деревню пожить отправлю?

— Не хочу. Отправь меня куда-нибудь с Людой.

Гордость ничью жизнь не сделала более легкой, более счастливой. Уж если она вмешивалась, жди, что будет хуже. Так оно и получилось. Мать договорилась с Людой, что я поживу несколько дней у нее.

— Она сама просится, — сказала мать Люде. — Ты поживи с ней, пока мы устроимся. Там еще полы после ремонта не просохли.

Все во мне сжималось от горя — просторные комнаты с газетами на полу, чайник с какао возле кафельной печки отодвигались и меркли, как врата потерянного рая. Но гордость, маленькая, только что народившаяся, уже жила и брала то, что ей положено.

— Может, ты передумала? — спросила мать, недоумевая и, наверное, страшась моего нового состояния.

— Нет. Я хочу с Людой.

Но сначала в то утро мы пришли домой, в нашу пустую бедную комнату. Стол без клеенки, выставивший свои обглоданные мослы, кровать с тусклым никелем шариков, плита, за которой я спала на бабушкиной перине, — все это глядело с таким укором, с каким смотрит все брошенное. Мать сходила в сарай, сняла замок, принесла оттуда плетеную корзинку с приставшей на дне шелухой лука. Я вычистила эту корзинку и, пока она мыла пол, складывала в нее карандаши, катушки с нитками, узелки с липовым цветом и зверобоем, оставшиеся после бабушкиных приездов. У порога лежала горка отслужившего тряпья и обуви. Мать вымыла пол и, не нагибаясь, скинула с ног старые без шнурков ботинки. Они со стуком легли рядом с горкой старья. Потом она босиком отправилась выливать в канаву за сараем грязную воду и вернулась с амбарным замком, из которого торчал ключ. Огляделась, сняла с гвоздя свое зимнее выношенное пальто и положила его на стол, рядом с замком. Я складывала в корзинку, в которой оставалось еще много места, пустые бутылки, вытирая с них пыль мокрой тряпкой. Одна бутылка была из-под керосина, я отставила ее в сторону. Мать поглядела на корзинку с темно-зелеными бутылками и покачала головой.

— Куда это ты все напаковала? Из питейного дома мы, что ли, съезжаем? Куда там девать эти бутылки? — Она поглядела на стол. — И замок этот куда?

— Лидкина бабка возьмет.

Мать вымыла ноги в ведре, надела новые черные туф-

ли, завернула в тряпку бутылки и пошла сдавать их в Мотину лавку, на угол улицы. А я положила в корзинку замок, сложила пальто и понесла все это на первый этаж, к Лидкиной бабке.

Лидка встретила меня удивленным взглядом:

— Чего пришла? То уехали, то опять здесь. Лучше комнату свою не сдавайте, а то вернетесь, а в ней другие живут. Бросит он вас. Как подобрал, так и бросит.

— Не бросит,— я уже чувствовала свой верх над Лидкой.— Она сама кого хочешь бросит. Он ей отрез подарил. У него шкаф есть, кровать на пружинах и мне диван отдельный.

Лидкина бабка устала сидеть на корзинку и на пальто, которое я положила на стул.

— Не бери ничего,— приказала Лидка,— пусть свое шмотье на помойку несут.

Но бабка не послушалась. Взяла пальто, приложила его к себе, пощупала материал, потом порылась в корзинке, одобрительно покивала головой и цыкнула на Лидку.

— Ишь ты, богатейка нашла! На помойку такое добро кидать. С музыки своей, может, мне пальто сошьешь? Ничего не сошьешь со своей музыки.

* * *

Мы жили с Людой уже не так лучезарно, как раньше. Люда поругивала мать, что та задрала нос, видать, разбогатела.

— И ты вырастешь такая же,— упрекала меня Люда,— встретишь на улице и глаза отведешь.

Я клялась и божилась, что никогда такой не вырасту. Как начну работать и получать деньги, куплю Люде фетровые боты и лису на шею. Люда не верила в такое свое будущее и опять бралась за мать:

— И красоты в ней особой нет, а вот счастье привалило. Характер в ней есть. Тому и счастье, у кого характер.

Я не спрашивала, что такое «характер», не моя это была участь получать готовые ответы. Однажды попробовала, поверив в плюшевое пальто, и больше не придуривалась. Каждое новое слово, если оно повторялось, само объясняло себя.

Мать пришла в выходной день. Высыпала на стол дорогие конфеты, подарила Люде белый шелковый шарф и чайник для заварки. Я глядела на ее голубое платье, белые зубы, на светлый узел волос на затылке и не могла объединить себя с ней воедино. Она принесла и мне подарок — новое платье в красную клетку, с рукавами-фонариками. Сначала удивилась, потом заплакала, когда я, сцепив на животе пальцы, отказалась его примерять.

— Это что же за характер, — сокрушалась она, — у нее аж тело стало деревянное, такой внутри характер.

Люда обиженно глядела на нас обеих, когда мать уходила, сказала:

— Ты бы и Наталье что-нибудь подарила.

Мать у двери сбросила туфли, сняла чулки и оставила их для Натальи.

В эти нелегкие дни моей жизни появилась рядом со мной первая мечта. Она была не во мне, а рядом, шагала по дороге в детский сад, садилась на пол у раскладушки во время мертвого часа. Мечта называлась: «Я прихожу во двор».

Начиналась мечта у ворот. Они были раскрыты, и уже с улицы я видела, что Лидка, Ося, Коля и Миша-маленький стоят посреди двора и ждут меня. У меня за спиной большой и тяжелый мешок, они еще не знают, что в нем, и глядят настороженно, готовые и принять, и прогнать. Я подхожу к ним, поворачиваюсь спиной, разжимаю пальцы, и мешок падает к их ногам.

Рыжая Лидка, ты меня дразнила и два раза била, ни за что, просто я тебе подвернулась под злую руку. Но ты больше никого не обижай, Лидка. Учись в своей музыкальной школе и не злись. Вот тебе новое зимнее пальто и меховая шапка, три новых платья, ботинки и сандалии. А этот теплый, тоже новый платок, твоей бабушке...

Тебе, Ося, я принесла «Конструктор». Он большой и красивый, я его не разворачивала и до сих пор не знаю, что это такое. Ты мне однажды сказал, что из Ленинграда придет твой дядя и привезет «Конструктор». Ты его ждал, и я тоже, потому что очень хотелось увидеть «Конструктор». Но дядя не приехал, а я пришла. На.

Ты, Колька, получай колбасу и сало в белой тряпке. Скажи матери, чтобы заняла наш сарай, там ямка в

полу, как погреб, там если сало и колбаса будут лежать — надолго хватит.

А тебе, Мишка-маленький, конфеты. Бери вместе с мешком. Всем дай, ты добрый, а то не поднимешь мешок.

Я пыталась втиснуть в конец мечты радость и ликование. Все уносят дары из мешка домой, возвращаются и бегут за мной, счастливые и благодарные. Я — впереди, а за мной — они, от ворот — к сараю, от сарая — к воротам. Но мечта не соглашалась с таким финалом. Лидка, Ося, Коля и Миша-маленький не могли двинуться с места, стояли столбом, потрясенные моей добротой и любовью.

Мечта вела меня каждый вечер из детского сада к воротам покинутого двора. Мешок давил на спину, сердце стучало. Прижавшись к кирпичному выступу соседнего дома, я видела иногда во дворе Кольку или Мишу-маленького. Я хотела их увидеть всех вместе, но Ося в это время делал уроки, а Лидка помогала матери, которая работала в музыкальной школе уборщицей.

Однажды, когда я вот так стояла и смотрела на пустой двор, меня тронул за плечо Игнат. Я подняла голову и увидела старого, совсем незнакомого человека. У него была короткая лохматая борода, проваленные щеки и глаза Игната, черные, жгучие, под густыми бровями. Он был, наверное, страшен, но я не испугалась. Он спросил, что я здесь делаю, почему не иду домой. Я что-то ответила.

— Пошли, провожу тебя, — сказал Игнат, — это же такая даль, а уже темнеет.

Я не сказала ему, что живу у Люды. Я помнила, что ему не надо знать, где она живет.

Мы шли и шли, по прямой дороге, лес то обступал ее вплотную с двух сторон, то отодвигался, и тогда справа серебрилась под луной река. Нам никто не попался навстречу, никто не обогнал. Игнат шел молча, потом, на середине пути, запел: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Эту песню и я знала от начала до конца. Зимой в детском саду был праздник Пушкина, и мы разучивали его песни. Я случайно тогда услышала, как инспектор из районо за неплотно прикрытой дверью ругала нашу заведующую:

— Какой праздник? Что вы называли праздником! Это же сто лет, как его застрелили.

Возле будки часового Игнат сказал мне:

— Я тебя не знаю. Я тебя случайно встретил на дороге. А то тебя не пропустят.

Он повторил это часовому. Я не знала фамилию отчима, но знала, где находится в военном городке наш дом, и часовой пропустил меня. Я оглянулась, спина Игната уже пропала в темноте.



Моя мама уже девять лет как на пенсии. Живет в Белоруссии, в большом городе. В первые годы после войны мы каждое лето ездили с ней в наш маленький городок, искали следы отчима, Люды, Натальи, рыжей Лидки, Оси, Кольки и Мишки-маленького. Улицы лежали в развалинах, и только по памяти да приметам мы нашли место, где стоял наш дом. В военном городке сохранился кирпичный Дом Красной Армии и фундамент красноармейской столовой.

Недавно я получила от мамы письмо.

«Такая радость и новость, что опять вся жизнь, как живая, перед глазами. Я тебе писала про Ниночку Дворецкую, дочь соседки, которая вышла замуж, и что я на свадьбу подарила им холодильник «Морозко». Неделью назад спрашиваю: как теперь твоя новая фамилия, Ниночка? Она говорит — Гаврилова. А мужа ее, студента, зовут Павел Александрович. А как, спрашиваю, зовут отца мужа? Она отвечает — Александр Игнатович. Я опять свое: как деда зовут? «Не знаю», — отвечает Ниночка, — имя — Игнат, а отчество не спросила. Он в войну погиб, был командиром партизанского отряда, его портрет висит в Минске, в Музее Отечественной войны».

Поехала я в Минск, была в музее. Оказалось, точно — он. Повидалась с Игнатом Гавриловым. Ты его, наверное, не помнишь, маленькая была. Хороший был человек, любил меня, а я молодая была, дурная, не любила. Хотя, с другой стороны, как полюбишь, если не любишь...»

Значит, мальчика, что плюнул мне на платье, звали Сашей, а сын у него Павел. И этот Павел, внук Игната, женился на Ниночке. И моя мама подарила им на свадь-

бу холодильник «Морозко». Я могла бы им рассказать, как их дед провожал меня далеко-далеко, до самой будки часового.

Так повелось, что наши слова об ушедших, как цветы на могиле. Будто не люди ушли, а ангелы. А у них ой-ой как по-разному бывало: и трудно, и шершаво, и колюче, и неприбранно. Я помню Игната. И жизнь моя во многом сложилась так, а не иначе, потому что в детстве увидела я перед собой Игнатову любовь. Увидела и запомнила на всю жизнь, еще не понимая жестокости ее, горя и щедрости.

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

Зимние яблоки	3
Большие хлопоты	27
Привезла Варвара мужа	41
Хитрец	53
Варька	70

ЕЩЕ ОДНО ЛЕТО

Подруга детства	85
Три факта, пять фамилий	112
Окурочек	122
Еще одно лето	146
Как ты там, Веруся?	163

СВОЙ ЧЕЛОВЕК ЗОЙКА

Рабочая по дому	179
Да не судимы будете...	197
Свой человек Зойка	212
Проверочка	222
Игнат	236

ИБ № 1933

Римма Михайловна Коваленко

ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ

Рассказы

Заведующая редакцией

Л. Сурова

Редактор

Н. Никишин

Художественный редактор

Э. Розен

Технический редактор

Л. Маракасова

Корректоры

Т. Горячева,

А. Конькова

Слано в набор 02.10.81. Подписано к печати
22.01.82. Л182508. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага ти-
пографская № 3. Гарнитура «Обыкновенная но-
вая». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-
изд. л. 13,79. Тираж 75 000 экз. Заказ 1636.
Цена 90 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный
бульвар, 8.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

